
ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ
ИВАН БУНИН В ЭМИГРАЦИИ
/ 1920 - 1953 /

Светлой памяти
Лидии Ивановны Лавровой —
верной подруги, разделявшей со мной
беды и радости, посвящаю сей труд.

Твой труд переживет тебя, поэт,
Переживут творца его творенья,
Живого не утратит выраженья
С тебя когда-то писанный портрет —
И станешь ты, незримый, бестелесный,
Мечтою, мыслью, сказкою чудесной...

Ив. Бунин.
Из «Парижской тетради», 1938 г.



ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

ИВАН БУНИН В ЭМИГРАЦИИ /1920 - 1953/

РОМАН - ХРОНИКА

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 83.3Р1
Л 13

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

доктор исторических наук
Шкаренков Л. К.,
кандидат филологических наук,
член СП СССР Олег Михайлов

Лавров В. В.

Л 13 Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920—1953 гг., роман-хроника. — М. : Мол. гвардия, 1989. — 384 с., ил.

ISBN 5-235-00069-2

Имя И. А. Бунина — одно из самых славных в истории русской литературы. Его жизнь полна острейших драматических поворотов. Судьба то поднимала писателя на гребень мировой славы, то заставляла влачить жалкое существование на чужбине. В настоящей книге впервые подробно рассказывается о жизни Бунина за рубежом на пестром фоне литературной и политической эмиграции. Книга содержит множество новых документов — дневниковых записей, писем Бунина, воспоминаний о нем.

ББК 83.3Р1

Л $\frac{4702010200—016}{078(02)—89}$ КБ—23—12—88

ISBN 5-235-00069-2

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эта книга посвящена одному из крупнейших писателей XX века, выдающемуся мастеру слова Ивану Бунину. Он по праву занимает одно из первых мест в искусстве русского реализма, хотя, в отличие от других писателей этого направления, стоял несколько в стороне от активных общественно-политических интересов. Книга охватывает мало пока изученный период его жизни — с 1918-го по 1953 год.

«...Читатели «Жизни Арсеньева» едва ли обратили должное внимание на как бы случайно вкрапленную фразу о том, что «воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них... Но Бунин — большой русский писатель (я хотел было по-тургеневски написать «писатель земли русской», но не решился), и мне кажется, что любая памятка о нем, будь то серьезная, будь то пустяковая, необходима для будущего и незачем обходить молчанием некоторые, хотя бы теневые стороны его жизни, разбавлять их розовой водицей и способствовать распространению «легенд», — писал секретарь И. А. Бунина, литератор А. В. Бахрах.

Вспоминать о Бунине тем полезнее, что порой он сам забывал прошлое, то приукрашал его, сам того не замечая; то сгущал краски, не для того, чтобы кого-то разжалобить, а просто в силу своей художественной натуры, неизменно преображавшей пережитое, может быть, казавшееся ему слишком тусклым. И еще: часто он говорил одно, а другому другое — о том же самом, смотря по настроению. А ведь как-никак кому, как не ему, будет суждено стать достоянием доцента и критиков новых плодить».

Книга В. Лаврова, призвана, на мой взгляд, выявить подлинный облик писателя, давно признанного одним из классиков русской литературы. Автор, прибегнувший к жанру документальной прозы, привлек большое количество материалов, прежде у нас неизвестных. Это дневники Ивана Алексеевича и его жены Веры Николаевны, их письма, свидетельства современников, материалы зарубежной периодики 20—40-х годов, не публиковавшиеся прежде автографы Бунина, хранящиеся в государственных и личных хранилищах (включая иностранные).

Автор ничего не выдумывает. Даже диалог, порой вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности. Более того, автор не пытается наносить литературный грим на лик истины. Бунинский облик от правды лишь выигрывает...

Автор не просто монтирует документы. Он создает исторически достоверную биографию, со всеми сложностями характера героя, с его привлекательными и отрицательными качествами. Книга очень доказательно развенчивает мифы о писателе как о человеке «черством, эгоистичном, озлобленном». «Это был удивительно чистый человек, горячо любивший Россию, ее народ», — такое впечатление мы выносим, прочитав книгу В. Лаврова.

Надо сказать, что интерес к Бунину — и не только к его творчеству, но в не меньшей степени и к его личности, к его

необычному жизненному пути, в последние годы постоянно растет. Жизнь писателя полна самых резких контрастов. Творческие взлеты, блеск всемирной славы, материальный успех драматически переплетались с периодами творческого застоя, потерей миллионов читателей, нуждою.

В чем причина особого внимания к Бунину, выделяющая его из ряда других замечательных деятелей культуры, его современников? Писатель, всей своей сутью тяготевший к старой дворянской культуре, к ее веками устоявшимся традициям, помимо своей воли оказался втянутым в круговорот бурных исторических процессов XX столетия. Более того, он стал жертвой тех сил, которые вели острейшую политическую борьбу.

Все это последствия того рокового шага, который совершил Бунин в феврале 1920 года, покинув родину. К Октябрьской революции и созданному ею советскому строю Бунин отнесся враждебно. Именно это обрекло писателя на самоизгнание, внесло в его жизнь много трагического. Он не понял исторической необходимости Октябрьской революции, ее исторической закономерности, цели и философии. Но, к чести Бунина, он не свернул на кривую дорожку «публицистики», враждебной Октябрю. Он нашел в себе силы вернуться к писательскому труду и тем самым сохранить свой талант.

Кажется парадоксом то обстоятельство, что, когда Бунин жил на родине, он легко и охотно на время покидал ее — физически и «художественно», уходя в страны древних цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока или на Запад. Но, став эмигрантом, он вдруг понял: он может думать и творчески устремляться лишь к родной земле, к ее людям. Только это питало творчество Ивана Алексеевича в чужих землях, позволяя и в ущербном бытии эмиграции создавать художественные ценности непреходящего значения. Каждая строка его писаний пронизана острой тоской эмигранта по утраченной родине.

С годами в Бунине все более крепнет решение вернуться на родину. Об этом доказательно говорят многие страницы книги В. Лаврова. «Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию!» — это дневниковая запись Ивана Алексеевича 20 января 1944 года. Комментарии излишни!

В. Лаврову удалось собрать громадный исторический материал. И он владеет им свободно, изображая через призму героя различные стороны эмигрантского существования, открытую и закулисную борьбу сил, враждебных не только Стране Советов, но и проявлению всяческих прогрессивных тенденций внутри самой эмиграции.

Во всяком случае, подобной книги об И. А. Бунине еще не было — ни у нас, ни за рубежом.

Мне кажется закономерным, что этот труд появляется именно сейчас, когда в стране идет сложный процесс перестройки, в том числе в писательском и издательском деле. Здоровая атмосфера гласности позволяет честно рассказать о человеке, чей художественный дар стал неотъемлемой частью русской национальной культуры.

СЕРГЕЙ МАКАШИН, член редколлегии «Литературного наследства», доктор филологических наук, лауреат Государственной премии СССР

ОТ АВТОРА

Все началось промозглым осенним днем 1976 года. Тогда я впервые пришел в скромную писательскую квартирку на Красноармейской улице, и у меня даже мысли не было, что этот визит станет отправной точкой настоящей книги.

Меня встретил сухой, с острым взглядом из-под щетки седых бровей человек. Это был старейший советский литератор, один из родоначальников отечественного буниноведения, Н. П. Смирнов.

К Николаю Павловичу меня привели дела, далекие от И. А. Бунина. Но как-то незаметно разговор соскользнул именно на него.

— Я несколько лет переписывался с теми, кто близко знал Ивана Алексеевича, — живо произнес Смирнов. — Вот они — письма из Франции, более ста пятидесяти. Эти от жены писателя — Веры Николаевны, эти от поэтессы Ирины Одоевцевой, эти от Бориса Зайцева — дружил с Буниным с 1902 года... А еще от Галины Кузнецовой, Леонида Зурова, литературного критика Юрия Терапиано. Ценнейший материал для биографа Ивана Алексеевича!

Он надолго замолк, потом вздохнул с искренним огорчением:

— Жаль, что у меня мало осталось времени...

И каково же было мое удивление, когда в один из следующих моих визитов к Смирнову, тот протянул мне папки с этими письмами:

— Возьмите! Вы молодой, обязательно напишите о Бунине — его жизнь не менее увлекательна, чем творчество.

Смирнов прожил еще почти два года. За несколько дней до своей смерти в начале сентября 1978 года, он успел прочитать мою первую скромную публикацию о Бунине и одобрил ее.

К этому времени я уже страстно «заболел» Буниным, разыскивал где мог его автографы — письма, рукописи, книги. Особенно меня интересовал его эмигрантский период творчества и жизни; слишком слабо он был изучен, слишком много было наносного вокруг имени великого русского писателя.

Мое рвение не пропадало даром. Многие старались помочь. Важные материалы я получил от доктора филологических наук С. А. Макашина, писателей И. С. Поступальского и Е. Д. Симонова, библиографа В. П. Сергеева и писателя О. Г. Ласунского (оба из Воронежа), журналиста-международника О. С. Васильева

и других. Ценные советы по истории и культуре русского зарубежья дал мне кандидат философских наук А. Л. Афанасьев.

Необходимо добрым словом помянуть сотрудников Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (Общество «Родина»), а также работников различных отделов Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Отозвались и наши соотечественники, проживающие во Франции. Это в первую очередь антикварий А. Я. Полонский, затем — секретарь И. А. Бунина, ныне покойный А. В. Бахрах (оба — Париж). Прислал автографы писателя участник французского Сопротивления Н. Н. Оболенский. (Ницца), копии писем Бунина и иллюстративный материал — Инна Александровна Канту (Париж).

Всех их сердечно благодарю за бескорыстную помощь.

* * *

Жизнь И. А. Бунина изобилует противоречиями, проистекавшими из его характера и темперамента, взлетами, падениями. Автор не имел цели сглаживать острые углы или прибегать к домыслам. Вот почему он стремится говорить языком документов и фактов. Насколько удалось это — судить читателям.

КНИГА ПЕРВАЯ

"В РОДНЫЕ ГАВАНИ ВОВЕКИ Я НЕ ВНИДУ..."



ГЛАВА I

С утра было свежо и солнечно. Золотые купола Белокаменной сияли радостью нового дня и наступившего лета. Буйно распускалась молодая зелень. Создавалось впечатление мира на земле и людского благополучия.

У Никитских ворот, в церкви Большого Вознесения, ударили колокола. С шумом стая ворон взмыла в синь неба, огласив ее бездонность зловещим криком. Нет, больше не было мира, не было уюта. Рухнул налаженный быт, поломали порядки, устоявшиеся веками и сотворенные нашими прадедами.

Двери парадного подъезда в Скатертном переулке были растворены. Из квартиры на нижнем этаже выносили книги. Молодой приказчик букинистической торговли «И. М. Фадеев и сыновья», что возле памятника Ивану Федорову на Лубянке, широкоплечий парень с постоянной улыбкой на скуластом лице, ловко перекидывал в телегу тяжелые вязки.

Наконец вытащили последнюю. Приказчик пристроился на краю телеги. Извозчик, хриплым голосом понукая кобылу, захлопал по ее раздутым бокам вожжами, заскрипели в осях колеса.

У подъезда стоял стройный, сухощавый человек в легком пальто горохового цвета, нервно теребя короткую бородку. Он следил за телегой, пока та не свернула в Медвежий переулок.

Человек этот был почетный академик и писатель Иван Бунин. На следующий день 23 мая, в половине третьего пополудни, он вместе со своей женой Верой Николаевной Муромцевой, племянницей покойного председателя первой Государственной думы, отправился на Савеловский вокзал. Деньги, полученные от продажи книг, пошли на дорожные расходы.

Еще накануне к вечеру внезапно потеплело. Время от времени принимался мелкий дождик, над улочками повис молочный туман. Лихач постоянно придерживал резвого жеребца, под которого то и дело норовили влезть зазевавшиеся прохожие.

Миновали Кудринскую, свернули к Долгоруковской. Бунин жадно вглядывался в окружающее, скрытое дождем и туманом. Сердце, вещун на все плохое, говорило: никогда тебе не видать этих улиц, гляди в последний раз...

Он не представлял себе жизнь без этого города — утробного, сытного, грешного, с его «Яром», лавками букинистов, двуглавым орлом над Спасской башней, Трубной площадью, где торговцы копошатся, как раки в решете, гостиницу «Лоскутную» и Большую Московскую гостиницу. Здесь он познакомился с Антоном Павловичем — в 1895 году. Здесь же в ресторане или в «Праге» на Арбате отмечали выход книги, новый спектакль, рождество, юбилейные даты, приезд или отъезд товарища... да мало ли чего отмечали! Жизнь казалась каждодневным праздником. Сколько выпили шампанского с Горьким, Шаляпиным, Телешовым, Рахманиновым, Алешей Толстым, тем же Чеховым, который очень любил рестораны и ужины. И всегда рядом был брат Юлий — на двенадцать лет старше, рассудительный, горячо любимый.

Юлий жил на Арбате, в одном из его многочисленных переулков — Староконюшенном. Однажды, возвращаясь пешком к себе домой, наговорил вслух стихи:

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Вот и март...
Днем — ростепель, капели, греет солнце,
А ночью подморозит, станет чисто,
Светло — и так похоже на Москву,
Старинную, далекую.

...Стало заветривать, несколько разогнало **мглу.** Извозчик пустил жеребца — только шляпу держи, несет вовсю!

А как они носились по Мясницким, Якиманкам, мимо Красных ворот и ворот Сретенских! Только сани подскакивали на наезженной мостовой! Какими яркими пятнами на фоне белого снега выделялись кучерские синие армяки, стеганные на вате, в складках, в фалдах, перехваченных широкими поясами с серебряным набором — все мужички как на подбор рослые, с русыми кудрявыми головами, с озорным криком «Гись!».

Куда до них припершимся откуда-то из-за границы лакированным авто, тут же прозванным москвичами «вонючками»!

Вспомнилось почему-то то неожиданное и сильное, что испытал недавно, в конце зимы, когда ездил на Николаевский вокзал встречать Юлия. Выехав с Мясницкой

на Каланчевку, вдруг увидал распахнувшуюся сказочную сизую даль — золотые маковки древних церквей, груду лежащих внизу приземистых домов с белыми дымами из труб, длиннущий Запасной дворец на Басманной. И толпы, толпы мужиков в армяках цвета ржаного хлеба, баб в ярких платках и ладных полушубках. С недалекой церкви Петра и Павла, что за голицынским приютом, над всем этим разливался тягучий и мерный колокольный звон, звавший к заутрене.

— Господи, — перекрестился на колокольню Бунин. — Ну просто сцена из древней жизни, как на картине Сурикова. — И сердце его наполнилось особой благостью, особой любовью ко всем этим бабам, мужикам, извозчику, подгонявшему одра, к этим древним камням — ко всему, что зовется Русью.

И даже теперь, при воспоминании той, непонятно почему ранившей его картины, ему сделалось особенно грустно и сладко, как бывает в предвкушении чего-то гибельного и невозвратного.

* * *

На вокзале, как и было условлено, Бунин отправился в зал ожидания. Здесь в жуткой толчее, среди солдат, крестьян с громадными мешками и штатских с чемоданами, он отыскал дожидавшихся его Юлия и Екатерину Павловну Пешкову, жену Горького.

Юлий спокойно отколупывал ногтем скорлупу вареного яйца, которые предусмотрительная Екатерина Павловна привезла отъезжающим, и отправлял яйцо в рот. Пешкова обняла Веру Николаевну, протянула руку для поцелуя Ивану Алексеевичу и быстро произнесла:

— Все в порядке! Вы поедете в санитарном вагоне, вместе с пленными немцами. Их везут менять на наших, на отечественных. Но посадка будет только к вечеру.

...Действительно, их посадили только в семь, в вагоне для медицинского персонала — прямо в столовой. Пешкова уехала прежде. Юлия в вагон не пустили. Он стоял перед закрытым и грязным окном, одинокий, молчаливый, пытаясь разглядеть за мутным стеклом брата. Тот махал ему рукой: «Иди домой, промок до нитки!»

Юлия беспрестанно толкали мешками, локтями, но он, словно окаменелый, упорно стоял и стоял под окном, а сверху, стекая с крыши вагона, его поливал дождь... В его лице застыла безнадежность.

* * *

Бунин держал путь в Одессу. Знатоков железнодорожных коммуникаций пусть не смущает выбор вокзала. В то бурное и весьма нескучное время путь к городу на Черном море пролегал через Оршу, Жлобин и Минск.

Поезд шел с вооруженной охраной, весь затемненный, мимо таких же затемненных станций, оглашавшихся порой дикими, пьяными криками. Бунин вдыхал сложный запах карболки, картофельного пюре и паровозного дыма.

Его плечо тронула Вера Николаевна:

— Ян, может, чай выпьешь?

«Чай, чай...» Он вспомнил чай в трактире Соловьева в Охотном ряду, куда он как-то зашел с Алешей Толстым. По залу не ходили — летали! — половые в белых косоворотках, с красными поясками о двух кистях, на столах весело сияли громадные блестящие самовары.

Кого здесь только не было! Купцы, между парой чая ладившие тысячные дела; богатыри — ломовые извозчики, согревавшие свое бездонное нутро «китайским бандерольным»; нищий, «настрелявший» у Иверской часовни «синенькую», а теперь пьющий чаек с филипповским калачом и халвой, которую он достает грязной обезьяньей ладошкой из жестянки, на которой написано: «Паровая кондитерская фабрика братьев Максимовых в Москве»; и даже невесть откуда затесавшихся сюда двух дам, благоухающих «Убиганом» и «Гризелией» (36 рублей флакон, фирмы А. Ралле и К°).

Писатель должен знать все, каждую мелочь, на которую обычно и внимания никто не обращает. Те же московские вывески! Какие красавицы вывески были на Мясницкой — «Первоклассные чаи всех сортов торгового дома С. В. Перлова» или «Шляпочная мастерская И. В. Юнкера» с забавной рожицей в военной шляпе с развевающимся султаном. На Божедомке — «Хлебное заведение Титова и Чуева». Гигантский магазин — универсальный! — в доме под номером 2 на Петровке — «Мюр и Мерилиз». И на каждом углу — «Керосин и минеральные масла И. Н. Тер-Акопова».

Пройдет всего два года, и безутешные владельцы ценных бумаг концессии Тер-Акопова будут осаждать биржи Европы и Америки в надежде получить за них хоть какие-нибудь гроши.

Сгинут куда-то Титов, Чуев и даже знаменитые Шустов, Сиу и Абрикосов с сыновьями. Останется на Мяс-

ницкой чайный магазин, но никто не будет помнить фамилию его славного основателя Перлова, завязавшего торговлю с далеким Китаем еще во времена Екатерины II. Впрочем, так ли уж это давно было?

«Чай, чай...»

Все было. Ковровые сани, юбилеи, речи — полные изящных оборотов и неумеренного восхваления, выход еще одной новой книги, ругань «передовой» критики, присуждение Пушкинской премии, причисление к лику «бессмертных» — выбор в почетные академики Российской академии наук по разряду изящной словесности.

(Спустя несколько лет, проживая в Париже, Бунин обидится на статью «законодательницы поэтических мод» Зинаиды Гиппиус, назвавшей поэзию Ивана Алексеевича «описательством». Вместе со своим спутником, знакомым журналистом, он сядет на площади Согласия в такси. Не разглядев, что шофер русский — обычно это легко определялось с первого взгляда, но теперь, видать, гнев глаза застил — Иван Алексеевич начал «костить» Гиппиус, не стесняя себя в выражениях.

Когда пришла пора выходить, шофер вдруг повернулся к Бунину:

— Простите, господин, вы, наверное, из флотских будете?

Тот ледяным тоном ответил:

— Нет, любезный, я всего лишь академик по разряду изящной словесности.

Шофер вполне оценил «шутку» — он от души смеялся:

— Действительно, «изящная словесность!»)

* * *

В последние месяцы в Москве жизнь круто переменилась. Тяжело стало с продовольствием. Участились случаи грабежей, насилий. На улицах случались перестрелки. Под одну из таких Бунин попал, возвращаясь к себе от брата. По счастью, остался невредим.

Каждый день приходили новые, пугающие слухи. То рассказывали про какого-то отчаянного «атамана матросов» Ривкина, не признававшего ничьей власти, зато грабившего и убивавшего всех подряд. То кухарка вдруг сделалась неприветливой и грубой. Она всех уверяла, что скоро «прикончат живущих в доме буржуев».

Бунина пригласили читать стихи в какое-то кафе, где

царствовало «левое» искусство. Он пришел, увидел, что в клубах табачного дыма «сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников». Отказался от большого гонорара, ушел, чтобы никогда не возвращаться к этой «литературной низости».

В мартовские дни восемнадцатого года он записал в дневник: «Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра».

И опять самые невероятные слухи баламутят народ, и напуганные люди готовы всему верить. Вот и теперь ползет зловещий слух: на город прет германец, вот-вот Москву захватит.

«В городе говорят:

— Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

— Как думаешь, правда?

Вздыхает:

— Все может быть, все может быть.

— И ужели народ допустит?

— Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владали, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?»

* * *

...Поезд тронулся лишь в час ночи. За окном моросил теплый дождь, туман скрывал даль. Розово и слабо светились окна станционных построек.

...Какая странная отрада
Былое попирать ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну весну узнать!

Москву он больше не увидал. Он попирал былое, но испытывал вовсе не отраду, а боль и горечь. Предчувствие беды не обмануло.

ГЛАВА II

27 мая по старому (или 9 июня по новому) стилю Бунины после некоторых дорожных хлопот и неудобств, вполне характерных для тех лет, прибыли в Минск. Иван Алексеевич пометил в дневнике: «Серо, скучно. Узнали, что (наш) поезд пойдет на Барановичи. Из поезда пришлось непосильно тащить вещи на другой, Александровский, вокзал — больше версты. Помогли 2 больных солдата».

Впрочем, с вокзалами произошла путаница. Комендант станции объявил, что ехать надо на Виленский вокзал. Но, чтобы выехать из Минска, нужно иметь на это разрешение. Разрешение помогла взять незнакомая сестра милосердия: она была одета в кожаную куртку, на лице серебристо поблескивало пенсне. Оказалось, что Бунин — ее любимый поэт. Услыхав об этом, Иван Алексеевич, начавший падать духом, сразу приосанился.

— И Блок, — добавила она.

Бунин вновь помрачнел.

От Минска до Гомеля ехали в жуткой тесноте, ибо «в наше купе ввалилось человек 8 офицеров польского легиона со своими пожитками, занявшими все пространство на полу и целую верхнюю лавочку» — это запись из дневника Веры Николаевны.

Затем странствие продолжалось под шум речной волны: по Сожу и Днепру. «...Сидим на палубе. Как хорошо. Легкий ветерок, солнце... Но Ян долго не позволяет быть на воздухе, и сейчас мы пьем пиво и едим удивительно хорошее сало. Он повеселел. Много говорит...

Седьмой час, мы где-то стоим. После грозы в воздухе разлилась приятная прохлада. Чувствуем сильную усталость и очень рады, что плывем на пароходе...»

И вот Киев! Что поражало, так это количество газет, которых выходила тьма-тьмущая: «Киевлянин», «Киевская мысль», «Киевские отклики», «Утро», «Вечер» или — еще одна —«Чертова перешница. Орган старых шестидесятников, с номерами для приезжающих». В этом «органе» статьи подписывались не настоящими фамилиями, а псев-

донимами, чаще всего похожими на собачьи клички. Впрочем, уважаемым авторам виднее.

Здесь одна власть регулярно и быстро сменялась другой. Пана Скоропадского, «гетмана всей Украины», увезли в Берлин. Явился Симон Васильевич Петлюра, сынок ломового извозчика и бывший студент духовной семинарии. Лозунг у него был короткий, но выразительный: «Режь жидов, спасай свободу!» И его архаровцы резали. И грабили — это уже в самостийном порядке.

И вновь, пользуясь преимуществом историографов, заглянем на несколько лет вперед. 26 мая 1926 года эмигрантские газеты сообщат об очередном убийстве: «Вчера в 2 ч. 25 м. дня на бульваре Сен-Мишель в Париже убит С. В. Петлюра. Убийца выпустил в него 6 пуль и был задержан. Его имя Самуил Шварцброд. Толпа пыталась вырвать его из рук полиции и линчевать. Те не дали, но убийцу успели все же прилично помять... При обыске на квартире Шварцброда обнаружена записка: «Я это делаю для еврейского народа!»

Итак, в Киеве события развивались следующим образом: Бунины оказались здесь с несколькими чемоданами, но без всякого пристанища. Гостиницы были забиты, свободные квартиры или реквизированы или уже сняты. На помощь пришел редактор «Киевской мысли» М. И. Эйшискин. Поскольку сам он отдыхал на даче, то нашел возможным выделить угол в квартире столичному писателю.

Бунин здесь долго не задержался. Но прежде чем отбыть в конечный пункт своего путешествия — Одессу, он успел сделать в дневнике литературную зарисовку: «Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их всё перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин — бросаются в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается — и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бурак в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него».

В одной из газет-однодневок появились стихи:

Не негодуя, не кляня,
Одно лишь слово! Но простое!
— Пусть будет чуден без меня
И Днепр, и многое другое...

Бунин спешил дальше. Зачем? Он сам толком не знал.

* * *

Одесса, Одесса!.. В середине июня восемнадцатого года Бунин наконец достиг желанной цели. Он сразу попал в объятия друзей: художника Буковецкого, писателей Федорова, Нилуса, Дон-Аминадо (Шполянского), Гребенщикова, Тальникова...

По улочкам с видом победителей расхаживали оккупанты — австро-венгерские солдаты. Позже высадился англо-французский десант. Кого только не было среди этих бравых вояк — марокканские стрелки, сенегальские негры, жизнерадостные и легкомысленные парижане. Каждый развлекался как только мог!

Едва сумерки опускались на приморский город, как зажигали огни многочисленные ночные кабаре и публичные дома, трактиры и пивнушки. На всех подмостках неистовствовали куплетисты в цилиндрах, балалаечники в поддевках, прыщавые юноши в лапсердаках. В ночное небо взлетали непристойные частушки, еврейские песни, цыганские романсы и брызги шампанского. В модном танце шимми неистовствовали корнеты и поручики, богатые негоцианты и скромные дочки торговок с Привоза. Мелькали юбки, фраки, кителя, погоны, косоворотки!

Аншлаг в громадном зале Биржи — здесь пела несравненная Иза Кремер.

В другом надрывался в истоме Александр Вертинский.

Бурю восторгов вызывал дерзкий и веселый Никита Балиев со своей знаменитой «Летучей мышью».

Цветы, аплодисменты и опять шампанское!

Подымая давно не мытыми пятками пыль, на Дерибасовской, сопровождаемые сворой лающих одичавших псов, мальчишки размахивали свежим номером газеты:

— Портрет Веры Холодной в гробу за двадцать копеек!

И снова менялась власть — быстрее, чем декорации рыночного балагана. Постоянными были лишь рейды мно-

гочисленных банд, влетавших на взмыленных скакунах с первыми лучами солнца. На скорую руку они грабили, насиловали, вешали и исчезали.

Лето двигалось к осени, а веселая жизнь — к закату. 27 августа Вера Николаевна писала брату в Москву: «Деньги, взятые из Москвы, приходят к концу. Ян не работает. Проживать здесь нужно минимум две тысячи рублей в месяц».

«Деньги, деньги, деньги! Всюду — деньги, господа! А без денег жизнь плохая, не годится никуда», — напевал Бунин песенку, которую услыхал на эстраде летнего сада в Ланжероне.

Как шахматист над сложной партией, он напряженно размышлял над вариантами добывания денег: напечатать книгу, написать для местной драмы пьеску, начать издавать газету. Но все эти идеи в жизнь не воплощались: не было заказчиков, не было начального капитала, да и сама жизнь была непрочной.

Вера Николаевна получила богатые возможности проявить кулинарную сметку. Скажем, вместо мяса по карточкам выдавали сушеную тарань. Что можно приготовить съедобное из этого продукта, похожего по внешнему виду и вкусовым качествам на соленую щепку? В доме Буниных из нее варили суп.

Но однажды пришел к ним литературовед и лингвист, почетный академик с 1 декабря 1907 года Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский и поделился своим опытом. Он повертел тарань над огнем, подолбил затем ее о дверной косяк, и рыбка вдруг стала мягкой и почти вкусной.

Писатели являлись к ним каждодневно — с толстыми рукописями и хорошими аппетитами. Стал захаживать и молодой Валентин Катаев. Он попил предложенного Верой Николаевной чая и, вынув из кармана тетрадь, протянул Ивану Алексеевичу: «На суд милостивый!»

Вскоре он пришел за ответом:

— Вы прочли мои рассказы?

— Да, прочел два, — ответил Иван Алексеевич. — «А квадрат плюс Б квадрат» и «Земляк». Больше читать не стал.

— Что так?

Бунин улыбнулся:

— Зачем попусту глаза ломать? То, что я прочел, говорит за вас: талант несомненный. Боюсь только, как бы вы не разболтались. Много вы читаете?

— Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.

— Это нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Тот же Брэм — как он может обогатить словарь, какое описание окраски птиц!

— По правде сказать, мне скучно читать не беллетристику.

— Надо заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, затем принимаются за современных писателей. Так друг друга и перечитывают. На этом образование и заканчивается. Я много раз замечал: как читающий серьезное, классическое выгодно отличается от тех, кто читает лишь современников.

— Я только того считаю настоящим писателем, — сказал, прощаясь, Бунин, — который когда пишет, живо, с красками, звуками, запахом и движением видит то, что пишет. А вот те, кто этого не видят, — это не художники вовсе, иногда очень ловкие, но всего лишь литераторы... Вот, Леонид Андреев, например.

Когда Валя уходил из бунинского дома, потряхивая красивыми темными волосами над крепким невысоким лбом, Вера Николаевна неизменно что-нибудь засовывала в карман его куртки:

— Это пирожки! Покушайте дома, Валя, — тихо говорила она.

(Спустя почти четыре десятилетия Катаев посетит овдовевшую, прозябающую в крайней нужде, болезнях и старости Веру Николаевну. Она обрадуется ему как родному. Вернувшись из Парижа в Москву, Катаев напишет об этом визите не очень добрые воспоминания. Веру Николаевну в них он назовет «белой мышью с розовыми глазами». Вслед за критиком, повторим слова: «Какая неуместная наблюдательность!»). А пока что Вера Николаевна добросовестно заносила в дневник: «8/21 июля. Ян по утрам раздражителен, потом отходит. Часами сидит в своем кабинете, но что делает — не говорит. Это очень тяжело — не знать, чем живет его душа...

Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство: без суда...

Ночью я долго не могла спать, меня взял ужас, что, несмотря на все ужасы, мы можем еще есть, пить, наряжаться, наслаждаться природой.

9/22 июля.

Дождь. Именины Федорова пройдут тускло... Мы живем здесь так однообразно, что именины — целое событие! Вспоминаются его именины довоенного времени. Первый год когда мы были так беззаботны, веселы, многие пьяны, пир был на весь Фонтан! Второй год было тревожно, уже чувствовалось в воздухе, что «назревают события», но все-таки все были далеки от мысли о всемирной войне, о революции в России, обо всем, что пришлось пережить за все эти годы...

12/25 июля.

...Был разговор о Гёте, Ян хвалил Вертера и рассказал, что в прошлом году он хотел развенчать любовь.

— Ведь все влюбленные на манер Вертера — это эротоманы, то есть весь мир вколачивающие в одну женщину. Я много перечитал уголовных романов, драм, коечто припомнил из своей жизни, когда я также был эротоманом...

— Разве ты мог быть так влюблен? — спросил Буковецкий. — Это на тебя не похоже.

— Да, это было, — только я никогда не молился ей и не считал ее совершенством, а скорее был напоен чувством любви к ней, как к облаку, к горизонту. Может быть, вы не понимаете моих отрывистых фраз, но это так, когда-нибудь расскажу подробнее...

Нилус очень хорошо разбирается в музыке, понимает и любит ее, знает очень много сонат, романсов наизусть, может их пропеть. Он в музыке гораздо более образован, чем в литературе. О Чайковском он говорит: «Местами он гениален, а местами ничтожен», поэтому он кажется ему неумным. Ян оспаривал это мнение, говоря, что нужно судить по лучшим местам, а «человек, который одной музыкальной фразой дал почувствовать целую эпоху, целый век — должен быть очень большим»...

— Прочел биографию Верлена, — сказал Ян, выходя из своего белого кабинета, — и во время чтения чувствовал и думал, что когда-то жил Гёте, а потом Верлены — какая разница!..»

Так, между супом из сушеной тарани и беседами на высокие литературные темы и шло время. Семейный бюджет трещал по всем швам, а продукты дорожали.

К Бунину зашел какой-то господин с выразительным восточным лицом и еще более выразительной фамилией Шпан. Он был паршив и оборван, но предложил писателю головокружительный контракт:

— Я вам устрою шикарную поездку — Николаев, Херсон, Харьков. Огни реклам, газетные анонсы, тумбы оклеены афишами — «Всемирно известный писатель Бунин! Единственное выступление! Пророческий взгляд в будущее — «Скорый и неизбежный конец большевиков»! Ответы на записки и раздача автографов». Успех я вам гарантирую. За каждый вечер плачу тысячу думских!

Глаза у импресарио горели. Он явственно слышал шорох думских ассигнаций и гром оваций.

Бунин полулежал в плетеном кресле, переваривая завтрак из рыбьего супа. Он внимательно слушал.

— Тысячу?

— Тысячу!

— Думскими?

— Думскими!

Бунин глубоко задумался:

— Нет! Не пойдет. Десять тысяч, и все золотом. И голубой пароход с гейшами.

Импресарио округлил глаза:

— Какими гейшами?

— Молодыми и красивыми.

Импресарио гордо выпрямился:

— Я к вам с солидным предложением, а вы все шутите... Хорошо, две тысячи думских! — Он сделал широкий жест рукой, словно собирался этими думскими насорить в кабинете писателя.

— Вера Николаевна нальет вам рюмку водки, а я, знаете, не могу сейчас. Собираюсь ехать выступать на Берег Слоновой Кости.

Спустя несколько месяцев Бунин встретил этого Шпана. Он был гладко выбрит, сыт. На узких плечах висело дорогое английское пальто с широким хлястиком и накладными карманами.

Почесывая мизинцем багровый нос, так чтобы было видно массивное золотое кольцо с чьей-то монограммой, он важно произнес:

— А я ведь предлагал, батенька, вам хороший гешефт. Тоже могли бы жить по-человечески. Академик все-таки. Впрочем, заходите ко мне в театральный отдел...

Каждый день он видел страшные сны. Все время кто-то в них умирал из близких. Чаще всего брат Юлий. Зато умершие отец и мать всегда виделись живыми и бодрыми. В те дни Бунин записал: «Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и

говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. — Всегда говорят, что вот-вот...»

Одесса все еще была оккупирована интервентами. Порядка в городе не было. Каждый день кого-то грабили, убивали. Зато всякие пройдохи набивали себе мошну. 28 августа 1918 года Иван Алексеевич записал в дневник: «Пятый час, ветер прохладный и приятный, с моря. За воротами стоит ландо, пара вороных лошадей — приехал хозяин дачи, ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий — кучер так и сказал — «это ландо из погребальной конторы». Кучер с крашеной бородой.

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам общества, кроме этих самых «радикалов». О проклятие!»

Все время жили надеждами на улучшение жизни и неизменно засыпали и просыпались со страхом: что еще сегодня будет? Налет какой-нибудь банды? Поджог? Грабеж с убийством или без?

31 августа в четыре часа дня воздух вдруг сотряс страшной силы взрыв, затем другой, третий. В небо взлетали фонтаны огненных смерчей. В Одессе началась паника. Люди бежали спасаться за город, в степь. Никто ничего не понимал. «Рассказывают, что вся Одесса горит, что есть человеческие жертвы. Весь вечер стояло зарево. Иногда вспыхивали и окрашивали пол-неба огненные шары, а секунд через 20—30 доносились раскаты взрыва...» (Вера Николаевна, 31 августа 1918 года.)

За несколько дней до этого события в Одессу прибыл Алексей Толстой. Он не терял присутствия духа, был разговорчив и остроумен, щедр и мастер на всякие шутки, «все русское знал и чувствовал, как очень немногие».

Бунина этот приезд обрадовал очень. Он часами слушал рассказы Алексея Николаевича об убийстве Распутина, о жизни в Москве.

Как и прежде, Толстой был полон энергии и движения. Глаза его весело блестели, он заводил забавные истории об общих знакомых, заразительно смеялся. При этом он был зорко умен, одевался с изяществом.

Его жена — Наташа Крандиевская, миловидная женщина, рассказала, что издали видела на Тверском бульваре Юлия Алексеевича. Он еще более похудел, одет совсем плохо.

— Надо было его с собой взять, — сказал Иван Алексеевич. — Он совсем не приспособлен к жизни, почти как ребенок, не умеет устраиваться. Или — это еще лучше, надо было бы самим не уезжать.

То лето Бунины проводили на даче у Большого Фонтана.

Осень напомнила о себе ночной прохладой и опустевшим пляжем. Бунин условился с Буковецким: они будут снимать две комнаты в его владении под номером 27 по Княжеской улице.

Вера Николаевна писала родным: «Квартира очень красивая, со вкусом убранная, много старинных вещей, так что с внешней стороны будет приятной, а с внутренней — увидим. Кроме платы за комнаты, все расходы по ведению дома и столу будем делить пополам. Деньги, взятые из Москвы и полученные в Киеве, приходят к концу. Ян... очень озабочен, одно время был оживлен, а теперь снова загрустил. Писать не начинал. Последний месяц он берет ванны, много гуляет, но вид у него почему-то стал хуже. Вероятно, заботит предстоящая зима, а теперь и здоровье Юлия Алексеевича». (Это послание Вера Николаевна отправить не сумела. Оно было обнаружено после ее смерти в архиве.)

Но не успели Бунины воспользоваться этим комфортом: их комнаты заняли офицеры оккупационных войск. Ивана Алексеевича это привело в бешенство. Он готов был взять дом приступом, но... до конца октября пришлось мерзнуть на даче.

Терзало Бунина и неведение: власти запретили переписку с Советской Россией, и он ничего не знал нового о Юлии. Но вот с оказией получил весточку... и огорчился еще больше. Знакомый писал: «Юлий осунулся, почернел, глаза ввалились».

— Почему он не обратится к Горькому? Наша давняя дружба с ним вполне это позволяет, — удивлялся Бунин. — И к Юлию Алексей Максимович всегда хорошо относился. Эх, — вздохнул он, — я знаю Юлия: он никогда ни у кого помощи просить не станет, лучше с голода помрет. Впрочем, Горький так многим помогает по своей инициативе — я это лучше других знаю, что мог

бы сам о Юлии побеспокоиться. Нет, этого равнодушия к Юлию я не прощу!

Не будем выяснять, насколько этот упрек справедлив. Но именно с этой истории начался период охлаждения между двумя писателями, так долго и крепко прежде друживших.

«Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения, мандолин, тарантеллы и вина, Ян сделал Горькому такую надпись на своей книге: «Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас»... Неужели и тогда Ян чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького...» (Дневник Веры Николаевны, 20 октября 1918 года.)

* * *

Бодро стуча подбитыми подметками по булыжной мостовой, австро-германские войска в ноябре 1918 года покидали Одессу. В порту, на смену им, высаживался англо-французский десант.

Сначала среди обывателей это вызвало легкий переполох. Но особых перемен не последовало. Как и прежде, по ночам раздавались вопли ограбляемых, к стенке ставили «саботажников», цены на базаре продолжали расти.

Жизнь входила в колею. Колея была шириной в братскую могилу.

ГЛАВА III

Зима 1918/19 года выдалась страшная. Топить было нечем, и в доме Буковецкого, куда Бунины все-таки перебрались после ухода австрийцев, держалась лютая стужа.

Жизнь словно остановилась. Каждый день был заполнен голодом и страхом.

На Одессу наступал Петлюра, с ноября восемнадцатого года ставший членом Украинской директории. 13 декабря Вера Николаевна писала в дневнике: «Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходить из дому можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили восемьсот уголовных. Ждем гостей. Ожидание паршивое».

Иван Алексеевич вышел на улицу, добрел до Ришельевской. Здесь, забравшись на грузовик, заикаясь, с обильной слюной во рту, яростно поблескивая стеклышками криво висящего пенсне, кричал какой-то горбатый человечек:

— Все силы, граждане, отдадим на борьбу за светлое будущее свободного народа! Смерть узурпаторам! Встанем как один за святые заветы Учредительного собрания...

На грязный бумажный воротничок сзади высоко вылез широкий галстучек. На узких, по-туберкулезному слабых плечах — пальтишко, усыпанное перхотью.

Подобных говорунов, призывавших то к «самостийной Украине», то «к всемирному братству под знаменем партии социал-революционеров, льющих собственную кровь за всемирное счастье», Бунин видел ежедневно и в большом количестве. При этом каждый утверждал, что только та партия, которую он представляет, борется «за свободу трудящихся».

Но именно в тот раз, вернувшись с Ришельевской на Княжескую, он занес в дневник: «И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах».

— При первой возможности, Вера, надо ехать домой! — решил Бунин. Но не зря молвится: человек предполагает — бог располагает.

* * *

Он читал «Воскресение», когда раздался телефонный звонок. Бунин услыхал приятный, низкий голос Марии Самойловны Цетлин:

— Гостей сегодня принимаете? Еду к вам на чай...

Встревоженная Вера Николаевна засуетилась на кухне, приговаривая:

— Господи, господи! Чем угощать? Даже сахар последний подъели...

Иван Алексеевич, меняя удобные шлепанцы на узконосые лакированные штиблеты, мурлыкал себе под нос на мотив «Маруся отравилась» прибаутку, которую услыхал на одесском базаре: «Люди женятся, смеются, а нам не во что обуться...» Звучала она, правда, чуть приземленней, и повторял ее писатель уже во все дни свои, когда наваливалась на него бедность.

Цетлин появилась раскрасневшаяся с морозца, в дорогой шубе («Не боится ходить так шикарно одетой!» — подумал Бунин), сияя большими темными глазами.

Извозчик тащил за ней большую сумку, в которой оказались крупные грецкие орехи, мед, буханка белого хлеба — чудо из чудес! Была еще колбаса, затем круг швейцарского сыра, сахар.

— Что очи зрят мои! Не сон ли вижу? — воскликнул и впрямь удивленный Иван Алексеевич. — Я уж думал, что такие деликатесы больше не существуют на свете.

— Слава богу, еще кое-где водятся, — улыбнулась Мария Самойловна. Улыбка шла ей, крупные черты лица сразу смягчались, и белые ровные зубы придавали особое очарование.

— Чем же мы будем расплачиваться с вами? — всплеснула руками Вера Николаевна, пришедшая из кухни, где растапливала печь. — Вы сажаете нас на золотую цепь.

— Беседа с Иваном Алексеевичем вполне компенсирует мои затраты. Он такой удивительный собеседник! — И снова ослепительная улыбка. — Верочка Николаевна, угостите, пожалуйста, чаем.

...Цетлин за чаем была весела и разговорчива. Почти весь вечер она рассказывала о том, как знаменитый Серов писал в 1910 году ее портрет, хорошо известный по многочисленным репродукциям.

— Он очень нуждался в то время. Думаю: почему бы не попросить его? Через знакомых снеслась с ним. Ска-

вал: «Подумаю!» Жду месяц, два. Нет ответа. Написала ему, намекнула, что располагаю хорошими денежными возможностями. И вот к нам на Поварскую пришло письмо: «Вышлите фото — анфас и профиль».

Мария Самойловна значительно посмотрела на Ивана Алексеевича, сделала глоток чая и продолжала:

— Отправила фото — как Серов просил, и уехали мы с Михаилом Осиповичем в Биарриц. Что вы думали? Получил Валентин Александрович мое изображение и решил немедленно писать портрет. Приехал в Биарриц, и здесь работали мы с ним с утра до вечера.

Во время сеансов много интересного рассказывал про своего отца, о том, как ставили в Москве «Рогнеду» и «Вражью силу». Помнил он Вагнера и его дочь Еву, с которой играл, когда ему было всего четыре года. В семье его звали Валентошей, или просто Тошей.

— Серов остался доволен, — добавила Цетлин. — Портрет ему удался, а ведь это я настояла, чтобы он меня в профиль писал. «Вы чрезмерно щедры», — сказал Валентин Александрович, когда я ему чек вручала. А после меня он писал Иду Рубинштейн...

Бунин чувствовал, что Цетлин пришла сегодня не случайно. Но он никак не мог понять, куда она клонит.

И только, когда наступило время уходить, Цетлин сказала главное:

— Прошлый раз вы заявили, что ни в коем случае не уедете из России. Я вас больше переубеждать не буду. Но мы с мужем при первом случае переберемся в Париж. Мы сейчас бы уехали, но очень важные дела нас держат. Мы вам ключи от нашей парижской квартиры бы дали, ведь вас-то ничего здесь не держит. Чего вы ждете? Гибели от ножа или тифа? У нас есть человек, который бы вам помог...

Бунин отрицательно покачал головой.

Цетлин горячо задышала ему в лицо:

— Случись что с вами, это будет такая потеря для всей литературы...

Он не смог сдержать улыбку. И, глядя ей прямо в глаза, словно пытаясь разгадать тайные мысли, Бунин прочитал нараспев:

— «Наша жизнь как волна бежит. Смерть надо встречать с радостью и трепетом». Это говорит мой персонаж из последнего, недавно написанного рассказа «Исход». Я его Семеном назвал. В честь Юшкевича.

— Ваше дело! — с сердцем произнесла Цетлин. —

Вот и ждите — с трепетом! — Она повернулась к Ивану Алексеевичу профилем, который в свое время обессмертил Серов, и стала быстро спускаться с лестницы.

Давно стих стук лошадиных копыт и коляска, увозившая Марию Самойловну, скрылась из виду, а он все еще стоял на ветру, гулявшему по Княжеской, и напряженно думал: «Зачем э т о все ей надо?»

* * *

Некий Зейдеман затеял клуб — игральный, а старостой пригласил (за три тысячи в месяц!) Толстого. В Одессе Цетлины организовали литературные вечера, как в свое время в Москве. И назвали их тоже — как в Москве у Телешова — «Среда».

На первой «Среде» читали рассказы Михаил Цетлин и Толстой. Все дружно рассмеялись, когда после выступления Алексея Николаевича Буковецкий сказал:

— Вы читаете так, точно причастие подаете...

В газете появился фельетон:

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,

Только настоящий, а не смесь...

Иван Наживин тряс руку Бунину и со слезами произносил:

— Простите, милый Иван Алексеевич, что прежде хаял я вас повсеместно, ненавидел вас. Все от нашей крестьянской серости. Имени вашего слышать не мог. Все считал, что вы крестьянство наше зазря ругаете. А теперь низко кланяюсь вам!

И Наживин низко наклонился, так что из рубахи вывалился гайтан с золотым крестом.

— Читаю вашу «Деревню» и дивлюсь: как это вы, барин, правильно видели наши неустройства, а я, крестьянин природный, от сохи недавно отъятый, не зрел!.. Сожгли, ироды окаянные, избу мою, говорят, что я нехристь, раз с отлученным от православной церкви Толстым познался. Очухались! Лев Николаевич уж сколько лет в земле лежит!

Пришло известие, что Колчака назначили верховным главнокомандующим.

В порту спекулянты перекупали у иностранных моряков ящики, даже не вскрывая их. Знали, что продадут содержимое, каким бы оно ни оказалось, во много раз дороже.

Видать, эти коммерсанты вдохновили Аверченко на-

писать рассказ об одесситах, торговавших «сахарным диабетом»:

«— Тогда я вам скажу, что вы, Гендельман, не идиот, нет. Вы больше, чем идиот! Вы... вы... я прямо даже не знаю, что вы! Вы — максимум! Вы — форменный мизерабль! Вы знаете, что такое диабет, который есть у Канторовича «сколько угодно»? Это сахарная болезнь.

— Что вы говорите? Почему же вы сказали, что весь диабет проходит через ваши руки?

— А... Если я еще час поговорю с таким дураком, то через меня пройдет не только диабет, а и холера, чума, и все вообще, что я сейчас желаю на вашу голову...»

По вечерам, как обычно, собирались вместе — Буковецкий, Нилус, изредка заходил врач Иван Степанович Назаров, супруги Толстые и Цетлины, еще кто-нибудь.

Разговоры о литературе все чаще стали съезжать на политику. Иван Алексеевич «сделал предсказания: 1) через 25 лет евреи утеряют силу, 2) будущее будет принадлежать японцам, русским и немцам.

— А англичане тоже будут в хвосте? — спросила я.

— Ну, и англичане будут в хвосте, — ответил он, — вообще, только тот народ силен, который религиозен, а евреи по существу своей религии не религиозны. Это удивляет тебя? Религия, как и поэзия, должна идти от земли, а у евреев все абстракция. Иегова их — абстрактен. В религии необходимо, познав плоть, отрешиться от нее...» (Дневниковая запись Веры Николаевны 28 января 1919 г.)

11 февраля к Буниным зашел журналист Александр Яблоновский, в середине января приехавший из Киева. Вера Николаевна записала в дневник его впечатления: «Из Киева ехали в вагонах с разбитыми окнами и дверями, с пробитой крышей. Стоило много денег... Несколько раз их вытаскивали из вагонов. Некоторые миллионеры платили за купе шестьдесят тысяч рублей».

И далее: «В Киеве двенадцать дней не прекращалась стрельба... Петлюровцы, солдаты, подали протест, что их обманули и не дали им Киева на три дня для разграбления, как было обещано и как бывало в старину...

Из Москвы приехал служащий в нашем книгоиздательстве (писателей. — *В. Л.*) Серкин. Книгоиздательство существует, типография работает, книги идут очень хорошо. Советская лавка купила у нас на полмиллиона книг. Юлий Алексеевич постарел, похудел, но мукá у него еще есть...»

— Что же получается? — Иван Алексеевич вопросительно посмотрел на жену. — Что мы дурака сваляли, уехав из Москвы? Ведь жизни хуже, чем здесь — не бывает. Вместе с Юлием и жили бы, к себе на Скатертный его забрали. А здесь сидишь и ждешь, что явятся к тебе молодые ежики, у которых за голенищами ножики.

Жизнь тем временем становилась все беспросветней. Вера Николаевна продолжала добросовестно вести дневник: «Холодно и на дворе, и в комнатах... У большинства дров уже нет. Хлеба тоже нет» (13 февраля). «Опять у нас хотят реквизировать комнаты» (20 февраля).

Записи делал порой и сам Иван Алексеевич: «Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!»

«Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и *своей лжи, своего* искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им... И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, — и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, — вот оно, что-таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам, — нет, ничего не случилось, все тот же наглый

и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире... мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно?..»

Михаил Осипович Цетлин, давно связанный с эсерами, принес их программу, отпечатанную в 1917 году в Казани.

— Вы никогда не видали нашей программы? — спросил он Бунина. Цетлин много лет «подкармливал» из своих капиталов эсеров и по этой причине почитал и себя «борцом за свободу».

Иван Алексеевич взял в руки брошюрку. На желтой обложке крупным шрифтом было выделено: «В борьбе обретешь ты право свое». Он посмотрел на Цетлина с удивлением:

— Какое право и на кого оно распространяется?

— А вы почитайте и поймете! — посоветовал Михаил Осипович. — Там все доходчиво написано, любой мужик-лапотник поймет.

Бунин долго листал желтые странички, качал головой и иронически улыбался.

— Нет у меня лаптей, вот поэтому, видать, и не понимаю эти премудрости, — сказал он. — Все только громкие лозунги да красивые, по мнению авторов этого шедевра, выражения. А за всем этим — пустота!

Иван Алексеевич стал читать вслух:

«Светла цель впереди, лучи ее освещают и согревают неприветливую мрачную ночь настоящего. Ни мольбы, ни просьбы, ни унижения перед сильными и богатыми не сократят путь к счастью. Мало у народа друзей и союзников на весь долгий, мучительный путь... Для переустройства всех порядков в государстве партия социал-революционеров считает нужным созыв Учредительного собрания... Только в борьбе обретешь ты право свое».

— Все это брехня! — резюмировал Бунин. — Преднамеренная ложь, как говорит Плевако. Все эти ваши Савинковы, Черновы и Азефы ни черта не знают народ, не знают и нужд его. Они судят по себе — вот им денег

всегда не хватает — нужны на карты, рестораны, цыганок. Для Чернова деньги и счастье — одно и тоже... Вот он и призывает отнять все у одних и все отдать другим, таким как он сам или Савинков.

— Это в вас толстовство говорит! — возразил Цетлин.

— Толстовство, по крайней мере, честнее. Там весь призыв обращен к самому себе: в поте лица своего зарабатывай хлеб насущный, а не разевай рот на чужой каравай.

И потом, что-то вдруг господин Савинков, который видел русского мужика только в качестве ресторанного лакея, столь близко воспринимает его судьбу? И нужна ли мужику эта непрошеная забота? Диву даешься, до какого бесстыдства докатились все эти эсеры, кадеты, анархисты-синдикалисты! Ведь они сами отлично знают, что лгут, что ничего путевого мужику предложить не могут... Они похожи на слепых, которые хотят вести зрячих!

— Сердиты вы нынче, Иван Алексеевич, ох сердиты!

— Так что ж мне, Михаил Осипович, плясать, что ли? Захотел бы, да ноги от такой собачьей жизни уже не держат — ваши синдикалисты все это сделали. А вы им помогаете, по недоразумению.

Цетлин холодно простился, и было ясно, что его долго не увидят в этом доме. Поздним вечером, в свете коптилки, Бунин записывал:

«Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

Иван Алексеевич отложил исписанные страницы в сторону, надолго задумался. За окном раздался чей-то жуткий крик, топот ног, выстрелы. И все быстро стихло, как будто ничего не происходило под этим ясным, сияющим желтым ликом круглой луны. Бунин глубоко вздохнул и продолжил:

«Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: *«Из нас, как из древа — и дубина, и икона»,* — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была...»

— Ян, ты все еще не спишь? — Дверь открылась, и на пороге показалась Вера Николаевна, спальня которой находилась в смежной комнате. — Слышу твои вздохи, думаю, не заболел ли?

— Заболел, давно заболел Россией. Да вот нынче не все ладно в ней: горят усадьбы, жгут библиотеки, убивают людей — не немцев, а своих, российских. Зато поля

стоят неубранные, у баб дети мрут с голода, а мужики их в земле гниют...

— Кто же виноват, Ян? Испокон веку войны были...

— А какое нам с тобой дело до того, что было во времена Цезаря или Генриха IV? Меня волнует сегодняшний день. Откуда такое скотское равнодушие нынешней интеллигенции — к которой, стыдно сказать, и мы принадлежим — к русскому народу? Вспомни войну с германцами. «Солдатики» стали объектом забавы всяких психопаток и проходимцев. Мужику снарядом ногу оторвало, а его в лазарете ублажают булками, конфетами и даже балетными танцами. Солдат жену несколько лет свою не видал, а тут перед ним ноги задирают!

А писаки разные еще в газетах этих «сестриц» восхваляют. Вспомни, сколько на одну лишь Гельцер за эти «концерты» чернил извели!

— Эх, Ян, разве наша боль что-нибудь изменит?

— Что ты мне предложишь — голос моей совести заглушать? Если в человеке совесть вопиет, то человек непременно свою жизнь и свои поступки изменит. Это все, что в его силах, — изменить *свою* жизнь, очистить душу от скверны и не принимать участие в дурных делах. — Бунин говорил все громче и громче. Вера Николаевна опасалась, что он разбудит соседей, но не решалась прервать мужа.

— И еще что я могу — сказать людям ту правду, которую я понимаю. Сказать в меру своих слабых литературных сил. А это уже дело людей — слушать или пройти мимо. Над этим никто не властен. Знаешь, как Толстой любил повторять? «Делай что до́лжно, и пусть будет то, что будет». Каждый из нас отвечает лишь за *свою* душу и за *свои* поступки.

Иван Алексеевич нежно провел рукой по ее голове. Вера Николаевна прильнула к нему и тихонько, стесняясь своих слез, заплакала.

...Когда он остался один, то вновь стал писать. И писал он выстраданное, наболевшее, давно не вызывавшее в нем сомнений:

«Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезным в самые серьезные моменты...

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена».

...Бунин отложил перо. За окном брезжил рассвет нового дня. Сказал, как выдохнул:

— Мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире...

К чему сказал — не поймешь.

ГЛАВА IV

В начале апреля 1919 года в Одессе была восстановлена Советская власть. Но власть народа держалась еще непрочно. Орудовали банды. Грабили население. Украин-

ские националисты открыто выступали против Советов. Они призывали сотрудничать с оккупантами. В борьбе с бандитами погиб славный красный командир, член Военно-революционного штаба Мизикевич.

В порту темные личности торговали валютой. Франк, стоивший по официальному курсу один рубль, продавался за 10—12 рублей, фунт за 200.

Продукты питания нельзя было достать ни за какие деньги. Голод становился все страшнее.

Бунины пришли в порт. Они провожали Цетлиных, отплывавших в Константинополь. Рейд был довольно пустынным. Иван Алексеевич невольно залюбовался прелестными красками дальних берегов, крепкой синей зыбью моря и легкими белыми облаками, скользившими к горизонту.

— Прощайте, — сказала Мария Самойловна. — Жаль, что вы не послушались нас. Через неделю-другую вместе были бы в Париже.

Цетлин уговаривала, обещала всяческую поддержку: «Крышу над головой, питание и одежду всегда найдем для вас!»

Вера Николаевна 5 апреля записала в дневник: «Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорта устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей...» (5 апреля 1919 г.)

На улицах Одессы шла перестрелка. «Еврейская дружина сражалась с поляками. На Белинской улице из домов стреляли в уходящих добровольцев, они остановились и дали залп по домам... Французы потеряли голову. Они неслись по улицам с быстротой молнии, налетая на пролетки, опрокидывая все, что попадается на пути, — писала в дневнике Вера Николаевна. — Мимо нас провезли на извозчике убитого, картуз на заду, сапоги сняты и болтаются портянки.

— Какие нужно иметь нервы и здоровое сердце, чтобы снять с убитого сапоги, — сказал Ян».

В первой половине мая разнесся слух: контрреволюционные банды под водительством бывшего штабс-капитана Николая Григорьева, служившего то у Петлюры, то переходившего к красным войскам, то самостийно грабившего местное население, двигаются на Одессу. По пути Григорьев расстреливал коммунистов и устраивал еврейские погромы. В июле атаман, с остатками своей банды,

присоединится к Нестору Ивановичу Махно, по приказу которого и будет убит.

Погромы перекинулись в Одессу. В одну из майских ночей 1919 года на Большом Фонтане было убито четырнадцать комиссаров-коммунистов и три десятка беспартийных евреев. Бандиты громили магазины и лавочки, врывались в дома, стаскивали спящих с кроватей, насиловали, убивали, грабили.

«Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек», — с сердечной болью записал в дневник Бунин. «Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, — черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что́ наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

«...Ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни».

Он очень много читает. Делает выписки из Достоевского: «Ведь что ж было? Была самая невинная, милая либеральная болтовня... Нас пленял не сам социализм, а чувствительная сторона социализма...»

Из Соловьева о Смутном времени: «Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного наро́да, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость...»

Из Костомарова о Стеньке Разине: «Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан».

Пролеткульт устроил выставку книжных новинок. Было немало хороших изданий — они напечатаны в Москве, в Петрограде и других городах. Специальный каталог рекомендательной литературы для рабочих и крестьян представлял книгу Бунина «Деревня».

Иван Алексеевич, узнав об этом, ходил в приподнятом настроении.

— Надо, чтобы каждый грамотный читал Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова. А то пошла мода на всяких декадентов, от них лишь распад слова, его разрушение, его сокровенного смысла, звука и веса, — говорил Иван Алексеевич Буковецкому. — Встречаю я вчера Осиповича, писатель все-таки. Спрашиваю:

— Вы домой?

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. Он спрашивает:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

«Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядреного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными,

даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос «о свечечках» и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест, что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь?» (Дневниковая запись 9 мая 1919 г.)

Бунин пересматривает свой портфель. Нашел немало стихов, начатые рассказы и разорвал их. Но уже вскоре начал жалеть об этом. С листка бумаги, обнаруженного в портфеле, аккуратно переносит в тетрадь запись разговора, свидетелем которого был в семнадцатом году в деревне и тогда же по горячим следам записал его: «Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции» (Брешковская Е. К., эсерка. — *В. Л.*). Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чепи держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге, и то ухитрилась миллион нажить! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над гос-

подами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие...

Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить
В пьяном виде пофорсить...»

12 июля произошло событие, которое переполошило всех жильцов на Княжеской улице. Отряд красноармейцев, подтянутых, дисциплинированных, но по-военному деловитых, искал уклоняющихся от службы в армии и выявлял излишки продуктов.

Около десяти утра в комнату Веры Николаевны влетела бледная Анюта, помогавшая по хозяйству.

— Пришли! С ружьями! Ищут...

За большим обеденным столом расположился высокий, склонный к полноте красноармеец. Он достал блокнот, карандаш и приготовился записывать «излишки». Но вскоре выяснилось, что излишки в этом доме давно не водятся.

— А кто в соседней комнате проживает? — вежливо спрашивает командир отряда, убирая в полевую сумку блокнот.

— Академик Бунин!

На лице командира удивление и почтение. Наверное, красноармейцы тихо ушли бы из этого дома, но в дверях уже стоял сам академик «с необыкновенно свирепым видом». От природы, подобно своему кумиру Льву Николаевичу Толстому, он был весьма бесстрашен и при каждом случае любил это показать. Начальник не успел и рта открыть, как Иван Алексеевич громовым голосом заявил:

— У меня вы не имеете права делать обыск! Вот мой паспорт. Я вышел из возраста, чтобы воевать. Запасов, к сожалению, тоже не имею.

— А оружие?

Бунин так грозно посмотрел на вопрошавшего, что тот невольно попятился:

— Извините!

Вся эта военная экспедиция мирно ретировалась. Академик прохаживался по квартире с видом Наполеона после победы под Аустерлицем.

— Это надо отпраздновать, — сказал триумфатор, хотя особого повода к празднику вроде не было. — Вера, достань заветную, со звездочками!

На кухне, при стечении всех благодарных жильцов, коньяк и был распит. Закусывали тремя вареными картофелинами, которые принес Буковецкий.

Конечно, никто из домочадцев не мог догадаться о причине счастливого настроения писателя. Кроме Веры Николаевны, которая радовалась не меньше мужа. И дело было не только в том, что не обнаружили кое-что из их семейных драгоценностей (они были хорошо спрятаны где-то на печке). Бунины очень боялись за несколько сундуков, оставленных оккупационными офицерами в ванной комнате. Что в сундуках? Они этого не знали и по сей причине особенно боялись. Они уверили себя, что там оружие и мундиры, а может быть, патроны! Как бы тогда оправдались перед красноармейцами? А выкинуть чужое добро или просто посмотреть? Нет, только не это! Порядочные люди так, разумеется, не поступают.

Вот и смаковал Иван Алексеевич дорогой напиток, и нисходило умиротворение на его истерзанную душу.

* * *

Ранним утром 14 июля Бунин отправился к морю. Хотелось побыть одному, отвлечься от тяжелых мыслей и гнетущей неопределенности жизни. Он глядел безотрывно на светло-голубую даль, легкие и ужасно высокие облака, ему на душу сходило какое-то новое и счастливое чувство. Всякому горю есть предел, и наступает час, когда тяжесть сменится успокоением и надеждой.

Вернувшись домой, он стал перебирать стихи, сохранившиеся от недавней черной минуты, когда он уничтожил многое из написанного в последний год-два. Лист бумаги завалился за ящик стола и по этой причине уцелел. По странной случайности, стихи были очень близки его сегодняшнему настроению:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

14.VII.18

* * *

«...Жизнь берет свое, — записала в дневник Вера Николаевна 23 июля 1919 года. — После Петровок очень много свадеб среди простого народа. Не довольствуясь гражданским браком, идут венчаться в церковь. Попадаем и мы на свадьбу. Жениху, сыну умершего друга Яна, 19 лет, невесте — 20. Когда их уговаривали подождать, они возражали: «Мы столько уже пережили, сколько раньше в 30 лет не переживали. Что еще дальше будет? Нужно пользоваться теперь всякой минутой, к тому же у нас хотят реквизировать комнату, вот мы ее и займем!»

Вера Николаевна надела лучшее свое платье, нарядился прилично случаю и Иван Алексеевич. Народу набралось изрядно. Бунина молодые вначале стеснялись, но он был так мил и прост, что вскоре вполне освоились, и если он чем выделялся среди других гостей, так своей веселостью и остроумием. Он сыпал шутками-прибаутками, и старички со старушками, без которых на Руси ни одна свадьба не обходится, уже ласково называли его «Лексеич».

Выяснилось, что Бунин — самый большой знаток свадебных обрядов. Он живо рассказывал, как гуляют молодые в Центральной России, какие песни поются.

— Лексеич, ты б сполнил сам чего свадебное, — попросила его соседка. Молодые тоже стали просить.

— А что, могу! — Иван Алексеевич поднялся из-за стола, обернулся к молодым, и чистым, сильным голосом взял высокую ноту:

Что не ластушка, ни косатинькая,
По полю летает,
Сизокрыленькая к земле припадает...
Она гнездышка своего,
Милая, не знает.

Застольная разноголосица моментально стихла. Иван Алексеевич, вдруг переменив напев, перешел на веселое, игривое:

Уберите-ка светец,
Пусть гуляет молодец!
Пару веничков связать,
Уголечки подпахать.

Он выкинул затейливое коленце и обратился к девчатам:

— А теперь вы, красавицы, подхватывайте! Ну, дружнее!

Подпашите угольки,
Не марайте башмачки, —

вступили девчата.

Иван Алексеевич подошел к голубоглазой красавице с толстой русой косой — сестренке невесты, низко поклонился, приглашая ее выйти в круг. Она пошла, застенчиво опустив голову и стесняясь всеобщего внимания. Взяв ее за руку, Иван Алексеевич продолжил, а молодые и старые подхватили старинную свадебную песню:

Башмачки козловые,
Чулочки костровые...

...Чуть не до дома провожали хозяева дорогих гостей — Лексеича и Веру Николаевну. Разошедшийся Лексеич наставлял:

— Хозяйство вести — не бородой трясти! Да и насчет поколения уж постарайтесь, дело нужное. Старалась двоечка — так будет троечка! У кого детей много, тот не забыт от бога.

— Приходите еще, пожалуйста! — просили молодые, и глаза их светились благодарностью. В лучах заходящего солнца ярко искрились в ушах невесты сережки с небольшими бриллиантами — подарок Буниных, вынутый из тайного свертка на печи.

ГЛАВА V

Над Одессой вновь сгущались тучи контрреволюционных сил. Рассказывали, что в Черниговской губернии орудует атаман под кличкой Ангел. Его шайка особенно жестоко преследовала большевиков. Южнее Чернигова рекой лилась кровь от банд батьки Махно. Его вояки гоняли бешеных лошадей, впряженных в телеги, строчили из пулеметов и убивали всех без разбора: пленных, интеллигентов, крестьян. Так продолжалось до августа 1921 го-

да, пока их бравый предводитель не сбежал в Румынию. Оттуда он перебрался в Париж, сапожничал и в качестве плотника одного из театров мирно стучал молотком. Западноевропейским образом жизни он явно тяготился.

25 августа деникинские войска овладели Одессой. В тот же день Вера Николаевна записала в дневник: «Мы решили уехать из Одессы, при первой возможности, но куда — еще не знаем. Власть еще не укрепилась. Нужно подождать, оглядеться. Жутко пускаться теперь куда-либо, но нельзя же вторую зиму проводить в этом милом городе».

Спустя шесть дней новая запись: «Надежда попасть этой осенью в Москву у меня пропала. Как у меня болит сердце за оставшихся там...»

18 сентября к Буниным заглянул знакомый по фамилии Кипен. Иван Алексеевич говорил, что русский народ — интернационалист. Кипен возражал. «Ему все кажется, что ненависть к евреям у класса, у (белой) власти, тогда как она у... простонародья, которое рассуждает так: революцией кто занимался главным образом? — евреи. Спекуляцией кто? — евреи. Значит, все зло от евреев. И попробуй, разубедить их...» (Дневниковая запись Веры Николаевны.)

Вечером того же, 18 сентября в комнату Веры Николаевны кто-то постучался. Она открыла дверь и увидала военного, с красивыми густыми усами и обильной плешью. Щелкнув каблуками, военный представился:

— Пуришкевич, Владимир Митрофанович! Могу я видеть господина Бунина?

— Проходите, Иван Алексеевич скоро, вероятно, вернется!

Бессарабский помещик, монархист и один из основателей «Союза русского народа», один из участников убийства Распутина, депутат трех Государственных дум, шагнул в комнату.

— Я давно мечтал познакомиться с замечательным русским писателем. И вот, временно находясь в этом городе...

— Располагайтесь, как дома! Чай подать? Анюта, приготовь...

Пуришкевич поднял руку:

— Спасибо, но не надо! Мне некогда. Я хотел выяснить взгляды господина Бунина на некоторые основополагающие вопросы современности. Передайте ему нашу партийную программу. — Владимир Митрофанович про-

тянул жидкую брошюрку. — В ней два главных пункта — конституционная монархия и против евреев. Я надеюсь, он будет нам сочувствовать.

Вера Николаевна удивилась:

— Но Иван Алексеевич не антисемит! Да, кроме того, он человек не партийный.

— Теперь все должны быть партийцы!

— Он всего лишь поэт! Он чужд всему остальному...

— Очень, очень жаль. — Пуришкевич жестко посмотрел на Веру Николаевну. — А мне сообщили, что он желает вступить в «Союз русского народа». Поэтому я и пришел... Что ж! Верните программу.

Он повернулся и быстро вышел. Ровесник Бунина, он погибнет на следующий год.

Вскоре пришел Бунин. Узнав о визитере, он пожал плечами:

— Зачем я понадобился Пуришкевичу? Если рождался когда-либо человек, далекий от всяческих групп, группировок и политических течений, то это — я. Лишь одного хочу в жизни — спокойно и свободно работать. А вот этого как раз я и лишен теперь...

Помолчав, с тоской произнес:

— Голова кругом идет! Что дальше делать, как жить — ума не приложу. Бывает, жалею, что из Москвы уехал. Там все-таки наш дом, да о Юлии сердце изошлось. Но как не уехать? Эти идеи всемирного братства и равенства вовсе не по мне. Скажи большевики нашему дворнику, что он мне брат — так он и сам смеяться начнет: «Куда с нашим рылом в калашный ряд? Они — дворяне, академик, а я хрестик заместо подписи ставлю». Такого равенства, слава Богу, никогда не будет. А если будет — свет погубит.

И вдруг с каким-то изумлением добавил:

— Но что удивительно: когда жил и в России по-человечески, постоянно тянуло путешествовать. Весь мир с тобою, Вера, объехали... А теперь, когда жизнь хуже собачьей стала, не могу Россию покинуть. Капитаны вместе с кораблем на дно идут. Теперь это хорошо понимаю.

Боюсь, Вера, ох боюсь, — Бунин понизил голос до шепота. — Коли уедем, то уже никогда нам России не видать. Чует беду сердце. Господи, научи, что делать?

Весь мир стронулся с места. Все перемешалось, ничего не понять, не разобрать. Самые мудрые оказывались в дураках, а задним числом легко правду высчитывать.

* * *

Через французское консульство получили письмо из Парижа — от Цетлин. Она взахлеб хвалилась своей новой жизнью. И вновь повторяла: ждем к себе, пока не пропали вы в этой ужасной России от голода, большевиков, тифа или ножа какого-нибудь экспроприатора.

— Ян, чего мы ждем? — решилась наконец сказать свою заветную мысль Вера Николаевна. — Давай уедем, скроемся на самое короткое время. — Тяжелые слезы катились из ее глаз.

Бунин молчал.

Вера Николаевна, взяв его руку и нежно ее поглаживая, говорила:

— Я прошу тебя... Я так устала от страха, от голода! Зима пройдет, и мы вернемся домой, в Россию.

Бунин не отвечал.

— Шполянский уезжает, Овсянико-Куликовский и Кондаков хлопочут о визе в Сербию, у Полонских уже есть виза, и они едут в Париж, Толстой давным-давно уехал, говорят, он сейчас в Париже, хорошо устроился, — убеждала Вера Николаевна. — Вчера ночью на Преображенской какие-то бандиты опять несколько интеллигентных семей вырезали. Почему ты молчишь?

Наконец он сказал:

— Если станет совсем невмоготу, я обещаю тебе, Вера, мы тогда уедем. Давай пока все-таки подождем! Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительного. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли.

Она поняла, что спорить бесполезно. Лишь в ее дневнике появлялись новые записи:

«Известия о Махно: взяты Бердянск, Мелитополь и Александровск. Вырезывается вся интеллигенция» (14 октября).

«Вчера была у нас Ольга Леонардовна Книппер *. Странное впечатление производит она: очень мила, приветлива, говорит умно, но чувствуется, что у нее за душой ничего нет, точно дом без фундамента, ни подвалов с хорошим вином, ни погребов с провизией тут не найдешь. Большевики к ним предупредительны, у нее поэтому не то отношение к ним, какое у всех нас... Шаляпин на «ты»

---

* О. Л. Книппер-Чехова (1868—1959) — жена А. П. Чехова, актриса МХАТа.

с Троцким и Лениным, кутит с комиссарами. Луначарский приезжал в Художественный театр и говорил речь — «очень красивую, но бессодержательную, он необыкновенный оратор».

«Электричества опять нет» (10 ноября).

«Ян сказал с большой грустью: «Бедные наши, едва ли они переживут эту зиму. Неужели мы так с ними и не увидимся? Я не верю в это» (13 ноября).

«Немцы отказались подписать мирный договор. Во Франции мобилизация, это грозит большими осложнениями. О немецкой ориентации слухи все упорнее и упорнее.

В Ростове напечатано в газетах, что на днях будет опубликован акт исторической важности. Деникин — Верховный правитель, а Врангель — Главнокомандующий.

Колчак второй раз разбит (слухи)...» (11 декабря).

«Уже декабрь (по старому стилю — 2, по новому — 15 декабря. — *В. Л.*). В комнатах холодно... Мы опять как на иголках. Каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить. Курс нашего рубля так низок, что куда же мы можем сунуться? Везде зима, холод. Правда, нас трудно теперь чем-либо напугать — мы знаем, что такое холод, что такое голод, но все переносится легче у себя дома...»

Дома — значит в России.

В эти же дни «группа ученых и литераторов» в очередной раз направилась к французскому консулу по фамилии Готье.

Консул обожал Россию, изучал ее историю по Леклерку, читал в подлинниках Толстого, Тургенева и Бунина (который ему очень нравился) и гордился тем, что знал наизусть кое-что из Пушкина.

Литераторы и ученые вновь прослушали отрывок из «Евгения Онегина» «Мой дядя самых честных правил...», после чего насели на Готье и наконец уломали. Но — с условиями:

— предъявить паспорта, справки о прививках, а также расписки, что в случае кораблекрушения утонувшие никаких претензий к французскому правительству иметь не будут.

За эти документы было обещано:

— бесплатно доставить по воде литераторов вместе с учеными до Константинополя и выдать по одному литру ординарного красного вина на душу.

Из Парижа от Толстого пришли сердечные письма:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы нескоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острову в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажиливать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18—20. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом. Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили...»

Письма эти обнадеживали. По просьбе Веры Николаевны «группа литераторов» выхлопотала для Буниных визы на Константинополь и Варну.

«Ехать нам не миновать, но когда и куда поедем, знает один бог. Проектов много», — писала в дневник Вера Николаевна.

Много проектов бывает тогда, когда нет одного надежного. Но в Париже были все-таки готовые помочь им Толстой и Цетлин.

Бунин писал Цетлин: «Если я и приеду в Париж или еще куда, то вовсе не собираюсь жить на чьем-либо иждивении». «Золотых запасов», спрятанных на печке в доме Буковецкого, им вполне хватило бы на первое время — года на два.

26 декабря Иван Алексеевич посетил Сербское консульство. Заплатил 10 франков и ушел с двумя визами в Белград.

Консул, который Бунина не читал, говорил ему на прощание:

— Белград переполнен беженцами. Есть случаи заболевания сыпным тифом. Но я буду рад, если вы, господин писатель, у нас сумеете устроиться.

Немного утешил Нилус — верный друг, который до самой своей кончины в сорок третьем году будет разделять «общую территорию» с бунинской квартирой в Париже, — его жилье на той же лестничной площадке, что и Ивана Алексеевича. Нилус приволок два чайника того самого красного вина, которым угощать должны тех, кто не имеет претензий в случае их потопления. Отметили его отплытие в Варну.

Истощавшие, изголодавшиеся люди пили бокал за бокалом.

«Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга, — записала в дневник Вера Николаевна. — Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него блестели слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Близко ему индивидуальное восприятие мира. Потом он иллюстрировал:

— Я признавал мир, где есть I, II, III классы. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю. Утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь лежит женщина, на плечах у нее

клетчатый плед. Какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет. Никогда я не примирюсь с тем, что разрушена Россия, что из сильного государства она превратилась в слабейшее. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать».

Он предчувствовал разлуку с Россией, и это угнетало его. Накануне описанной вечеринки Иван Алексеевич сказал Вере Николаевне:

— Боже, как тяжело! Мы отправляемся в изгнание, и кто знает, вернемся ли? И куда ехать? В Париж? Очень не хочется...

Вера Николаевна 26 декабря отметила в дневнике: «Я почти отказалась от мысли ехать в Париж. И холодно, и голодно, и, вероятно, отношение к нам будет высокомерное...»

Через день Бунин сильно простудился и с повышенной температурой слег в постель.

Пришло письмо от доктора И. С. Назарова, бывшего жителя Одессы, нынче имевшего большую практику в Константинополе. Он писал о тех ужасных бедствиях, которым подвергаются русские на берегах Босфора.

Назаров умрет в Константинополе в 1927 году. Его сын уедет в США. В послевоенные годы он будет организовывать Бунину материальную помощь. Письма Ивана Алексеевича к обоим Назаровым в конце концов попадут к автору этой книги. Некоторые из них мы своевременно приведем.

Первое послание датировано 20 января 1920 года (по ошибке указан 1919 год). Письмо, собственно, писал Е. И. Буковецкий, а Иван Алексеевич сделал всего лишь небольшую приписку.

Итак, рукой Буковецкого: «Дорогой Иван Степанович. Завтра сестра вашей супруги повезет наши письма к вам в Константинополь, к счастливому человеку, уже пережившему давно момент нерешительности — ехать или не ехать, неопределенность положения... в чужой стране и даже, как до нас дошли слухи, получившему признание в своих знаниях и талантах не только от средней и высшей публики, но и от двора падишаха. Я очень порадовался вашим успехам, хотя чем больше будет у вас славы на Босфоре, тем меньше надежды увидеть вас на Княжеской улице.

П. Нилус уехал... в Варну с писателем Федоровым и еще 2 или 3 лицами. Они составят как бы миссию в Со-

фию для информирования болгар о русских делах. Бунин до сих пор в Одессе, имеет паспорт со всевозможными визами, но медлит еще с отъездом.

Про остальных ваших знакомых: Васьковский собрался в Польшу. Польское подданство приобрести очень легко. Вообще, скверное время переживаем. Опять самые невероятные слухи. И иной раз хотя знаешь наверное, что слухи ложные, но почти веришь им некоторое время — нельзя же быть в бедственном состоянии долгое время.

Воскресники давным-давно прекратились. Редко собираемся при случайных обстоятельствах. Так что присланный вами коньяк и папиросы ждут. От себя и друзей благодарю за память и желание доставить нам удовольствие. Я пока не собираюсь никуда ехать, но если вы выхлопочете мне звание художника при гареме какого-нибудь принца, я приеду к вам. Жму вашу руку, ваш Евг. Буковецкий».

Далее рукой Бунина:

«Дорогой Иван Степанович, ничего не могу вам написать, — так чувствую себя отвратительно, так все ужасно. Стремимся уехать из Одессы, пока хотел бы в Сербию. Как поедем — на Варну или через Константинополь — еще неизвестно. Если через Константинополь, буду рад обнять вас. Дай вам Бог всего хорошего. Ваш Ив. Бунин».

* * *

Бунин действительно медлил...

20 января, в день, когда писалось вышеприведенное письмо, от одесского причала отошел полуобугленный (после пожара) пароход «Дюмон д'Юрвиль». На нем разместилась та самая «группа литераторов», которая вытрясала из французского консула Готье визы «на выезд и въезд». Среди отплывших были Я. Б. Полонский, А. П. Шполянский (Дон-Аминадо), известный художник-карикатурист Ремизов (Ре-Ми), журналист Василевский (Не-Буква). Последнего сопровождали сразу две жены: с одной он недавно развелся, с другой — недавно сошелся. Одну он разместил на носу, другую на корме.

К большому удовольствию пассажиров, он то и дело перебегал с кормы на нос и с носа на корму, норовя угодить каждой из жен.

На этом пароходе мог плыть и Бунин. Но он решил еще выждать. 31 января Вера Николаевна записала в дневник: «Я уже жалею, что не уехали мы на Дервиле (т. е. на «Дюмон д'Юрвиле». — *В. Л.*) вместе со Шполянским и другими журналистами... В комнате у нас так холодно, что я сижу в двух платьях и пальто, поверх чулок шерстяные носки, башмаки, гетры и галоши, и все кажется, что ноги стоят во льду...»

Наконец, под влиянием жены, друзей и обстоятельств, Бунин принял окончательное решение — уезжать. «На сердце очень тяжело, — писала в дневник Вера Николаевна 2 февраля. — Итак, мы становимся эмигрантами. И на сколько лет? Рухнули все надежды и надежда увидеться с нашими. Как все повалилось...»

В ночь с пятого на шестое февраля 1920 года, последнюю ночь перед посадкой на пароход, Бунины долго не ложились спать. Горестные чувства переполняли их.

— Ты пойми, Вера! — говорил Иван Алексеевич. — Все мои предки, весь род веками был связан с русской землей — с пятнадцатого столетия, как некий «муж знатный» Симеон Бунковский выехал из Польши к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его Александр Бунин убит под Казанью. Стольник Козьма Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Многие из нашего рода служили в самых высоких чинах. Род этот дал — ты помнишь, Вера, прекрасную поэтессу начала прошлого века Анну Бунину и поэта Василия Жуковского.

Да и я русской земли, кажется, не посрамил. Служил ей честно и правдиво, сколько Бог разуму отпустил — все отдавал нашему народу. Так за что же меня так! — Он обхватил голову руками и со стоном повалился на постель лицом вниз. — Провались в тартары все эти Троцкие и Зиновьевы, растоптавшие мою землю!

...На следующий день, в четыре часа пополудни, простившись с хозяином своим Буковецким, выйдя через парадные двери, до того долго не растворявшиеся, Бунины направились к причалу. Нетрезвый мужичок, подрядившийся за пятьсот керенок, толкал тележку с их пожитками.

Они делали последние шаги по родной земле.

Недалеко от порта ухали взрывы — это наступала Красная Армия.

ГЛАВА VI

Девятого февраля 1920 года, три дня качавшийся на мутной и сильной волне внешнего рейда Одесского порта, пуская в низкое промозглое небо черный дым, видавший виды французский пароход «Спарта» вышел в открытое море. На его борту среди крупных мошенников, обремененных наживой, каких-то девиц, едва прикрытых одеждой, сорвавшихся из своих домов без денег, без вещей, среди разношерстной публики, обезумевшей от горя, отчаяния и потерь, смертельных опасностей и обид, — среди всего этого людского племени сидел в крошечной каюте 49-летний писатель Бунин.

«Спарта» направлялась к берегам Стамбула.

Погода с каждой минутой разыгрывалась все круче. Волна все мощнее и мощнее била в скрипящие, готовые в любое мгновение разлететься в щепки, борта.

Цепляясь за каждый прикрепленный к переборкам предмет, Бунин, умудряясь еще поддерживать Веру Николаевну, выбрался на палубу. Вода с шумом неслась вдоль бортов. Крепко, с забивающими дыхание порывами, налетал ледяной ветер. Под его ударами ревели обмерзлые снасти.

Вдруг набежала самая мощная, небывалая до того волна, ударила со всего могучего разбега в борт, осыпав тысячью мелких холодных брызг палубу. «Спарта» накренилась, казалось, сейчас она перевернется килем вверх. И тогда уж, точно, никому, даже самым ловким и отчаянным, не спастись.

Долгие мгновения, показавшиеся вечностью, корабль сохранял опасное положение. Мотор, вращавший лопасти, не цеплявшие водной тяжести, задрожал, застучал отчетливо и гибельно. Палуба под ногами заскользила. Бунин, мертвой хваткой обняв жену, уцепился за медные поручни. Казалось, вот-вот темная пучина поглотит их обоих.

Но пароход снова пришел в равновесие. Воспользовавшись кратким затишьем между двух ударов волн, они одновременно взглянули на горизонт. Там, мешаясь с туманной дымкой, чернел берег. Родной берег. Русская земля.

Одолев обратный спуск, перешагивая через ноги и руки разметавшихся на полу людей, они с трудом добрались до своей каюты, которую делили с академиком-византологом Н. П. Кондаковым и его секретаршей.

«Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня...

Народу так много, что ночью нельзя пройти в уборную, — записывала Вера Николаевна. — Спят везде — на столах, под столами, в проходах, на палубе, в автомобилях, словом, везде тела, тела.

Вечером мы выходили на палубу.

Мы в открытом море. Как это путешествие непохоже на прежние. Впереди темнота и жуть. Позади — ужас и безнадежность...»

А рядом в кают-компании, шло веселье. Певец Федя Рабинович, приняв изрядную долю вина, бесплатно раздававшегося пассажирам, исполнял веселые арии из оперетты. Рояль, весьма потрепанный, издавал фальшивые звуки.

Потом за рояль уселся доктор Иосиф Малкин. Красивым тенором, сильно грассируя, он запел:

Мне все равно, страдать иль наслаждаться,
К страданьям я уже привык давно.
Готов я плакать и смеяться —
Мне все равно, мне все равно...

* * *

На пятый день плавания по неспокойному Черному морю попали в минное поле. Капитан-албанец, как выяснилось, плохо знал лоцию да был к тому же постоянно пьян.

Целые сутки плавали среди мин, и только чуду можно приписать, что несчастная «Спарта» вместе с нетрезвым капитаном, роялью и всеми пассажирами не отправилась в последнее путешествие — на тот свет.

И вот на седьмой день «Спарта» вошла в Босфор. Прошли мимо военных фортов Эльмонс, Тели-Табия и, наконец, открылся сказочный Константинополь.

Впервые Бунин побывал здесь в 1903 году. Башни Галаты, дворец Долма Бахче, колонна Феодосия, лавры, митры, махровые розы и весь загадочный мусульманский мир произвели на писателя чарующее впечатление.

Светильники горели, непонятный
Звучал язык — Великий Шейх читал
Святой Коран, — и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх
Царил в толпе, и мертвою, слепою
Она лежала на коврах...

Это был его тринадцатый визит на берега Анатолии. И самый несчастный. К Константинополю подошли в ледяные сумерки. Дул пронзительный ветер. В каютах было холодно и сыро.

Дни, проведенные в Константинополе, на всю жизнь остались кошмаром в памяти писателя. С борта парохода турецкие власти всех прибывших направили в каменный сарай — под душ ради дезинфекции.

— Мы «бессмертные»! — закричал Бунин, имея в виду, что он сам и Кондаков — члены Российской императорской академии.

По мнению Ивана Алексеевича, доктор, направлявший под душ в холодный сарай, вполне имел право сострить: «Тогда вы не умрете от простуды!» Но он милостиво освободил академиков от сей тяжелой повинности.

Всех прибывших направили ночевать «в какой-то совершенно пустой руине» под Стамбулом, там, где начинаются так называемые Поля Мертвых. Окна были выбиты, и холодный ветер свободно гулял по полу, на котором скорчились беженцы, в полной к тому же темноте.

Уже утром они узнали, что эта руина еще недавно была прибежищем прокаженных.

Одна из эмигрантских газет писала в то время: «Константинополь переполнен русскими... Материальное и правовое положение их ужасно. Бесконечная чересполосица союзных властей, десятки виз, формальных придирок, стояние в хвостах перед канцеляриями и т. п. сильно осложняют малейшее передвижение русского гражданина.

В особенно трагическом положении находятся женщины. Чтобы не умереть с голода, многие из них вынуждены заниматься проституцией».

Не легче русским было и в других странах. «Положение беженцев из России в Литве отчаянное... Министр внутренних дел Драугялис заявил, что ни русского государства, ни русского народа больше не существует». В Англии русских держат под арестом, пока не представится случай к их выселению из страны...»

«Десятки русских беженцев, пробравшихся в Румынию, сообщают о неприветливом, а иногда и грубом отношении румынских властей к ним». «За последние ме-

сяцы русская колония в Швейцарии значительно сократилась. Дороговизна жизни и высокий курс швейцарских денег побудили многих русских уехать...»

Куда? Некуда было бежать. Даже из далекой Бразилии, куда добрались самые предприимчивые, пришло сообщение: русским дают лишь самую черную работу.

Бунин держал курс на Францию. Здесь обосновались многие его знакомые, в том числе Алексей Толстой (писавший ему письма оттуда в Одессу), Цетлины... Последние хотя и предлагали Бунину всяческую поддержку, в том числе и материальную, но он еще «дома», в Одессе, заявил Вере Николаевне:

— Я не хочу ни от кого зависеть. То, что мы годами копили, на первое обзаведение на новом месте хватит. А там посмотрим!

То, что «копили» (хотя Бунин никогда копить не умел), лежало в небольшой сумочке Веры Николаевны — драгоценности, которые ей достались от родителей или она получила в подарок от Ивана Алексеевича.

— Надо скорее уезжать! — твердо решил Бунин после ночевки на свежем воздухе Поля Мертвых. — Завтра иду за визой!

* * *

Контрольно-паспортный пункт в Стамбуле напоминал вражескую крепость, которая вот-вот рухнет под могучим напором наступающих. Толпы требующих визу на выезд в различные европейские державы заполнили двор русского посольства, проникли в приемную и пытались взять штурмом кабинет начальника пункта генерал-лейтенанта Н. Е. Агапеева.

Однако Николай Еремеевич, отчаянный храбрец, ходивший в свое время врукопашную на врага, двери почему-то не растворял и на глаза разбушевавшейся толпе не появлялся.

Помощник Агапеева, красивый хрупкий поручик, заслонил спиною двери.

— Назад, господа! — горячился поручик. — Начальник занят. Когда освободится — выйдет к вам. Назад! — И он, подталкиваемый наседавшей толпой, то и дело хватался за кобуру, не решаясь вытащить оружие. Он помнил завет своего обожаемого начальника: «Замахнулся шашкой — руби! Вытащил револьвер — стреляй!»

Большой, красивый портрет бывшего императора Российского государства, Николая II, снятый со стены после мартовской революции и вновь водруженный на свое место после революции в октябре, кто-то неосторожно сдвинул в сторону. По этой причине спокойное, не гармонировавшее с происходившей вокруг сутолокой, лицо монарха приобрело несколько легкомысленное выражение.

— Стреляю! — отчаянно крикнул подминаемый толпой поручик и уже был готов привести в исполнение угрозу, но в этот драматический момент двери, уходившие чуть не под самый потолок, раскрылись. Стихшим соотечественникам явился сам Николай Еремеевич.

— Кто нарушает тишину? — строго произнес генерал и внимательно оглядел тех, кто мгновениями раньше рвался в его апартаменты. Громадные усы Агапеева, напоминавшие руль от велосипеда фирмы «Энфильд», грозно зашевелились.

— Так вот, господа! Позвольте огласить новые правила получения визы во Францию. Впрочем, в другие страны, куда нас пока еще впускают, они такие же. Поручик, зачитайте! — И он протянул лист исписанной от руки бумаги.

Поручик откашлялся и, вполне сознавая важность своей миссии, напирая на низкие ноты в голосе, начал читать: «Право на визу получают три категории лиц. Первая категория: имеющие недвижимое имущество во Франции. Вторая: лица, чьи дети или близкие родственники уже имеют пребывание во Франции. И последняя категория: вызываемые на службу в русские учреждения этого государства».

— Все! — произнес генерал и вытер фуляром свое лицо, исполосованное боевыми шрамами, вопреки тому, что долгие годы служил на Кавказе по интендантской части (после ранения на войне с японцами слабо владел правой рукой). — Кто претендует на визу, прошу предъявить соответствующие документы.

Толпа молчала и не расходилась. Прибывшие в этот момент казаки, самый верный присяге народ, веселые усатые ребята, решительно стали вытряхивать из приемной, оклеенной изящными голубыми обоями, посетителей.

Перед генералом оказался высокий, с легкими мешками под глазами и продолговатым, очень знакомым лицом, мужчина. Он был одет в пальто горохового цвета.

— Я академик Бунин...

— Прошу, — сказал генерал.

...Старый паркет ломко поскрипывал под ногами переводчика «Гайаваты», когда он проходил мимо старинной бронзы и хрусталя парадного зала русского посольства, в помещении которого временно разместился Агапеев. Бунин приближался к монументальным воротам из кованого металла. Он не ведал, что вновь идет по родной земле. Роскошный особняк императорского посла возвели на грунте, который специально доставили из России.

Изящные мраморные плиты, красавец Аполлон с поднятой словно для прощания рукой, стоявший в вестибюле, лабиринт лестниц посольского дома — все осталось позади.

Перед Буниным лежали крутые, гористые улочки Галаты с узкими печальными, как и их обитатели, домами. Турки были подавлены оккупацией союзных войск.

Бунину было еще тяжелее, чем туркам — те хоть у себя дома. Его глаза не хотят взирать даже на прекраснейшие купола великой мечети, лишь внутренний голос твердит с безысходной отчаянностью:

И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине...

Спасибо тебе, о благодетельное неведение! Поэт был обречен «познать тоску всех стран и всех времен». Долгих тридцать три года он будет тосковать по России...

Резкий ветер сыпал в лицо мокрым снегом и рвал из рук бумаги — визы на въезд во Францию.

ГЛАВА VII

И. А. Бунин — И. С. Назарову.

Париж, 27 апреля 1920.

Дорогой Иван Степанович, в Софии мы прожили 18 дней в отеле, полном русских беженцев (Hotel Continental), где живут Федоров и Нилус. Там грязь и тиф, мы жили в ужасе, а кончилось это тем, что нас вдребезги обокрали, — *все вещи золотые и драгоценные и почти все деньги. Софийский университет избрал меня профессором. Кое-как, по нездоровью, — я ужасно ослабел, — и по делам пришлось уехать в Париж...*

...В прокуренном и грязном отеле «Континенталь» Бунин томился уже третью неделю. Не было разрешения на выезд, не было денег. Он пытался было продать золотое

кольцо с изумрудом, хранившееся у жены, но ювелиры предлагали такую смехотворно малую цену, что он перестал бы уважать себя, если отдал бы семейную реликвию этим разбойникам.

Но нашелся добрый человек по фамилии Рысс.

— Приглашаю вас участвовать в политической дискуссии, — деловым тоном сказал Рысс. — Имя академика Бунина привлечет многих слушателей. Вы получите достойный гонорар. Ваше выступление послезавтра. Начало согласно местным традициям в девять утра. Не проспите?

— Я никогда никуда не просыпаю и не опаздываю, — спокойно возразил Бунин.

Накануне этого утренника Иван Алексеевич нежданно попал в гости. Местный поэт, содержавший еще и трактир, в числе и других гостей пригласил Бунина «на чай».

Вот в этом веселом заведении, заедая красное вино свежим сыром, он проторчал далеко за полночь. Хозяин без конца подливал в бокал Бунина и читал стихи. Стихи были слабые, а вино хорошее.

— Спасибо за угощение, — поднялся он из-за стола.— Мне надо идти. Завтра утром читаю лекцию.

— Запрещаю! — ревел тучный человек в генеральской форме, оказавшийся военным министром Болгарии. — Сейчас же сядьте! Иначе прикажу арестовать вас.

Бунин, вздохнув, вновь усаживался за стол.

«Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном. И только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что... лекция эта должна была начаться в девять утра», — писал позже Бунин.

Он сидел на жесткой, скрипевшей при малейшем движении пружинами, кровати и размышлял: ехать все-таки на лекцию или...

Вдруг кто-то коротко стукнул в дверь. Бунин решил, что это жена, занимавшая такой же крошечный номер против его, через плохо освещенный, давно не мытый коридор.

— Минуту! — крикнул Иван Алексеевич. Он натянул на плечи халат и распахнул дверь. К его удивлению, никого не было. Выглянул в коридор. Тот был пустынным. Лишь чья-то неясная тень — словно привидение, метнулась в боковой проход.

Не закрывая на ключ номер, Бунин постучал к жене. Она еще лежала в постели, читая французскую книгу.

— Разве ты дома? — с изумлением проговорила Вера Николаевна. — А как же лекция?

— Не знаю, что со мной случилось. — Он в недоумении развел руки. — Отродясь такого не было — куда-то проспать... Ах, как неудобно, право!

— Что бог не делает, все к лучшему! — успокоила его жена. — Проживем без этого гонорара.

Бунин ласково улыбнулся:

— Как у тебя, мой ангел, все легко! Ну, тогда марш-марш завтракать. Я пошел одеваться.

Он шагнул в коридор, и кровь похолодела от ужаса: дверь в его номер была приоткрыта, и он сразу заметил, что все вещи его раскиданы по полу: рубашки, исподнее, носки... Чемодан, в котором хранилось все самое ценное, в том числе и сумочка с драгоценностями, был раскрыт и дотла ограблен.

Он стоял среди этого разорения, бессмысленно повторяя:

— Что это, что это?

Ему казалось, что весь этот ужас ему снится и что вот-вот он пробудится, и все опять станет хорошо. Но нет, беда свершилась въяве. Он запишет в дневник: «Мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном... На полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности...»

Секретарь Бунина А. В. Бахрах (о нем нам предстоит еще говорить), знавший Ивана Алексеевича с двадцатых годов, утверждает: всю жизнь писатель не мог отделаться от мысли, что это воровство было кем-то спланировано. Но загадочность ситуации в том, что в отеле Бунин был далеко не самым богатым. Так почему же жертвой грабителей стал именно он? Ответа на этот вопрос нет...

Но не случись этой истории, могла бы быть другая — еще более страшная. Почти в тот же момент, когда обнаружилась кража, Бунину сообщили: за минуту перед началом лекции, на которую не попал он, под эстрадой взорвалась «адская машина». Несколько человек из первого ряда, где наверняка сидел бы и Бунин, были убиты наповал.

Судьба спасла его, а болгарское правительство за свой счет отправило в вагоне третьего класса в Белград. Когда поезд прибыл в этот город, вагон загнали на запасные пути. В этом железнодорожном тупике и жили Бунины, тратя последние гроши, которые подарило болгарское правительство.

«Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя однако только один «колокольчик», — писал Бунин много лет позже. — Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой... И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение,— разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии».

Тот посмотрел строго на просителя и сухо спросил:

— Вы, говорят, академик?

Кровь бросилась в голову, но Бунин сдержал себя:

— Так точно!

— А из какой именно вы академии?

Это было настоящим издевательством.

— Я не верю, князь, — сказал Иван Алексеевич, — что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Трубецкой залился краской и резко отчеканил:

— Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Бунин вышел на улицу, с трудом соображая: «Как быть? Что делать?» Вновь возвращаться в Софию, в этот страшный отель, переполненный тифозными больными?

Из окна посольства, где размещался Трубецкой, вдруг раздался крик:

— Господин Бунин!

В окне виделся русский консул. Он продолжал:

— Только что из Парижа пришла телеграмма. Она вас касается. Госпожа Цетлин выхлопотала для вас визу во Францию и еще прислала тысячу французских франков.

* * *

28 марта 1920 года, испив «несказанную чашу мучений», Бунин прибыл в Париж. В городе на Сене было яркое весеннее солнце, почти не замутненное облаками, которые в это время года порой приносятся ветром с океана, удивительно вкусный и дешевый хлеб, множество русских и шумные улицы, со скрипом тормозов, цоканьем копыт и блеском витрин.

Бунин долго с платоническим интересом изучал их содержимое: шелковые галстуки, хрустальные флаконы, мягкое нижнее белье, модные костюмы и платья, десятки сортов колбасы, розовые окорока от Феликса Потена и бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах Картье.

Хотелось идти осматривать Лувр, а пошел в дом № 77 по рю де-Гриннель, в русское посольство к Кандаурову и князю Кугушеву — за видом на жительство, хотя, собственно говоря, жить было негде.

В посольстве принимали согласно живой очереди, которая была чуть короче, чем до площади Согласия. Все просили как милостыни разрешения жить *здесь*, а сердцем тянулись *туда*.

Талантливая писательница-сатирик (и единственная, пожалуй, женщина в этом жанре), Надежда Тэффи, уже получившая «вид», опубликовала заметку:

НОСТАЛЬГИЯ

Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу...

...Приезжают наши беженцы, изнеможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.

Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, и вянет душа, душа, обращенная на восток.

Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.

Боялись смерти дома и умерли смертью здесь.

Вот мы — смертью смерть поправшие.

Думаем только о том, что теперь там... *Интересуемся только тем, что приходит* оттуда.

Мария Самойловна встречала Буниных на Лионском вокзале. Наобнимавшись с Верой Николаевной, подставив для поцелуев холеную кисть с крупным, чистой воды бриллиантом Ивану Алексеевичу, она повела их к авто, которое стояло у вокзального подъезда. Извергнув из стального нутра струю ядовитого дыма, авто понесло их на рю де ла Фэзанари. В доме номер 118 находилась квартира Цетлиных, которую они занимали уже много лет и которая потрясла своим невиданным комфортом Веру Николаевну: двумя туалетными комнатами и тремя ванными! Буниным отвели небольшую комнату.

— Моя родина там, — говорила Мария Самойловна, изящным движением поднося к губам чашечку кофе, — где мне хорошо. Я не ностальгирую!

Иначе рассуждал Толстой, который в первый же вечер пришел к Буниным:

— Иван, скажу по чести, мне здесь противно! Живем материально неплохо, за весь свой век так не жил. Только вот деньги куда-то моментально исчезают, черт их знает! Я, на всякий случай, накупил себе белья, ботинок, три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны. Но все равно не лежит душа к этой самой Европе.

Да и Наташа, — он кивнул на жену, сидевшую в уголке с Верой Николаевной, — все скучает по дому.

— Вот кончатся наши франки, — отозвалась Наташа, — и будем ходить голодными и оборванными. Вот увидишь!

Наташа писала стихи, талантливостью которых восхищался требовательный Бунин, и имела очаровательную внешность. Толстой был ее вторым мужем.

Этот разговор с Толстыми поверг Ивана Алексеевича в глубокие раздумья.

* * *

Четвертого апреля Вера Николаевна продолжила записи в дневник. Вот некоторые из них:

«Неделя в Париже. Понемногу прихожу в себя, хотя усталость еще дает себя чувствовать. Париж нравится... Устроены превосходно. Хозяева предупредительны, приятны и легки, и с физической стороны желать ничего не приходится, а с нравственной — тяжело. Нет почти никаких надежд на то, чтобы устроиться в Париже. Вероятно, придется возвращаться в Софию. За эту неделю я почти не видела Парижа, но зато видела много русских. Только прислуга напоминает, что мы не в России...

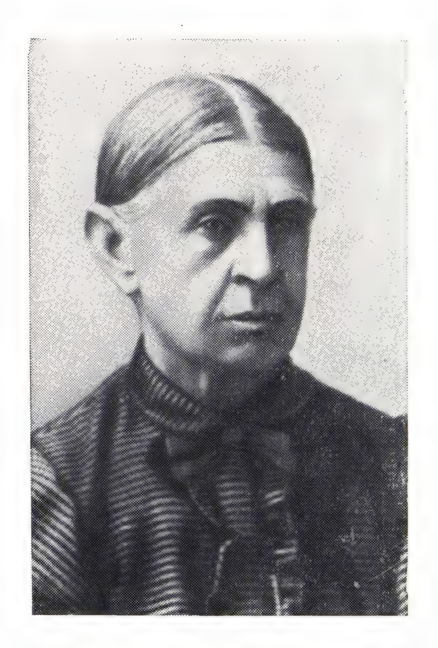
Толстые здесь, очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на краю краха. Но они бодры, не унывают. Он пишет роман. Многое очень талантливо, но в нем «горе от ума». Хочется символа, значительности, а это все дело портит. Это все от лукавого. Все хочется — лучше всех, сильнее всех, первое место занять... Было чтение. Народу было много. Всем роман понравился. Успех очевидный...

Был Шполянский... Уверяет, что в Софию нам возвращаться не придется».

Роман А. Н. Толстого — «Хождение по мукам». Критические замечания в адрес его автора сделаны, можно не сомневаться, с голоса Ивана Алексеевича. Вообще, в дневниках Веры Николаевны многое навеяно высказыва-



Ив. Бунин



Людмила Александровна Бунина, мать поэта.



Алексей Николаевич Бунин, отец поэта.

Воронеж, Большая Дворянская — на этой улице родился И. А. Бунин.

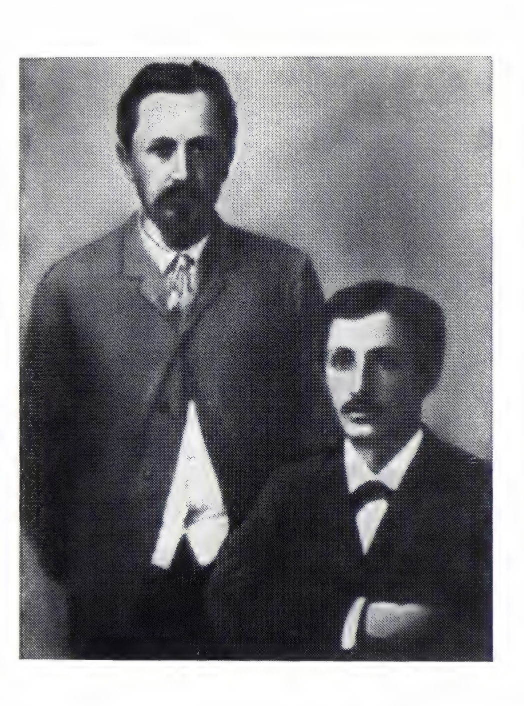
В. Н. Бунина, 1907 г.

Елец, Торговая улица.



Москва,
Староконюшенный пер.,
32 (близ Арбата).
Здесь долгие годы жил
Ю. А. Бунин и часто
бывал И. А. Бунин.

Участники
литературно-
музыкальных
«Сред» (стоят):
С. Скиталец
и А. М. Горький;
(сидят) Л. Андреев,
Ф. Шаляпин, И. Бунин,
Н. Телешов,
Е. Чириков.



Ю. А. и И. А. Бунины,
Полтава, 1891 г.

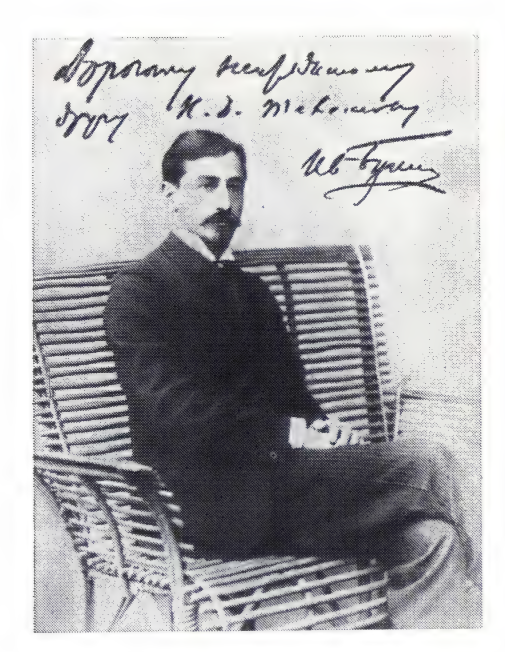
Жены писателей.
В центре (стоит за столиком)
В. Н. Бунина.

Ялта (Аутка), Кабинетъ въ домѣ Чехова, 1903 г.
Слѣва направо: И. А. Бунинъ, Чеховъ.



Милый Александръ Васильевичъ,
Это Вамъ, на новоселье.
Ив. Бунинъ
31.X.1950. Парижъ

А. П. Чехов и И. А. Бунин. (Дарственная надпись Ивана Алексеевича своему секретарю А. В. Бахраху.)



И. А. Бунин, 1910-е гг.
Фото К. Фишера.
Надпись: «Дорогому неизменному другу Н. Д. Телешову. Ив. Бунин».

Москва, книжные лавки на Лубянке. 1910-е гг.

КНИГИ И. А. БУНИНА.



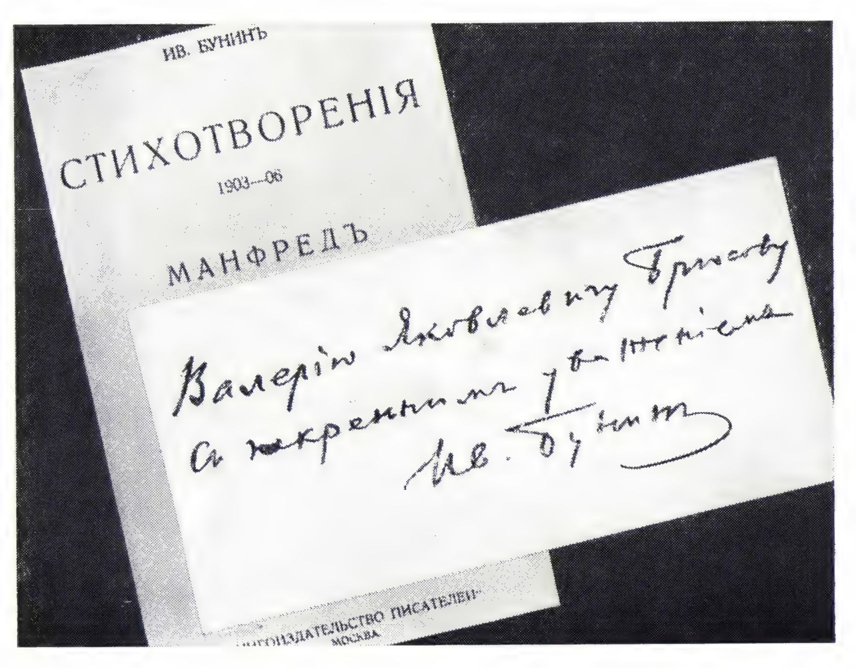
Дарственные надписи
А. М. Горькому
и В. Я. Брюсову.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. А. БУНИНА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНІЕ Т-ва А. Ф. МАРКСЪ :: ПЕТРОГРАДЪ



Воскресенская площадь (ныне пл. Революции).
В глубине — часовня Иверской Богоматери и Иверские (Воскресенские) ворота. Сооружены в 1680 г. Снесены в 1930 г.

Большая Московская гостиница на Воскресенской площади.

Храм Христа Спасителя на Волхонке, сооруженный в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 г.



Москва. Красныя ворота.
MOSCOU. Vue de la Porte Rouge.

Красные ворота (слева — Ново-Басманная, справа — Садово-Черногрязская ул.). Сооружены в 1753—1757 гг. (архитектор Д. В. Ухтомский). Снесены в 1928 г.

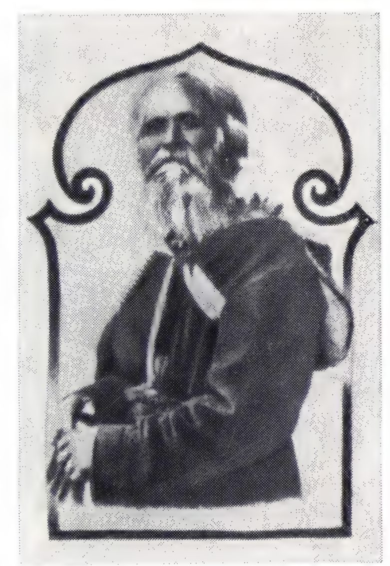
Гостиница «Париж» на Тверской улице близ Охотного ряда.

Арбатская площадь. ***Фото начала XX века.***

ТИПЫ МОСКОВСКОЙ СТАРИНЫ.



Разносчик арбузов.





Странник.



Точильщик.



Сборщик пожертвований
на сооружение храма.

Одесса. — Odessa.
Берегъ Средняго фонтана. — Bord de la Fontaine moyenne.

Одесса. Берег Среднего фонтана.



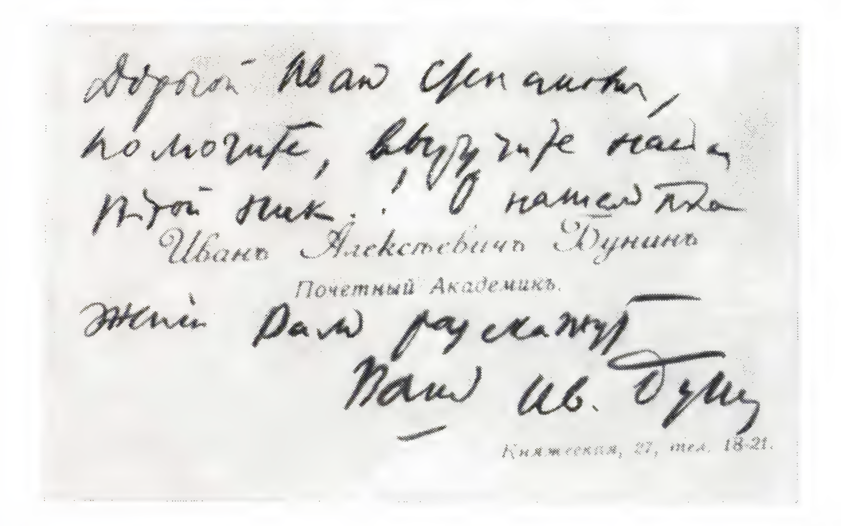
А. Н. Толстой и М. Горький.



М. С. Цетлин, 1910 г.
Худ. В. Серов.

Белые бегут... 1920 г.

Стамбул, Айя-София.


Дорогой Иван Степанович, помогите, выручите нас с Верой Ник. ! О нашем поло-

Иванъ Алексѣевичъ Бунинъ

Почетный Академикъ.

жении Вам расскажут

Ваш Ив. Бунин

Княжеская, 27, тел. 18-21.

Визитная карточка И. А. Бунина. Надпись: «Дорогой Иван Степанович, помогите, выручите нас с Верой Николаевной. О нашем положении Вам расскажут. Ваш Ив. Бунин». На обороте рукой Бунина помета: «Пароход «Спарта». Февраль 1920 г.

ниями ее мужа. Не случайно в письмах Бунина, в его дневниках мы находим немало фраз, почти дословно повторенных Верой Николаевной. Но в этой «несамостоятельности» для нас много ценного, как ценно все, что относится к великому писателю.

5 апреля: «Фондаминский, Мария Самойловна и многие другие родились и учились в Москве, ...потом уехали в университет в Германию. Вернулись к 1905 году уже социал-революционерами, потом тюрьма, ссылка, эмиграция. Все видели, кроме слона, т. е. народа».

Седьмого апреля у Цетлин был день рождения. Накануне она проявила трогательную заботливость:

— Верочка! Посмотрите вот эти платья... Они почти новые. Может, вам что-то подойдет из них? Сиреневый цвет вам к лицу, право.

Сгорая от стыда, впервые в жизни она надевала на себя чужие платья. Не ради себя, ради хозяйки. Завтра у нее будет «весь русский Париж». Зачем же своей бедностью оскорблять изысканное собрание?

Беглецов перегоняли идеи. Князь Георгий Евгеньевич Львов созвал «конфиденциальное совещание». За большим обеденным столом, заставленным роскошными закусками и крепкими напитками, уселись Бунин, Толстой, Михаил Осипович Цетлин.

— Господа! — торжественно произнес князь. — Поздравляю — вы будете редакторами рождающегося на благо отечества издательства. Оно будет находиться в Берлине. Его капитал — восемь миллионов! Нет, нет! Благодарите не меня. Деньги — Михаила Осиповича. Поднимем тост за его здоровье!

Бунин не успел порадоваться, как пришла пора разочаровываться. В дело вмешались политические интриги.

Потирая носовым платком томпаковую лысину, князь Львов, пригласивший к себе для новой беседы Бунина, смущенно произнес:

— Иван Алексеевич, я чувствую себя крайне неловко. Но... издательское дело, кажется, вылетело в трубу. Цетлин отказался дать деньги. Между нами (он склонился к уху Бунина, хотя в комнате никого не было) — причина в графе Алексее Николаевиче. Большего я сказать не могу! И прошу — все между нами...

Так и не возникло дело «Бунин, Толстой и К°».

На Фэзанари часто заходил небезызвестный Виктор Борисович Савинков. Вере Николаевне он «не показался»:

«лысеющий мужчина среднего роста с маленькими ступнями, ...очень некрасивый, с плохой кожей, с надутыми жилами на лбу... Почти весь вечер он пил коньяк и разговаривал с сестрой Маршака. Даже когда приехали Ян и Толстой, он не пошел в столовую к столу, а оставался в гостиной...»

19 апреля. «Обедали вчера у Толстых с Набоковым. Набоков, очень хорошо по внешности сохранившийся человек, произвел на меня впечатление человека уже *не живого*. Он очень корректен, очень петербуржец... Разговор шел на политические темы, между прочим, о царе. Про Николая II он сказал, что его никто не любил и что сделать он ничего не мог.

...Вчера за обедом Толстой очень бранил Савинкова: «Он, прежде всего, убийца. Он умен, но он негодяй». Он рассказывал им о своей поездке в Варшаву:

— Да, вот мы с Пилсудским полагали так. Тут будут стоять его войска, а здесь мои (!). Потом заговорили о «Бледном Коне». Толстой говорит, что редактировал его Мережковский».

Точнее — «Конь бледный», в которой один из лидеров партии эсеров заявил о своем раскаянии в террористической деятельности. Этой книгой Савинков (псевдоним В. Ропшин) в 1909 году дебютировал в литературе. Позже издал еще несколько книг, писал и стихи — довольно удачные.

Человек, организовавший множество террористических актов — от убийства министра Плеве до великого князя Сергея Александровича, утверждал — белое движение не имеет перспектив.

И вновь воспевал и оправдывал убийство: «Не убий!» ...Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. «Не убий», но все убивают вокруг. Льется «клюквенный сок», затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?.. Какой кощунственный балаган!»

И все же вынужден был добавить: «Чего я достиг?

Позади — свежевырытые могилы. Впереди... Что ожидает меня впереди?»

Что это? Предчувствие печального конца?

Десятки различных организаций, партий, групп и объединений, уже обосновавшиеся в Париже, искали повод для самоутверждения и пути к власти. Каждая уверяла, что на ее «знамени написаны священные слова — свобода и счастье родины». На деле они кипели ненавистью к новой России. Эта злоба выплеснулась идеологическим ядом на бумагу. С 1918-го по 1932 год выходило 1005 названий русских эмигрантских газет и журналов. В 1931 году в Белграде увидали свет «Материалы для библиографии русских трудов за рубежом». Они назвали умопомрачительную цифру — 7038 трудов по философии, истории, юриспруденции и прочим наукам. Солидная доля сих трудов пронизана патологическим неприятием власти Советов.

За рубежом после 1919 года оказались представители всех российских партий (кроме большевиков). Они исповедовали различные религии, принадлежали многим национальностям и социальным кругам — от великих князей до крестьян. Не случайно эту эмиграцию называли «Россией № 2». Точной цифры белой эмиграции нет, но многие специалисты называют от 1,5 до 2 миллионов с лишним.

Вот в такой политический котел, бурливший и кипевший раскаленными страстями, попал не искушенный ни в каких интригах писатель Бунин. Сам же он стал лакомой приманкой для многих эмигрантских (и неэмигрантских!) функционеров.

Но вернемся к дневникам Веры Николаевны (записей Ивана Алексеевича в первый период пребывания за рубежом почти нет). Поражает провидение ее, почувствовавшей в бывшем русском после в Берлине Набокове *не живого*. В четверг 30 марта 1922 года русские эмигрантские газеты сообщат:

«Убит вице-председатель Русского национального комитета В. Д. Набоков.

Позавчера, 28 марта в берлинской филармонии профессор П. Н. Милюков читал лекцию о положении России и об ее политической и экономической будущности. Присутствовавшие в зале гвардейские офицеры-монархисты Таборницкий и Шабельский произвели в лектора несколько выстрелов.

Находившийся поблизости от места происшествия В. Д. Набоков бросился вперед, чтобы прикрыть Милюкова, и был сражен наповал. Уже в смертельно раненного, беспомощно распростершегося на полу, преступники продолжали стрелять.

Убийцы задержаны. Они признались, что мстили Милюкову за царя, за то, что он, бывший министр иностранных дел России, по мнению покушавшихся, виновен в подрыве самодержавия.

Ранено пять человек из зала. Милюков не пострадал».

Любопытно, что за год до этого, Таборницкий покушался на председателя III Государственной думы, военного министра Временного правительства А. И. Гучкова.

Убийцы были преданы французскому суду, а протоиерей Сахаров отслужил в русской церкви на улице Дарю панихиду по убиенному. «Превосходное пение церковного хора звучало родными, с детства знакомыми напевами», — ностальгически писали газеты.

Ностальгия, ностальгия!.. Чувствует ли кто ее больнее русского человека? Одни старались заглушить ее алкоголем в расплодившихся кабачках, где песни грудастых цыганок исторгали слезу из глаз вчерашних полковников, корнетов и казачьих атаманов. Другие заглушали ее пистолетными выстрелами, в других или себя — все равно. Третьи — беседами о литературе и высоком искусстве.

«Вчера были у Толстых по случаю оклейки их передней ими самими. Пили вино. Толстой завел интересный разговор о литературе, о том, стоит ли вообще ему писать. Говорили о том, что литература теперь заняла гораздо более почетное место, чем это было раньше... Все поняли, что литература — это в некотором роде хранительница России. Потом говорили об иррациональном в искусстве. Ян считает, что хорошо в искусстве не то, что иррационально, а что передает то, что хотел выразить художник. Приводил Фета, Ал. Толстого и других. Потом заговорили о Льве Николаевиче Толстом...» (Запись Веры Николаевны 28 апреля.)

«Были у Толстых, а вечером Толстые у нас. Алексей Николаевич читал свои стихи. Он читает хорошо и хорошеет сам. Ян прочел свои 2 рассказа: «Сказка» и «Последний день» (2 мая).

...Бунины начали приходить в себя после беженских страданий, но один вопрос постоянно донимал их: как и на какие средства существовать дальше?

— Живите, дорогие, сколько вам захочется, — убеждала их Цетлин. Но эта любезность не утешала. Последние иллюзии относительно гостеприимных хозяев рухнули 10 мая, когда голубоглазая дочка Марии Самойловны Шурочка (от первого брака с эсером Авксентьевым) простодушно спросила:

— А вы после лекции от нас уедете?

Шурочка говорила о публичном вечере Бунина, который «имел быть» 12 мая. Это был первый из десятка подобных, организовавшихся с единственной целью — собрать франки, необходимые для существования. Это зрелище обставлялось следующим образом. Инициативная группа, в которую входили друзья и родственники «лектора», снимали помещение для вечера — согласно материальным возможностям, чаще — на окраине Парижа, где стоило дешевле. Затем печатались анонсы в газетах, а порой и пригласительные билеты. И вот жена, дети, приятели жены и детей ходили по квартирам знакомых (и незнакомых) — предлагали «купить билетик». Норовили попасть к самым зажиточным, хотя среди русских парижан таких было немного. Первые платили последние гроши и приходили на вечер. Надо ведь поддержать бедствующего писателя! Богатые, как правило, на вечер не приходили, но вносили солидный взнос — порой 50—100 франков и более. Вот и набиралась какая-то сумма! Вся беда только в том, что круг «любителей лекций» был весьма невелик и его нельзя было часто эксплуатировать.

Вера Николаевна, услыхав обидный вопрос малолетней Шурочки, горько плакала, а успокоившись, записала в дневник: «Может быть, правда пора переселяться? Я с наслаждением переселилась бы в крохотную квартирку, сама бы готовила и никого бы не видала. Я чувствую, что устала от людей, от вечного безденежья, от невозможности жить, как хочется. Кажется, я всего счастливее чувствовала себя на кухне в Софии» (10 мая).

Через неделю она же записала: «Лекция Яна, несмотря на забастовку такси, состоялась, и было народу довольно много. Но публика была непохожа на одесскую, когда вся аудитория сливалась с читающим и когда, после окончания, долго, стоя, приветствовали его аплодисментами. Здесь хлопали мало, и публика была очень разношерстная, большею частью отвыкшая от России... Но много было и известных людей: князь Львов, Стахович, Вырубов, Рудневы, Авксентьев, Вишняки... Времени было все-

го два часа, а Яну нужно прочесть и о революции, и рассказ...»

И тут же о вечере на квартире Савинкова, где Виктор Борисович познакомил со своей программой «Родина, демократическое управление и частная собственность». Он говорил, «что считает, что нужно дать землю крестьянам и возможность работать, чтобы они могли жить лучше, богаче. А до всяких идеалов ему дела нет, с чем не соглашался Толстой».

Самая респектабельная и самая читаемая газета «Последние новости» поместила отчет: «В среду 12 мая академик И. А. Бунин прочел лекцию о русской революции. «Художественная проза», как назвал ее лектор свое чтение, была облачена такой мастерской формой, присущей Бунину, что невольно захватывала слушателей и не разделяющих взглядов автора. Как бы ни относиться к этим взглядам, во всяком случае, в ясном чеканном языке Бунина, в каждом слове с неподдельной страстностью, проникнутой временами излишней желчью и гордостью, сквозила жгучая боль за Россию и любовь к родине».

Сбор от лекции, а больше — «взаимопомоществование» какого-то комитета, позволили Буниным покинуть квартиру Цетлиных и вернуть им долг — тысячу рублей.

Итак, жизнь независимая, полная свобода печатать что хочешь (и где хочешь) началась!

ГЛАВА VIII

Полная свобода печати! Графоманы всех мастей — от монархистов и всяких экстремистов ухватились за перья, валяй кто хочет! И валяли, и организовывали, и «выпускали в свет»: «Наш путь», «Наша правда», «Наш стяг», «Знамя», «Знаменосцы», «Значок», «Вестник союза дворян» и «Вестник хуторян», «Нация» и «Держава», и еще «Вестник Сиона», и еще «Имперская мысль», «Эриванская летопись», О количестве «Огоньков» говорить не приходится — своим неверным светом они озарили задворки литературы, которую называли «русской».

К романам отношение было особым. От них требовалась толщина и раздирающий душу заголовок. Роман госпожи Бакуниной — «Твое тело принадлежит мне». Роман Анны Кашиной — «Жажду зачатия». Многотомный труд генерала Краснова — «От двуглавого орла к красному знамени».

По необъяснимой по сей день причине, заграничное отечество особый прилив творческого вдохновенья дало людям военным, многие из которых дома не то что написать, сказать, кроме «ать-два!», ничего толком не умели. Здесь же все они рвались в классики мемуарной литературы.

«Один из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение» (это определение И. А. Бунина), Дон-Аминадо (он же А. П. Шполянский) об этих мемуаристах оставил стихи:

ПИСАНАЯ ТОРБА

Могу ли ждать от тучных генералов,
Чтоб каждый раз в пороховом дыму,
Они своих гражданских идеалов
Являли блеск и в Омске, и в Крыму?

Когда в поход уходит полк казацкий,
Могу ль желать, чтоб каждый на коне,
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе грамоты в безграмотной стране?

Ах, милые! Вам надо до-зарезу,
Я говорю о этом не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь...

Бунин свои записки начнет публиковать в 1925 году — «Окаянные дни». Это дневниковые заметки, которые он делал с первого января 1918 года по 20 июня девятнадцатого. Эту книгу критиковали много, резко и во многом (хотя и не во всем) справедливо. Личные трудности, сложный быт того сурового времени заслонили от писателя главную истину — величие Октябрьской революции, ее историческое значение для судьбы России. «Окаянные дни» словно написаны нервным и возбужденным человеком, но человеком, умеющим подсмотреть яркую бытовую картину, дать злую и меткую характеристику какому-нибудь уличному типу.

Но в июньские дни двадцатого года Бунин хранил творческое молчание. Причина? Он сам так сказал Вере Николаевне:

— Постоянно думаю о доме, о близких, о Юлии... Ничего другого в голову не идет.

Пятнадцатого июня бывший член ЦК партии кадетов, а теперь один из руководителей «правительства Юга России» Петр Бернгардович Струве пригласил Ивана Алексеевича в кафе на завтрак. Пережевав котлэт де мутон (проще говоря — баранью котлетку) и оросив ее

красным дю Маконом, он спросил густым, насытившимся голосом:

— Ну-с, милостивый государь, какие виды у вас на будущее?

— Уехать в Россию! Вот чего мне больше всего хочется.

Струве выпучил глаза и чуть не поперхнулся вином:

— Что?! В большевистскую Россию? Вам там найдут милое местечко — в уютной камере на Лубянке. Нет, туда вам рано!

Петр Бернгардович долго испытующе смотрел на собеседника, медленно, сквозь крупные, по-лошадиному здоровые и желтые зубы потягивая рубиновое вино.

— Нет, сударь мой, — веско уронил он, — в Совдепии вам делать нечего. Относительно вас есть другие планы, более серьезные. *Мы* уже подумали об академике Бунине.

Он вновь сделал паузу, оглянулся и, склонившись к собеседнику, тихо произнес:

— То, что сейчас скажу вам, не подлежит разглашению. Нынче в различных европейских государствах идет подготовительная работа по созданию национальных лиг русских эмигрантов. Ваша кандидатура одобрена — вы возглавите самую представительную лигу, французскую. Днями будет утверждена программа. Вы ее скоро получите. Солидное вознаграждение будет выплачиваться помесячно.

Бунин не верил своим ушам. Ему предлагали, по сути дела, поприще политического деятеля. К подобного рода занятиям он испытывал искреннее отвращение, как, впрочем, и ко всем политиканам, в которых видел всего лишь авантюристов. Но солидное вознаграждение...

«Эх, чего тут голову ломать, — сказал он сам себе. — Все равно из этой аферы, как из сотен других, ничего не получится!»

И писатель оказался прав: прожект этот лопнул, программы никакой Бунин не получил. Но любопытно его признание: «Уехать в Россию!» (Вера Николаевна добросовестно занесла его в свой дневник).

На первых порах этих самых прожектеров развелось действительно великое множество. В специальных брошюрках, в кафе, по темным углам разрабатывались «верные» способы свержения власти Советов. Но даже самые непримиримые контрреволюционеры, продолжая осыпать

проклятиями большевиков, все чаще начинали признавать истину: новая власть держится прочно.

Барон Николай Врангель, папаша небезызвестного генерал-лейтенанта Петра Врангеля, в своих «Воспоминаниях», изданных в Берлине, писал: «Прощай, Родина! Теперь беженцами скитаемся мы по чужбине. Серо, однообразно, бесполезно тянутся дни за днями. Глядим на гибель Родины, с горестью смотрим, как зарубежная Русь грызется между собою не для блага России, а за будущую, более чем гадательную власть.

Жизнь окончена. Впереди одна смерть-избавительница.

Остается подвести итоги.

России больше нет. Миллионы людей убиты, миллионы умерли от голода, миллионы скитаются на чужбине. Жизнь заглохла. Поля зарастают бурьяном, фабрики не работают, поезда не ходят, города вымирают, на улицах столицы растет трава.

Недавняя житница Европы уже не в силах прокормить себя...

А в активе?

В активе общественные силы — все те же, слишком — увы! — знакомые лица, алчущие сыграть роль, на которую они не способны.

Заветы революции? Какие? «Грабь награбленное»? «Смерть буржуям»? «Диктатура пролетариата»?

Чтобы определить ценность заветов, нужно предварительно сговориться, в чем именно они заключаются.

Остатки русской армии? Хранители русской чести? Одними забытые, другими оплеванные!

Или легенда, красивый миф о богатыре Илье Муромце, который после вековой спячки воспрянет и будет творить чудеса?

Увы! С таким активом едва ли Россию восстановить.

Правда, остается еще одно — долг чести бывших союзников. Но сведущие люди утверждают, что в наше время долги чести платят лишь чудаки с устарелыми взглядами, а не просвещенные нации.

А тем не менее — вопреки очевидности, вопреки здравому смыслу — верую... Россия будет!»

Да, жизнь на чужбине Бунину казалась постылой и конченой.

Заграничный быт, расчетливый и скуповатый, лишенный любезного сердцу российского размаха, сушил душу. Дни тянулись до противного однообразно и уны-

ло. Он вспоминал Россию, и ему хотелось плакать, как плачут о навсегда ушедшем любимом человеке.

Разнообразие в жизнь вносили встречи с «собратьями»: энергичным и полным планов Толстым, проклинавшим «Европы» Куприным, вечно влюблявшимся в молодых девиц Бальмонтом, маститым и самоуверенным Мережковским и его супругой, подвижной и ядовитой Зинаидой Гиппиус, сыпавшей остроумными шутками Надеждой Тэффи.

Весьма по сердцу пришелся Бунину его новый знакомый — химик по профессии Марк Ландау, с пылкой восторженностью относившийся к знаменитому писателю. Еще в России он издал две книги — поэтический сборник и литературоведческий труд. Бунин их не читал. Но теперь, по просьбе Ландау, ознакомился с рукописью его романа и приятно удивился:

— Батенька, да у вас настоящий талант. Истинно говорю — золото без лигатуры!

Бунин оказался провидцем. За свою жизнь бывший химик выпустил множество исторических романов, которые были переведены на многие языки и принесли их автору громкую известность. Печатал он их под псевдонимом Алданов (мы тоже будем его так звать).

Сестра Алданова — Любовь Александровна Полонская и ее муж Яков Борисович, в прошлом присяжный поверенный в Киеве, а теперь приказчик в книжном магазине Я. Поволоцкого на рю Бонапарт, устроили у себя литературный салон. Именно здесь Бунин прочитал свое первое стихотворение, написанное в эмиграции:

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...

Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?

Гляжу вперед на черное распятье
Среди дорог —

И простирает скорбные объятья
Почивший бог.

За этот период сохранилась единственная дневниковая запись Бунина: «Париж, 19 августа 1920 года. Прочел отрывок из дневника покойного Андреева. «Покойного»! Как этому поверить! Вижу его со страшной ясностью, — живого, сильного, дерзко уверенного в себе, все

что-то про себя думающего, стискивающего зубы, с гривой синеватых волос, смуглого, с блеском умных, сметливых глаз, и строгих, и вместе с тем играющих тайным весельем; как легко и приятно было говорить с ним, когда он переставал мудрствовать, когда мы говорили о чем-нибудь простом, жизненном, как чувствовалось тогда, какая это талантливая натура, насколько он от природы умней своих произведений и что не по тому пути пошел он, сбитый с толку Горьким и всей этой лживой и напыщенной атмосферой, что дошла до России из Европы и что так импонировала ему, в некоторых отношениях так и не выросшему из орловского провинциализма и студенчества, из того толстовского гимназиста, который так гениально определен был Толстым в одной черте: «Махин был гимназист с усами...»

В тот вечер к Буниным зашел Куприн.

— Ничего я здесь не напишу, — сказал Александр Иванович. — Я постоянно Россию вспоминаю, ничего другого даже в голову не идет. Какой-то кошмар! Вон Мережковские — им вроде наплевать — Невский проспект или Латинский квартал. Крыша над головой есть, обед и ужин есть — значит, порядок!

А я дошел до того, что письмо не могу туда спокойно написать, ком в горле... Я или повешусь, или сопьюсь. Вот увидишь!

— Ты не один такой! — возразил Бунин. — Все мы Россию, наше русское естество унесли с собой, и где бы мы ни были она в нас, в наших мыслях и чувствах. Надо не спиваться, а работать...

Что касается супругов Мережковских, то они попали в Париж не сразу, а успели короткое время пожить в Варшаве. Здесь, по свойственной им любви ко всяческому начальству, они сумели пробиться на прием к Пилсудскому и заверить его в своей искренней любви, а заодно выпросить сколько-то (сколько дадут) злотых. Дмитрий Сергеевич воспел «тройственный лик совершенства Пилсудского: воплощенную мудрость, подвиг и красоту», а также «дух божий» .

Гиппиус поспешила опубликовать свою «Черную книгу», в которой призналась в ненависти к большевикам, правым эсерам, левым кадетам и вообще «всем еврейкам и евреям».

Но это было лишь начало литературных подвигов...

Каждый в эмиграции устраивался как умел.

* * *

Через месяц прибытия Бунина на берега Сены здесь стали выходить упоминавшиеся выше «Последние новости». Подписная цена на три месяца — 33 франка. На больший срок не подписывали — не были уверены, что эти три месяца проживет газета, не протянет ноги.

Была она с «ятями», большого формата, ежедневной, и редактировал ее присяжный поверенный М. Л. Гольдштейн. Газета намного пережила своего редактора (он покончил жизнь самоубийством). Она выходила более двадцати лет. Последний номер вышел 14 июля 1940 года — за несколько часов до вступления немцев в Париж.

Но вскоре на капитанском мостике «Последних новостей» появился Павел Николаевич Милюков. Он обещал быть «беспристрастным» и давать место на своих полосах представителям всех политических течений. Газета была скроена по лучшим образцам буржуазной печати: на первой полосе — политика и новости. На второй и третьей — литературные публикации преимущественно из уголовных и любовных приключений. Здесь же — рубрика «Сообщения из Советской России»: перепечатки из наших газет с критическими заметками. Далее — некрологи (этих очень много), хроника происшествий (ограбления, убийства — этих еще больше). И, конечно, объявления.

Милюков слово сдержал — в газете публиковались монархисты, кадеты, эсеры, синдикалисты и пр., пр. По этой причине число врагов газеты и Милюкова росло после каждого номера, а количество читателей и подписчиков достигло поистине легендарных для эмиграции цифр — 35 тысяч. По воскресеньям газета выходила на десяти полосах. Ненавидели, но читали. Милюков оказался тонким знатоком психологии «среднего» читателя. Он владел десятком различных языков, прочитывал множество книг и журналов и на вопрос, зачем нужна буква «ять», неизменно отвечал:

— Чтобы отличать грамотного человека от неграмотного.

Павел Николаевич любил ходить на балы, председательствовать на вечерах и играть на скрипке. Музицировал даже со знаменитым Пьером Любошицем.

Едва он приступил к редактированию газеты, как обратился к Бунину с просьбой быть «на веки вечные автором с самым высоким гонораром». И рассказы Ива-

на Алексеевича украшали газету — в праздничные номера.

«Последние новости» — единственная газета, которую регулярно выписывал Иван Алексеевич.

О чем же писала она в начале лета двадцатого года?

«Живем мы, так называемые ле рюсы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физики — взаимооттalкиванием.

Каждый ле рюс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его...»

«Обыски у русских. В Париже, по распоряжению властей, снова произведен ряд обысков у русских финансовых и общественных деятелей. Изъяты все документы и письма на русском языке».

«В Черном море на пути в Малую Азию погибли 14 пароходов с русскими».

«Необходимость спасти себя от голодной смерти заставила многих интеллигентов приняться за изучение какого-либо ремесла. На практике самым легким ремеслом оказалось сапожное. Многие бывшие инженеры, бухгалтера, учителя поступили подмастерьями к сапожникам».

«В Париж из Лондона прибыл генерал Юденич».

«Фирма Бриль и Гершман открыла бюро по покупке бриллиантов, жемчугов и цветных драгоценных камней».

«Беженский аукцион. В Голубом зале русского посольства в Константинополе, где некогда происходили торжественные приемы послов, на днях происходил аукцион драгоценностей и других вещей, принадлежащих русским беженцам».

«Лиц, знающих о судьбе капитана А. И. Иванова, адъютанта 4-й артиллерийской дивизии добровольческой армии, просят сообщить его жене по адресу...»

«Преследование русских в Болгарии. В ночь с 22 на 23 июня почти все находящиеся в Софии русские были вытащены из кроватей, под вооруженным караулом отведены в участок, где их продержали до утра. Не были пощажены ни больные, ни лица с высоким общественным положением, как, к примеру, профессор Кондаков, ученый с мировой известностью...»

«Визы, каюты и валюты. «Не пожелай себе визы ближнего твоего, ни каюты его, ни валюты его». Так гласит ново-беженская заповедь, ибо слишком много скорби и в визе, и в каюте, и в валюте нашей.

...Бьется человек, старается и права все имеет на какой-нибудь въезд — а визы не получает. И почему — неизвестно.

...Почему выезд из Франции так же затруднен, как въезд в нее?

Я понимаю: Франция очень любит нас, и расстаться ей с нами тяжело. Потому она всячески затрудняет наш выезд, так сказать, отговаривает нас. Это очень любезно. Хозяева так и должны.

...Начинаем хлопотать.

Этот удивительный глагол существует только на русском языке, хлопочут только русские. Иностранец даже не понимает, что это за слово...» Н. Тэффи (25 июля).

«Несладко живется русскому эмигранту на чужбине. Изнеможденные, голодные, больные, без денег, без возможности найти работу, без права выбирать местожительство по своему усмотрению, — русские беженцы производят жалкое гнетущее впечатление.

Комиссионные магазины завалены их вещами. Вы увидите здесь на полках все, вплоть до обручальных колец и нательных образков. Продажа таких вещей указывает на голод в буквальном смысле этого слова.

Кроме этой ужасающей нищеты, русский беженец переживает всяческие унижения и оскорбления. Даже женщины не избавлены от них...» (30 июля).

«Литературно-музыкальный вечер памяти Л. Н. Толстого при участии академика И. А. Бунина, А. И. Куприна и графа А. Н. Толстого. Билеты от 30 до 3 франков продаются в книжном магазине Поволоцкого, 13, ул. Бонапарта» (31 декабря).

* * *

Только горячей любовью к Л. Н. Толстому можно объяснить согласие Бунина участвовать в вечере. В декабре у Ивана Алексеевича обострилась старая болезнь, которую он называл «профессиональной» — той, которой болеют чаще всего те, кто ведет сидячий образ жизни. Кроме того, второго декабря у него был сильный сердечный приступ. Организм, бывший когда-то могучим и которому, казалось, износа не будет, резко сдал.

Навестить больного приходили супруги Мережковские, Тэффи, часто бывали А. Н. Толстой и А. И. Куприн.

Бунин пребывал в мрачном настроении. Вера Нико-

лаевна записывала в дневник: «1 января/19 декабря... За четверть часа до «басурманского» Нового года я заснула. В 12 часов пришло все семейство Куприных с шампанским. Потом пришел Кузьмин-Караваев...»

2 января. «Ян проснулся поздно. Настроение у него тяжелое. Он сказал: «Вот поправился, а зачем — неизвестно. Хуже жизни никогда не было...»

5 января в Париж приехал лидер эсеров, бывший министр земледелия во Временном правительстве В. М. Чернов. Отлично образованный, благородной наружности, приятный в обращении, Виктор Михайлович производил на людей хорошее впечатление. Но только не на Бунина.

В доме Авксентьева царило оживление. Эсеры отмечали прибытие своего лидера.

— Они, кажется, вполне уверились, — усмехнулся Иван Алексеевич, — что вновь их времечко настает, что будут царствовать. Ой, вряд ли! Кишка тонка...

На следующий день был обычный сбор — к Буниным пришли гости, в том числе Толстые и Куприн.

— Петра Первого вы не так написали, как следовало, — наседал Александр Иванович на Толстого. — Ваш Петр не убеждает читателя. Петр — это глыба, цельный характер, а у вас...

К счастью, в этот момент вошел Иван Алексеевич. В руках у него была книга.

— Вот послушайте, — сказал он. — Читаю «Былое и думы», уже в который раз. И всякий раз обнаруживаю что-то любопытное. Герцен рассказывает, как Гегель сказал привратнице: «Скверная погода!» Та ему в ответ: «Слава Богу, что такая-то есть, хуже было бы, если бы не было никакой». Герцен находит, что это мещанская психология. А ведь это сама мудрость!

Вспомнили вчерашний праздник эсеров. Бунин заметил:

— Вот эти эсеры или монархисты, или кто угодно... Все уверяют, что их программа — это воля народа. А на самом деле, думают только о том, как в мутной водичке рыбку половить — прикрываясь демагогией, урвать как можно больше.

Расставаясь, договорились встретить «настоящий, русский новый год» у Толстых. 14 января Вера Николаевна записывала в дневник: «У Толстых вчера пировали весело. Сняты были двери между столовой и салоном, и получилась большая комната... Было решено встречать

Новый год в 10 часов, в час, когда в России полночь...

Вначале было довольно неоживленно, даже грустно. Все только усердно ели с сосредоточенным видом, как бывало в 18-м году в Москве весной... В 10 часов, подняв стаканы, мы выпили за всех близких, оставшихся в России. Потом... все немного повеселели. Но разожгло, «раскипятило и воспламенило» всех цыганское пение. Пела Шишкина-Афанасьева, которую теперь пропагандирует Аминад (Дон-Аминадо. — *В. Л.*), и чуть ли не все пустились в пляс. Даже Ян не удержался, несмотря на сердце, сделал несколько цыганских движений с таким выражением, что привел всех в восторг...»

Новый, 1921 год — и «по-басурмански», и «по-русски» — наступил. Бунин начинал его с тяжелым сердцем, предчувствовавшим беду. Увы! Предчувствия и на этот раз не обманули.

ГЛАВА IX

В марте 1921 года «потрясающая новость» дошла до Парижа: в Кронштадте вспыхнул антисоветский мятеж, который буржуазные газеты тут же назвали «восстанием за попранную свободу», «революцией, которая положит предел узурпаторам».

Биржа — самый чуткий барометр деловой жизни, тут же среагировала. Резко возросла котировка «русских ценных бумаг». «Николаевские» 100-рублевые купюры, «колокольчики», «думские» — все вновь пошло в ход, получило цену. Дальновидные спекулянты, скупавшие их за гроши в далекой Галиполии или у проходной завода Рено, куда безуспешно ходили беженцы устраиваться чернорабочими, на кронштадтской смуте и крови делали солидные барыши.

«Биржа прошла при очень нервном настроении... Под влиянием последних сообщений о кронштадтском восстании резко вырос интерес к русским ценностям. В частности, после продолжительного перерыва, котировались все государственные займы: 1893, 1894, 1914 года. Если еще пятого марта они ничего не значили, то теперь их стоимость подскочила до 20 франков и выше», — писали в те дни газеты.

Сообщалось: акции «Русская нефть» стоят 388 франков, Тер-Акопова — 251 и «Брянские» — 155 франков.

Газеты выходили с крупными заголовками: «Бомбардировка Петрограда с кронштадтских фортов», «Бои на льду», «Повстанцы наступают».

Пока лед Финского залива обагрялся кровью (мятеж организовали белогвардейцы, анархисты, меньшевики при деятельной поддержке иностранных империалистов), жизнь на берегах Сены шла своим чередом.

Земско-городской союз (одна из самых многочисленных эмигрантских организаций в Париже) принял решение «об оказании помощи восставшим». Решено было перевести сто тысяч (!) франков для закупки и отправки в Кронштадт необходимых продуктов.

Другие подобные организации не пожелали остаться в стороне от «правого дела». Франки лились рекой, даже трудно было понять, откуда вдруг взялись такие «златые горы». Еще накануне умирающие от голода безработные русские от этих организаций не могли получить грошей на кусок хлеба. В ответ на протянутые руки они слышали ответ: «Средств не имеем! Касса пуста».

К этим дням относятся регулярные записи Бунина в дневник. 7 марта он писал: «Газета удивила: «На помощь!» Бурцева, «Спешите!» А. Яблоновского («Хлеб в Кронштадте должен быть не позже вторника или среды!)...» Но как и кем может быть доставлено в Кронштадт продовольствие «не позже среды»? Похоже опять на чушь, на русскую легкомысленность...»

«8 марта. С волнением (опять!) схватился нынче за газеты. Но ничего нового. В «падение» Петербурга не верю. Кронштадт — может быть, Псков — тоже, но и только...

Вечером заседание в «Общем деле», — все по поводу образования «Русского комитета национального объединения». Как всегда, бестолочь, говорят, говорят...»

«Схватился за газеты!» Что в тот далекий день 8 марта 1921 года русский писатель мог прочитать в них?

«К свободе! ...Мы не верили в то, что Россия может быть спасена иноземным вмешательством. Мы изверились и в том, что народ примет освобождение из рук тех, кому он боялся бы вверить свою судьбу на другой день по восстановлении порядка...»

«Германский посол в Финляндии...предлагает помочь снабжению Кронштадта продовольствием».

«Сегодня спецкор «Последних новостей» выезжает на место событий в Кронштадт».

«Торговый дом ювелирных изделий «Иосиф Маршак» из Киева по высоким расценкам покупает бриллианты, золото и платину. Контора в Париже открыта от 10 часов до 5 часов».

«На парижской бирже. На бирже в связи с событиями в Кронштадте наблюдается подъем акций русских промышленных предприятий и в появлении вновь оживленных оборотов с русскими государственными займами, сделок с которыми на парижской бирже не было в течение продолжительного времени».

«Ресторан «Тройка». Ежедневно с 12 часов ночи хор московских цыган. Кочевые таборные песни и пляски. Любимые песни старой Москвы и Петербурга. При участии любимцев публики Юрия Морфеси, Дмитрия Полякова и Галины Мерхоленко».

«Как сообщают нам из Берлина, Русское общественное собрание устраивает торжественное заседание, посвященное незабвенной памяти императора Александра II. При стечении многочисленной публики отслужена панихида по Александре III».

Из дневников Бунина: «10 марта. По газетам судя, что-то все-таки идет, но не радуюсь, равнодушие, недоверие... Американский Красный Крест получил депешу (вчера днем), что «Петроград пал». Это главное известие...

Вчера до 2-х дочитал «14 декабря». Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского, хотя, думаю, это не он, а тема такая...»

На следующий день Иван Алексеевич пришел на собрание Правления Союза русских журналистов. «...В общем, все уже совсем уверены: «Начало конца». Я сомневался.

Вчерашний день не принес ничего нового. Нигде нельзя было добиться толку даже насчет Красной Горки — чья она?...

Нынче проснулся, чувствуя себя особенно трезвым к Кронштадту. Что пока в самом деле случилось? Да и лозунг их: «Да здравствуют Советы!» Вот тебе и парижское торжество, — говорили, будто там кричали: «Да здравствует Учредительное собрание!»

Нынче «Новости» опять — третий номер подряд — яростно рвут «претендентов на власть», монархистов. Делят, сукины дети, «еще не убитого медведя»...

«15 марта... Савинков в «Свободе» все распинается, что он республиканец. А далеко не демократически го-

ворил он, когда мы сидели с ним по вечерам прошлой весной, перед его отъездом в Польшу!»

...Тем временем «мелкобуржуазная анархическая стихия», по определению В. И. Ленина, продолжала бушевать — в руках 27 тысяч мятежных матросов и солдат осталась главная база Балтийского флота — ключ к Петрограду. В их распоряжении оказались свыше ста пулеметов, до 140 орудий береговой обороны, два линкора и другие боевые корабли.

Им удалось отбить наступление трехтысячной Красной Армии. В Петрограде еще второго марта было введено осадное положение. Обстановка действительно стала напряженной.

В эти дни в Москве проходил X съезд партии. Он направил к месту событий около трехсот делегатов, губкомы мобилизовали сотни ответственных работников. В ночь на 17 марта советские войска двинулись по льду Финского залива в наступление на Кронштадт. К утру 18 марта мятежники были разбиты...

Бунин вскоре после этих событий выписывал (без комментариев) в дневник из «Капитанской дочки»: «Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость...»

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких нравственных потрясений...»

«Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка...»

К Бунину зашел Мережковский.

— У меня вчера был Савинков. Он убежден, что осенью большевикам конец, — сказал Дмитрий Сергеевич. — Я знаю, что вы плохо относитесь к Борису Викторовичу. Но вы не можете отрицать его трезвого взгляда на жизнь.

Бунин, не выдержав, расхохотался:

— Борода с воз, а в голове — навоз!

— Зря смеетесь, — строгим тоном наставительно заметил Мережковский. — Эти конфиденциальные сведения идут от самого Пилсудского. А уж он-то осведомлен о русских делах как никто другой...

Бунин покачал головой:

— Эх, дорогой Дмитрий Сергеевич, эти сказки мы много раз слыхали. И не дай бог, если власть в России возьмут пилсудские или савинковы. Они России не знают, не то что народ, они просто окружающих людей не любят. Ради «прогресса» загубят сотни тысяч людей, и в ус не подуют! Что им чужие жизни — тьфу! Главное — свою личность выставить. Прославиться, просиять. Вот это и двигает ими, ради этого они убивают, а вовсе не на благо «человечества».

Все они — свидригайловы, нарушающие нравственные и человеческие законы не для идеи, а для собственной радости.

Мережковский помолчал, тяжело вздохнул и сказал обычную в спорах с Буниным фразу:

— Это в вас Лев Николаевич говорит! — намекая на юношеский интерес Бунина, который когда-то крепко увлекался «толстовством»: удручал себя бондарным ремеслом, набивая обручи на бочки, и торговал в Полтаве книжной продукцией издательства «Посредник» и даже за нарушение «правил торговли» был приговорен к трем месяцам тюрьмы. (Отсидеть не пришлось: в 1894 году по случаю восшествия на российский престол Николай II объявил преступникам помилование. Бунин амнистией был опечален: так хотелось пострадать «за учителя»!) Страсть «опрощения» давно миновала. Но на всю оставшуюся жизнь сохранился восторг гением Толстого.

— В иные, более счастливые дни, когда у нас была родина и был дом, я уже тогда страшился за судьбу России. И как же поносила меня критика и «передовая, с прогрессивными взглядами» интеллигенция за то, что я будто бы изображаю мужика в черных красках... Все хорошее, что я писал о деревне, почему-то не замечали. Но вот пришла революция, и все эти критики закусили языки, а мне теперь нет нужды оправдываться.

Он перевел дыхание и твердо произнес:

— И вот я, автор «Деревни», разруганной этими самыми критиками, скажу: пусть уж лучше сам русский мужик разберется в своих делах, чем иностранные паны станут наводить порядок в нашем доме. Я предпочел бы сгинуть на чужбине, нежели возвращаться в Россию с помощью поляков или англичан. Меня отец наставлял: «Люби свое корыто, даже если оно разбито!»

Мережковский резко поднялся. Он холодно посмотрел голубыми, навыкате глазами на Ивана Алексеевича и отчеканил:

— Простите, но это точка зрения провинциала, взявшегося судить о глобальных проблемах. Нет плохих средств, если они ведут к желанной цели. Даже возлюбленный вами Толстой утверждал: чем развитее человек духовно, тем он больше космополит. Мы не имеем права замыкаться в узких национальных рамках.

Дмитрий Сергеевич торжественно удалился, восхищаясь собственными красноречием и находчивостью.

Бунин грустно покачал головой:

— Умница — как попова курица!

* * *

Выписки из дневника Бунина:

17 апреля 1921 года. «Читаю Соловьева — т. VI. ...Беспрерывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченных удельных князей, обманное «целование креста», бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние («бью тебе челом, холоп твой») и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние: «хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество...»), походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары...»

И далее: «Была Гиппиус. О Савинкове: читал доклад о своей деятельности у Чайковского — грубое хвастовство — «я организовал 88 пунктов восстаний, в известной момент они все разом ударят». ...Парижской интеллигенции грозил: «Мы вам покажем, болтунам!» С языка не сходит «мужик» — «все через него и для него», «народ не хочет генералов».

Я сказал Гиппиус: что же этот народ за ним не пошел, — ведь он не генерал? Что значит «организовал»? Ведь тут легко что угодно врать! А насчет «мужика» совсем другое говорил он мне прошлым летом! — «Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!»

«21 апреля... Герцен все повторял, что Россия еще не жила и потому у нее все в будущем и от нее свет миру. Отсюда и все эти Блоки!»

Пишущая братия решила создать свой союз. Инициатором этого дела стал Павел Николаевич Милюков (уже редактор «Последних новостей»). Дали объявления в га-

зетах, разослали — наиболее достойным! — персональные приглашения. Получил его и Иван Алексеевич.

— Какой союз? С кем и для чего? — спрашивал он Веру Николаевну, которая настаивала, чтобы он пришел на организационное собрание. — Опять болтать будут о высоких целях эмиграции, а потом пойдут водку пить. Уж лучше бы со второго сразу начинали.

И, конечно, никуда не пошел.

В тот же вечер к нему пришел Тихон Иванович Полнер, журналист, который оставит о себе память в русской литературе талантливой книгой — «Лев Толстой и его жена. История одной любви». Она выйдет в издательстве «Современные записки» в 1928 году.

Тихон Иванович заговорил с порога:

— Поздравляю, дорогой Иван Алексеевич! Вас выбрали заместителем председателя Союза писателей и журналистов...

— То есть?!

— Председатель Милюков, вы его заместитель. За вас проголосовали. И программу приняли.

— Приняли?

— Приняли. Да вот у меня черновой экземпляр. Прочитать?

— Что ж! Товарищ председателя должен знать программу. Вера! — крикнул Бунин. — Наладь нам, пожалуйста, чаек.

Полнер, не торопясь, делая логические ударения, зачитывал программу. В ней было о «необходимости продолжать культурную миссию за пределами отечества», «высоко нести знамя русской литературы», о «святой борьбе с большевизмом...».

— Спасибо, Тихон Иванович, — Бунин поднял руку. — Я вижу, писатели и журналисты решили создать новую партию, а я человек сугубо индивидуальный, ни в какие партии не гожусь. Не то что с большевиками бороться, даже «знамя высоко» не понесу — мой геморрой не позволит совершить сей подвиг. Так что, простите, продолжать «культурную миссию» буду в одиночестве.

24 апреля «Последние новости» опубликовали на третьей полосе «Письмо в редакцию»: «В прошлом заседании Правления Союза русских литераторов и журналистов в Париже я избран товарищем председателя Союза. Я не был в этом заседании и потому не мог своевременно отклонить от себя эту честь. Теперь, узнав о своем

избрании из газет, прошу вас дать место моему заявлению, что я не могу принять этого избрания и вообще отказываюсь от всякого участия в работах Правления за недостатком времени. Ив. Бунин».

Вера Николаевна стала укорять мужа:

— Зачем ты всех сторонишься? Нынче не такое время, чтобы в одиночку прожить... Тебя даже в начальство избрали. Заметь, не Мережковского или Куприна. Они не стали бы отказываться, а ты...

Он ласково обнял жену за плечи:

— Нынче конь конем, а завтра кол колом. Так русские мужики говорят. Не гожусь я в начальство, Вера. Бог другой промысел мне дал. Где мне других наставлять, свою дорогу бы найти, не оплошать. Милюков зачислил меня в этот самый Союз, хоть я и не просил. Это его дело. Пусть считают меня «в своих рядах», но на большее не рассчитывают.

Бунин слово сдержал: до конца дней не примыкал ни к каким группировкам, никого никуда не призывал. Если и ошибался в чем, так не корысти ради, не для того, чтобы подольститься к кому-либо. В непростые дни он жил, но душу свою всегда берег от скверны.

— Ян, а как дальше жить будем? — спросила она, хотя знала, что ответить ему нечего. Постоянная нужда давила, не позволяла разогнуться, и надеяться было не на кого — только на его писательское дело.

Он долго-долго молчал. Потом произнес:

— Не могу писать ради денег, ради гонорара. Да и эти гонорары здесь мизерные, нищенские. А писать как прежде, в России, — тоже невозможно. Там тиражи в десятки тысяч были, каждую не то что книгу — рассказ самый маленький, в журнале опубликованный, все замечали, критика хвалила или ругала — все равно приятно. А здесь... В Берлине с миллионными капиталами издательство «Слово» организовали. Дал я им сборник своих рассказов — в основном то, что у Горького на Капри в одиннадцатом году написал. Назвал «Крик». Толстая книга вышла. А что получил? Гроши...

Нового он пока почти не писал — душа не лежала. Лишь приводил в порядок дневниковые записи, сделанные в Одессе в 1918—1919 годах.

В воскресенье, 17 июля 1921 года, «Последние новости» опубликовали большую — на два «подвала», статью: «О русской книге». В статье сообщалось, что за 1920—1921 годы за рубежом возникли новые издатель-

ства русских книг: в Праге — «Наша речь» и «Русское дело», в Берлине — «Слово», в Стокгольме — «Северные огни», в Париже — «Русская земля», «Север», «Объединение земских и городских деятелей» («Земгор»). Наконец, менее крупные издательства возникли в Софии, в Англии, Америке, даже в Шанхае.

И все-таки, писал автор статьи, не может быть и речи о цифровых сопоставлениях с количеством книг, выходивших в России. Их тиражи намного превосходили такие страны, как США, Францию, Великобританию. «До войны у нас печаталось свыше 30 000 названий в год; теперь за границей выпускают лишь десятки названий крошечными тиражами...»

Автор делал вывод — литератора его труд за рубежом не прокормит.

...Вера Николаевна, собрав последние су, шла на рынок, чтобы купить «чего подешевле», а Иван Алексеевич повторял пословицу, родившуюся в эмигрантских углах:

— Терпенье и труд хоть кого перетрут!

...И все же творческое молчание окончилось. Он в том же 1921 году пишет рассказы «Третий класс», «Ночь отречения», «Преображение», во многом автобиографичный «Конец» и другие. Нет, вопреки мнению некоторых критиков, признаемся — талант Бунина ничуть не поблек!

ГЛАВА X

Франция приняла русских, как принимает богатая аристократка бедную родственницу: вежливо поздоровается, чтобы потом ее не замечать. Русских Франция приняла, чтобы тут же не замечать их и даже забыть этих чудаков, откуда-то и зачем-то бежавших, всегда всем недовольных и к тому же вечно между собой не ладящих. Если русский великолепно владел французским языком, хорошими манерами и — это уже из области фантастики! — солидным капиталом, то и тогда ему не удалось бы проникнуть в салоны хозяев, влиться в их жизнь.

Приглашений никаких не бывало, не было даже самого обычного любопытства. Равнодушие было леденящим.

Впрочем, русские никогда никому в друзья не набивались. Дружили — со своими. Буянили, пили и дрались — со своими. Хвалили тоже своих, как и ругали —

врагов и приятелей, стреляли — в своих. Жили они преимущественно кучкой — в Пассях, как быстро прозвали один из городских районнов — Пасси. Заметим — район один из лучших в Париже. Они были откровенно бедны, но по сравнению с хозяевами выглядели богачами. Жили в хороших квартирах, могли за один вечер спустить недельное, а то и месячное жалованье. Больше всех давали пурбуар — чаевые. Чаще всех снимались на фотокарточки, письма посылали по дорогой «пневматичке», громче всех разговаривали в общественном транспорте и постоянно ходили друг к другу в гости.

Им порой даже казалось, что хозяева — это они сами. Наблюдательная Тэффи написала маленький рассказ, который она назвала «Городок» и который, прежде чем опубликовать, прочитала Бунину, придя к нему на чай:

«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной.

Поэтому жители городка так и говорили:

— Живем худо, как собаки на Сене...

Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.

Женщины шили друг другу платья, мужчины делали друг у друга долги.

Остальную часть населения составляли министры и генералы. Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.

Общественной жизнью интересовались мало. Собирались больше под лозунгами русского борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить 20 человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных.

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины, — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами.

Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. В музеи и галереи никто не ходил. Некогда, да и к чему — «при нашей бедности такие нежности».

Иван Алексеевич от души хохотал над рассказом, который с уморительной мимикой читала Надежда Александровна, включившая его в свой сборник «Рысь».

Бунин жил худо и регулярно ходил в гости, а чаще

гости приходили к нему — «попить чайку и поговорить». Вера Николаевна старательно записывала в дневник эти беседы.

10 мая 1921 года в доме Толстых: «Вечер мы провели с Эренбургом. ...Сначала Эренбург рассказывал все спокойным повествовательным тоном. Неожиданно пришел Бальмонт, который тотчас же сцепился с ним.

Бальмонт: У большевиков во всем ложь! И как иллюстрацию привел, что Малиновский, архитектор, друг Горьких, сидя у Кусевицкого, развивал теорию, как устроить супопровод, чтобы в каждый дом можно было доставлять суп, как воду.

— А я в тот день ничего не ел, воровал сухари со стола, стараясь схватить еще и еще, чтобы другие не заметили, — задорно говорил Бальмонт.

Эренбург: Мне тоже приходилось воровать, но не в Советской России, а в Париже. Иногда воровал утром хлеб, который оставляют у дверей. И часто, уходя из дому богатых людей после вечера, подбирал окурки, чтобы утолить голод, в то время как эти люди покупают книги, картины.

— Ну, да мы знаем, кто это, — вставил Толстой, — это наши общие друзья, Цетлины.

Все засмеялись.

Очень трудно восстановить ход спора между Бальмонтом и Эренбургом, да это и неважно. Важно то, что Эренбург приемлет большевиков... В Москве он прожил 5 месяцев... Он начал заниматься детскими приютами, получил академический паек, паек на обед в Метрополе, где живет его товарищ по гимназии Бухарин».

Когда Бунины прощались с Толстыми, Наташа — жена Алексея Николаевича, вдруг стала громко говорить:

— Нет, лучше быть в России, мы здесь живем бог знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была там, я помогала бы хоть своим родителям таскать кули...»

2 июня: «Звонок. Отворяю. Гиппиус. Очень интересная... К нам вышел Ян в зеленом халате.

— Настоящий Иоанн Грозный! — сказала она протяжно...»

7 июня: «...Мережковские заботливо относятся к Яну, стараются устраивать переводы его книг на французском языке. Меня трогает это очень. Вообще, репутация часто не соответствует действительности. Про Гиппиус говорили — зла, горда, умна, самомнительная. Кроме «ум-

на», все неверно, то есть, может быть, и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать. Горда не более тех, кто знает себе цену. Самомнительна — нет, нисколько в дурном смысле. Но, конечно, она знает свой удельный вес...»

Иван Алексеевич спросил Гиппиус: «Скажите, как вы могли переносить Блока, Белого? Я совершенно не мог. Я понимаю, что в Блоке есть та муть, которая делает поэтов, но все же многое мне в нем непереносимо. А Белый просто не поэт.

Она защищала их, но слабо, потом прочла свое стихотворение...»

16 июня. «Были на выставке «Мир искусства». Хорошо, талантливо, но чувствуется во всем нарочитость страшная. Пикассо указал на этот же недостаток Цетлину. — «Слишком много русского. Вот, например, эта красная краска, может быть, вам, русским, много говорит, а мне она ничего не говорит».

17 июня: «Граф Игнатьев хорошо рассказал, как Керенский под зонтиком на фронте говорил речь, смысл которой был: «Вперед, а я за вами». И никто не пошел, кроме офицеров, а сам Керенский даже и за ними не пошел, а отъехал на более дальние и безопасные позиции».

— Родила мама, что не принимает яма, — молвил Бунин и сделал презрительную гримасу. Политиканы всех родов, эти кишкины и керенские, вызывали в нем чувство презрения и брезгливости.

— Болтовня, бесконечное плетение словес, и все будто ради блага «человечества» — тьфу! Играют людскими судьбами — как пасьянс раскладывают! — Иван Алексеевич гневно сжал кулаки. Тут же записал в дневник: «Что так быстро (тотчас же, чуть не в первый же день) восстановило меня против революции («мартовской»)? Кишкин, залезший в генерал-губернаторский дом, его огромный «революционный» бант (красный с белым розан).., своевольство, самозванство, ложь — словом, все то, что всю жизнь ненавидел».

Не они ли порушили его жизнь? Сами бросили родину и его вовлекли в этот чудовищный политический водоворот, который выплеснул его на чужой берег? «...Страшна жизнь! Сон, дикий сон! Давно-ли все это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это было наше, наш дом, Россия!

Полтава, городской сад. Екатеринослав, Севастополь, залив, Графская пристань, блестящие морские офицеры

и матросы, длинная шлюпка в десять гребцов... Сибирь, Москва, меха, драгоценности, сибирский экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, Баку... И всему конец! И все это было ведь и моя жизнь! И вот ничего, и даже последних родных никогда не увидишь! А собственно, я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь... Впрочем, в этом-то и милость божия...» (Дневник от 21 июня 1921 года.)

Счастье он представлял себе не в мехах и драгоценностях, а в ненарушаемой возможности полностью отдаваться литературной работе, издавать книги, иметь большой круг читателей, разъезжать по свету — когда и куда захочется. Еще он уважал свои привычки: обедать на Арбате в «Праге», рыться в лотках букинистов, приходить в Староконюшенный к брату, гулять по московским старинным улочкам.

Больше всего он боялся бедности и еще боялся лишиться творческой самостоятельности.

Самостоятельности у него было сколько угодно. Но всего остального лишился.

17 июля перебрались на новую квартиру. Бунин сказал Вере Николаевне:

— Тоска такая — плакать хочется! Вот даже этот переезд — чем платить за квартиру, право, не знаю. Были бы деньги, куда-нибудь съездили, развеялись...

В тот день они получили письмо от Гиппиус, которая лето проводила в Висбадене: «Маэстро! Я нахожу, что вы бы не раскаялись, если бы приехали сюда. Зная ваш капризный характер и боясь ответственности, я вас не убеждаю; но зато нарисую беспристрастную картину...»

Зинаида Николаевна описывала все прелести «дачной жизни»: великолепное жилье, дешевое питание и, вообще, прожить здесь можно дешевле, чем в Париже.

Последнее обстоятельство, видно, стало решающим. 31 июля Бунины прибыли в Висбаден. «Когда мы приехали, то тотчас пошли к Мережковским, — писала в дневнике Вера Николаевна. — Комнаты у них великолепные, у всех трех (третий — В. А. Злобин, секретарь Мережковских. — *В. Л.*), огромные, высокие, — а у нас паршивые... Ян был недоволен. Комната с тонкими стенами, за которыми живут неспокойные люди.

— Завтра же нужно искать, где поселиться, здесь я жить не в состоянии. Другое дело — комнаты Мережковских. Но, конечно, сезон и теперь, вероятно, ничего не получишь. Зря приехали...»

И здесь тоска по родине, как неотвязная тень, преследует Бунина. Лесные долины, случайно услышанное пение, звезда, играющая над лесом — все напоминает молодость, просторы Полтавщины или Орловщины.

Ему часто приходили на память разговоры с Толстым, который его убеждал:

— Скажу честь честью: нам с тобой, Иван, у этих латинян делать нечего. Ну, покрутимся еще год-другой, а что потом? Мне уже сейчас, — он добродушно рассмеялся, — никто больше в долг не верит. Веришь, теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом. Боятся, что в долг попрошу. Заработков нет, читателей нет...

Бунин молчал, в душе соглашаясь со словами приятеля.

— Нет, долго мы здесь не продержимся, — продолжал Алексей Николаевич. — Пока поедем в Берлин — там легче прожить. Но затем... — он замолк. — Давай плюнем с высокой колокольни на эту цивилизацию! Пока не померли с голоду или тоски. Приедем в Москву, устроимся не хуже других. Там сейчас новые издательства создают, книги тысячными тиражами гонят! Ты как знаешь, а мы с Наташей решили твердо — едем домой!

— Что ж! Вольному воля... — глухо ответил Бунин. Помолчал, потом добавил: — Наверное, для тебя это лучше. А будет ли хорошо для меня? Не уверен. Мое сердце принадлежит все-таки старой России. Не выйдет из меня борца «за светлые идеалы»: старый я, спина прямая... Впрочем, пиши мне. Времена меняются.

И после паузы:

— Скажи привет Юлию. Вот ради кого я бросил бы все на свете! Может быть, скоро свидимся. — На этом они и порешили, направившись в соседнее бистро, где крепко выпили.

Не ведал Бунин, что судьба уготовила ему новый удар.

* * *

В июле 1921 года Юлий Алексеевич умер. Первым из бунинского круга об этом узнал Толстой. Он сообщил об этом Алданову. В начале октября из Одессы пришло письмо от А. М. Федорова — он писал о кончине Юлия. Вера Николаевна это письмо мужу не показала. Седьмого октября она записала в дневнике: «Когда я вошла в

семью Буниных, Юлию было 48 лет. Он был в то время еще совсем молодым человеком, очень жизнерадостным, но быстро теряющимся при всяком несчастье...

По наружности Юлий Алексеевич был в то время довольно полным и казался еще полнее, благодаря его маленькому росту. Фигурой он напоминал Герцена на памятнике в Ницце. Лицо было тоже несколько велико не по росту, но освещалось оно умными, иногда печальными глазами. Волосы были в то время каштановые, без малейшей седины. Голос был резкий, напоминающий коростеля. Ум несколько скептический, по-бунински горестный, но объективный. Математик по образованию, он обладал тем, чем редко обладают общественные деятели, — это широтой ума и ясностью мысли. Он умел быстро ориентироваться в самых запутанных вопросах, конечно, отвлеченного характера.

Общественная деятельность, журнал («Вестник воспитания». — *В. Л.*), газетная работа — все это было как бы служение долгу, но тяга душевная у него была к литературе. Я думаю, что мало найдется русских, кто бы так хорошо знал всю русскую литературу... Он обладал необыкновенно правильным литературным чутьем. Сам никогда ничего не писавший из художественных вещей, он превосходно разбирался во всех вопросах, касавшихся сферы этого творчества. Это свойство его ценили и понимали все знавшие его писатели, а потому он был бессменным председателем «Старой Среды» *, так же и председателем «Молодой Среды». Был он и председателем вторичной комиссии в Литературно-Художественном кружке, а в последние годы он был одним из редакторов в «Книгоиздательстве писателей в Москве».

В нем было редкое сочетание пессимистически настроенного ума с необыкновенно жизнерадостной натурой. Он был добр, умел возбуждать к себе добрые чувства людей. К нему шли за советом, за помощью, с просьбой выручить из беды... В практической жизни он был до странности беспомощен... Он стал редактировать вместе с... Михайловым педагогический журнал, потому что ему было вместе с жалованием предложена квартира с отоплением, освещением, и полный пансион...»

* «Среда» — литературный кружок, возникший в 1899 году. Организатором был Н. Д. Телешов. Участники «Среды»: Юлий и Иван Бунины, писатели И. А. Белоусов, В. М. Михеев, А. И. Куприн, В. В. Вересаев, Л. Н. Андреев. Один из самых активных участников — А. М. Горький. После 1905 года «Среду» возглавил Ю. А. Бунин.

Грустную весть удалось скрывать от Ивана Алексеевича долго — он узнал о ней лишь 20 декабря, прочитав в газете некролог. Прочел и подумал: кто такой Юл. Бунин? Наконец, понял то, чего так боялся...

Сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате и говорить: «Зачем уехал, если бы я там был, то спас бы его».

...Он говорит, что не хочет знать подробностей. Он сразу же похудел. Дома сидеть не может. Побежал к Ландау (Алданову. — *В. Л.*). Я его не оставляю. Старается все говорить о постороннем. Разнеслось. Заходили Мережковские. Зинаида Николаевна была очень нежна. Ян очень растерян... Он говорил вечером, что вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже не будет в состоянии». (Из дневника Веры Николаевны от 20 декабря.)

— Если бы верить в личное бессмертие, то насколько было бы легче, — горестно произносил Иван Алексеевич. — А так, просто невыносимо... Все время вспоминается наша прежняя жизнь — Юлий, брат Евгений... Я мучаюсь страшно, все время представляя себе, как он в последний раз лег на постель, знал ли он, что это последний раз? Что он был жалок, что умирал среди лишений. А затем — тяжело, что с ним ушла вся прежняя жизнь. Он вывел меня в жизнь, и теперь мне кажется, что это все-таки ошибка, что он жив...

В первый день нового, 1922 года Бунин записал в дневник: «Со страхом начал эти записи. Все страх своей непрочности. Проживешь ли этот год?

Новый год встречали у Ландау.

Да, вот мы и освободились от всего — от родины, дома, имущества... Как нельзя более идет это нам и мне в частности!»

Страшный год остался позади. Впереди был мрак неизвестности.

ГЛАВА XI

Каждый новый год встречали с радужными надеждами на возвращение: генералы на белом коне — каждый, и непременно — лихим галопом; обыватели — по железной дороге в вагонах первого, второго и третьего классов. Впрочем, многие были готовы идти хоть по шпалам — лишь бы достичь родимых пределов.

Дело оставалось, как уверяли генералы, «за пустяком» — за свержением большевиков.

Генерал Врангель был принят королем сербским Александром. В двухчасовой аудиенции, блестя обширной лысиной и нагоняя на умное красивое лицо решительное выражение, Врангель заверил монарха, что все части бывшей русской армии, рассеянные по различным странам, сохранили свою военную организацию и с нетерпением ожидают того дня, когда смогут вновь посвятить свои силы освобождению России. Эвакуированная из Крыма армия насчитывает 50 000 человек и в настоящее время дислоцирована в Сербии, Болгарии, Чехословакии, Греции и Польше.

Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, всенародно объявивший себя Императором всея Руси.

В фешенебельной гостинице «Мажестик» на авеню Клебер состоялся при громадном стечении делегатов и заинтересованных лиц Зарубежный съезд, на котором горячо обсуждались вопросы дележа богатств родного отечества. Съезд проходил на шальные деньги промышленника А. О. Гукасова.

Еще он развлекался тем, что издавал орган национальной мысли — газету «Возрождение». Почти все ее сотрудники принадлежали к «правой» масонской ложе (Гранд Лож).

Страсть к съездам была патологической. В Берлине прошел русский монархический съезд. Согрешил словом граф С. С. Ольденбург, заверивший почтенных депутатов, что «час возвращения пробил». Выходившая в Берлине ежедневная газета «Руль», которой правил редактор-кадет Иосиф Гессен, публиковала со съезда обширные отчеты.

Мажорное настроение редактора было вскоре испорчено тем, что «во французской палате депутатов впервые открыто и определенно заговорили сторонники соглашения с Советским правительством». Редактор призвал:

— Непримиримость к губителям России!

В другой берлинской газете, которой командовал А. Ф. Керенский и которая вполне в согласии с неуравновешенным характером ее шефа переменила свое первоначальное патетическое название «Голос России» на безличное, словно оборванный настенный календарь — «Дни», взахлеб рекламировалась новейшая эмигрантская литература: «Кто хочет отдохнуть сердцем от тяжести

будней и перенестись воображением в сладостный мир блаженных иллюзий, в мир любви и наслаждений, тот не упустит случая познакомиться с единственной в своем роде новинкой книжного мира — «Улыбки страстей» Сергея Казакова. Цена 1 марка 25 пфенингов».

И рядом — «продается книга академика Ив. Бунина «Крик». Цена 2 марки». Сборник составили рассказы, полные любви к жизни и кровавых трагедий, написанных в счастливейшее время — в 1911—1912 годах на Капри, у Горького: «Крик», «Смерть», «Веселый двор», «Сила», «Сверчок» и другие. Вместо предисловия берлинское издательство факсимильно воспроизвело письмо Ивана Алексеевича. В нем он вспоминал ушедшие дни, «когда не только была родина, но и весь мир был родней и ближе, в дни, полные надежд, сил, замыслов, в дни неустанных скитаний и ненасытного восприятия...

Много сердца отдал я тогда и России, смутно страшась за судьбу ее. Как дивились, негодовали на мои «черные, жестокие, неправдоподобные» краски, — светлых, добрых не хотели видеть, — всем памятно...

Увы, теперь мне уже нет надобности оправдываться. Париж, Ив. Бунин. 17/30 янв. 1921 г.».

* * *

«Со страхом начал эти записи...»

Смерть брата означала для Бунина не только крушение всего, чем жил когда-то, о чем мечтал. Ему вообще казалось, что жизнь теперь для него потеряла всякий смысл.

— Париж, Москва... Не все ли равно, где закончить теперь дни свои? Я от жизни больше ничего не жду, да и ничего не хочу, — говорил он Вере Николаевне. — Представлю себе: вот напишу новый рассказ, а зачем? Все равно его Юлий никогда не узнает, не оценит. Когда прежде я писал, я всегда представлял себе Юлия, читающего этот рассказ, высказывающего мне свое мнение. Я всем, что знаю и умею, только ему обязан.

«Я не страдаю о Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, может быть, потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь... Ужасающая мысль о нем как далекая, потрясающая молния... Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец».

Как бы он старался «не додумывать», однако без конца возвращался мыслями к брату. Идя вдоль набережной Сены или оживленным бульваром Капуцинов, сворачивая на широкую рю Руаяль, сидя на благотворительном вечере у Цетлиных или разговаривая с Бласко Ибаньесом, Иван Алексеевич вспоминал небольшой особнячок в Староконюшенном. Ежедневно он приходил сюда к брату и заставал его в кабинете, читающего рукописи. Над столом — изображение покровительницы музыки, девы-мученицы святой Цецилии. Почему именно ее изображение водрузил на стену Юлий, было неизвестно.

Из окон виднелась густая зелень Михайловского сада и веселые московские дворики, каких больше нет нигде на свете *.

Братья пили чай, курили и обсуждали литературные новости, которых всегда было в изобилии: о пьесе Горького, новом рассказе Чирикова или Андреева, о скандале — очередном, который учинили футуристы.

В двенадцать дня направлялись на Арбатскую площадь — это совсем рядом, в пяти минутах ходьбы. Здесь поднимались по широкой мраморной лестнице ресторана «Прага», попадали в оживленный зал. Отовсюду неслись приветствия, поздравления с выходом новой книги или публикацией рассказа, приглашения «разделить трапезу». За столиками восседали писатели, художники, деятели бесчисленных комитетов, правлений, обществ и комиссий. Юлий и сам состоял во многих из них — от правления Толстовского общества до Общества грамотности. Везде он успевал, везде был уважаемым.

Сдержанный с окружающими, Бунин только дневнику доверяет свое сокровенное:

«И все мысли о Юлии, о том, как когда-то приезжал он, молодой, начинающий жизнь, в Озерки... И все както не верится, что больше я никогда его не увижу. Четыре года тому назад, прощаясь со мной на вокзале, он заплакал (конец мая 1918 г.). Вспомнить этого не могу.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, — слабостью воображения, недуманием, недодумыванием» (21 января 1922 года).

Через три дня:

---

* Ю. А. Бунин жил в доме Н. Ф. Михайлова (Староконюшенный пер., 32), где помещалась редакция журнала «Вестник воспитания».

«И весна, и соловьи, и Глотово — как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием — Круглое, соловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озерках, морозы, лунные ночи... Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это «ровно десять нас числом», что пел Юлий... А впрочем — зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман».

«Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед богом... почувствовать его как отца...

По ночам читаю биографию Толстого, долго не засыпаю. Эти часы тяжелы и жутки.

Все мысль: «А я вот пропадаю, ничего не делаю». И потом: «А зачем? Все равно — смерть всех любимых и одиночество великое — и моя смерть!» Каждый день по 100 раз мысль вроде такой: «Вот я написал 3 новых рассказа, но теперь Юлий уже никогда не узнает их — он, знавший всегда каждую мою новую строчку, начиная с самых первых озерских!» (23 января).

Смысл существования ускользал как золотой песок между пальцев.

* * *

Почет уживался рядом с оскорбительным равнодушием, ощущение таланта и собственной значимости — с унизительной бедностью.

Издательства Берлина, Праги, Парижа обращались с просьбой дать им новые произведения. За неимением таковых, печатали старые, но и платили, правда, гроши. Раймон Пуанкаре, президент Франции с 1913 по январь 1920 года, нанес Бунину визит. Бласко Ибаньес выражал восхищение бунинским талантом. Когда Иван Алексеевич появлялся в публичном месте — на литературном вечере, в театре или русском ресторане, незнакомые люди шептались: «Бунин, Бунин..!» Марсель Прево заявил журналистам, что превыше других русских писателей ценит «Толстого, Достоевского и Бунина».

И тут же, рядом с этим — высокомерное отношение иностранцев «к бедным русским», игнорирование их. Бунин воспринимает это как личное оскорбление. 18 января с некоторыми другими русскими литераторами, он при-

глашен на «мольеровский банкет». Все, кроме русских, явились во фраках, с белыми гвоздиками в петлицах, блестя откормленными, сытыми лицами.

«Только мы нет (не во фраках. — *В. Л.*), хуже всех. Речь Мережковского была лучше всех других, но не к месту серьезна. И плохо слушали, — что им мы, несчастные русские!» — с горечью отметил Бунин в дневнике.

Двумя днями раньше и вовсе произошел конфуз. На литературном завтраке в Кларидже, где собралось много крупных писателей, тот же Марсель Прево, в частности, «Мережковский так и не дождался своей очереди говорить. Даже финн говорил, а Мережковский, как представитель России, все должен был ждать. Я скрипел зубами от обиды и боли», — писал Бунин. И в то же время: «Какая дешевая роскошь по сравнению с тем, что было у нас в знаменитых ресторанах!»

Из Праги пришло письмо. Ивана Алексеевича, «как выдающегося представителя русской культуры», приглашали в Прагу читать лекции русским студентам. Было обещано «иждивение правительства». «Да, нищие мы!» — занес Бунин в дневник.

27 января пришел секретарь Чешского посольства и принес Бунину пять тысяч франков. «Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя».

«Я как-то физически чувствую людей» (Толстой). Я в с е физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!» (Дневник от 22 января 1922 года.)

Об особой, необыкновенно заостренной и крепкой связи Бунина с природой следует сказать отдельно. В ней, возможно, надо искать одну из причин его писательского дара. Прелесть мира до боли чаровала и восхищала его.

— Да, я обладаю настолько острым зрением, — рассказывал Иван Алексеевич, — что могу разглядеть звезды, видимые другими лишь в телескоп. И слух поразительный. Бывало, скажу своим: скоро к крыльцу подъедут такие-то! Мне сначала не верили, потом убедились — я за несколько верст не только мог слышать звон колокольчиков, но даже по их звуку определить — кто именно едет. Что касается обоняния, то оно у меня просто фантастичное. Запахи я, однажды услыхав, запоминаю со всеми их особенностями и своеобразием на всю жизнь.

И по сей день я знаю запах любого цветка. Завяжи мне глаза, я все равно могу определить лишь по оттенкам аромата, какая это роза — белая или красная. Ощущение это было даже чувственным.

— Раз со мной такой случай был, — продолжал Иван Алексеевич. — Поехали мы с моей первой женой Аней Цакни к ее друзьям, на дачу под Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую — тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов, тянет резедой.

— А у вас тут и резеда, — говорю хозяйке. А она меня на смех подняла. — Никакой резеды нет! Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Спросите садовника.

— Пари предлагаю — на 500 рублей! — заявил я.

Моя жена возмутилась:

— Зачем тебе это надо? Ведь проиграешь как пить дать.

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах — а их было много — искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то листом. И как я был счастлив. Встал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости.

* * *

Одно из парижских издательств обратилось к Бунину с просьбой — написать автобиографию к отдельному изданию «Господина из Сан-Франциско». Иван Алексеевич откликнулся на эту просьбу:

«...Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в городе Воронеже. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился и в печати.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были отмечены высшей наградой Российской Академии наук — премией имени Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число двенадцати почетных Академиков.

Однако известности более или менее широкой я не имел долго: я несколько лет, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал ничего, кроме стихов; я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из «народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той «литературной революции», которая, — в большой мере из-за подражания Западной Европе, — столь шумно проделывалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я напечатал «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепил мои последующие работы.

В эти годы, я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция...

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а в феврале 1920 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу, — сперва на Балканы, потом во Францию».

...Уже в 1934 году, осененный лаврами нобелевского лауреата, Бунин счел нужным включить эту автобиографическую заметку в свое одиннадцатитомное Собрание сочинений — ею открывался первый том.

* * *

В конце января 1922 года Иван Алексеевич получил письмо от А. Н. Толстого, обосновавшегося уже несколько месяцев в Германии:

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера (в Берлин. — *В. Л.*) и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем 13—14 тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Много позже, в своей книге «Воспоминания», вышедшей в 1950 году в парижском издательстве «Возрождение», Бунин обращает особое внимание на строку: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду

обеспечен на лето...» По его мнению, из этих слов можно сделать вывод, что Алексей Николаевич «тогда еще и не думал о возвращении в Россию».

Это, конечно, не так. Дневниковые записи той же Веры Николаевны говорят об обратном — Толстые уже с двадцатого года собирались в Россию.

Не ведал Бунин, что уже никогда не получать ему писем от закадычного друга.

Толстой окончательно решил: «Домой, в Россию!»

Но змей сомнения точил его сердце: что ждет на родине его, графа-эмигранта? В одном из посланий он честно признался: «Думалось, — быть может вернемся домой, а там примут неласково: — без вас обходились, без вас и обойдемся... Признаваться в этом тяжело, но нужно. На чужбине мы ели горький хлеб. В особенности, когда остыло безумие гражданской войны... Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей?»

Первого августа 1923 года Толстой вновь ступит на родную землю, и путь его вовсе не будет усыпан розами. Но разве не эта дорога станет для него единственно верной, приведет к вершинам литературы?..

ГЛАВА XII

Парижская жизнь текла скучно, однообразно и безденежно. Иван Алексеевич, выпивая утренний чай, говорил жене:

— Сегодня, кажется, смогу писать. Состояние такое, как в счастливое время дома бывало... Что-то в груди подымается, образы теснятся!

— Дай-то Бог, — говорила Вера Николаевна и осеняла себя крестным знамением — по привычке и на всякий случай. — Я уйду на базар, не буду тебе мешать. Чай еще будешь пить?

Она уходила из дома, а когда возвращалась часа через два-три, то по удрученному виду мужа видела — опять сидел бесплодно.

То, что он написал, было тщательно спрятано в нижний ящик стола, под пачку писчей бумаги. А писал он пока только в дневник, и записи были безрадостны: «18 марта... Читал «Палату номер 6». Волнение, — очень нравится, — мучительное желание и себе писать, и чув-

ство, что ничего не могу, что я полный банкрот — и что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый день дорог, что старость уже на пороге, — да, уже форменная старость. 19 марта... Тоска до слез. Опять бесплодно посижу, почитаю «Последние новости», от вестей и подлости которых плакать хочется, — и опять погибший день. Все, что ни вспомню о парижской жизни, отравлено тайной, непонятной тоской.

6 апреля 22 г. Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент в пользу застрявшего в Кременчуге старого актера...

19 апреля. Все то же — безделье от беспокойства, необеспеченности, мука — куда ехать? Квартира зарезала!»

Теплым и ясным апрельским утром явился посыльный: «Вам письмо!»

На сиреневого цвета листе бумаги, сложенном по европейскому обычаю сначала вдоль, а затем уж поперек, было написано: «Господин Бунин! Имею честь просить пожаловать Вас с супругою на ужин... Розенталь».

Миллионера Лазаря Розенталя знал весь Париж. Было известно, что родился он в Ставрополе. Про себя он говорил скромно: «Все свое богатство я приобрел сам, своим коммерческим гением». Жил в собственном отеле около парка Монсо.

— Я не пойду, — испуганно проговорила Вера Николаевна. — Мне надеть нечего.

— Ничего, надень платье, которое Мария Самойловна подарила, — весело возразил Иван Алексеевич. — Посмотрим, как миллионеры в Париже живут. Но не понимаю: зачем мы Розенталю понадобились?

— Видимо, русскими писателями интересуется...

Розенталь оказался симпатичным, веселым человеком с гривой рыжих волос. Он держался со всеми запросто. Вере Николаевне поцеловал руку и посадил рядом с собой за обильный стол, ломившийся от многочисленных яств и питья. Зинаиде Николаевне сказал приятные слова по поводу ее внешности и похвалил последние стихи, которые он прочитал в журнале «Современные записки». Гиппиус, слегка щуря свои близорукие косящие глаза, внимательно посмотрела на Розенталя: «Не шутит ли?» Но тот оставался серьезным и любезным.

Куприн, не мешавшийся в оживленную беседу, тихо сидел за дальним концом стола. Мережковский, самоуве-

ренно и громко доказывал, что для него «Россия без свободы — ничто», с аппетитом закусывал анчоусами. В серебристых кудряшках его бородки застрял кусочек маринованного лука. Разговор с политики быстро соскользнул на литературу. Заговорили о Тургеневе. Мережковский тут же отозвался:

— Он не заглядывал в душу людей, как Достоевский или Толстой. Он заглядывал в душу природы, и ее красота примиряла его с жизнью. И как музыкальна речь его, какая чистота линий! Да, он односторонен, но в этом больше силы, чем слабости.

— Дмитрий Сергеевич, где-то я читал, что вы бывали в гостях у Ивана Сергеевича Тургенева? — с легкой иронией спросил Бунин, до того почти не принимавший участия в общей беседе.

— Да, а что такого? Он меня очень ласково принял. Мы подружились, — с неудовольствием произнес Мережковский и поторопился перейти на другую тему *. — А вот у Толстого не было гармонии...

Обед закончился, и Розенталь всех позвал в зимний сад — «пить кофе».

«Зачем все-таки пригласил нас Розенталь?» — спрашивал самого себя Бунин и пока что терялся в догадках. Кроме него самого, Куприна и Мережковских, других писателей не пригласили. Были еще несколько французов, среди которых выделялся своей непринужденной веселостью и доброжелательностью к русским Эдуард Эррио, в то время министр. Именно он через год возглавит французское правительство и установит с Советской Россией дипломатические отношения.

Розенталь показал свою коллекцию старинных гобеленов, икон и редких книг — изданий Альдов, Петера Шеффера, Эльзевиров. Похвалился он первой книгой Пушкина — «Руслан и Людмила», напечатанной в 1820 году.

— С уважением относясь ко всем присутствующим здесь литераторам, — с важностью произнес Розенталь,

---

* Мережковский действительно был любителем распространять легенды относительно своей близости с «великими». Об этом, в частности, писал 16 ноября 1947 года Бунин знакомому литературоведу: «...На счет Мережковского, Тургенева и Боборыкина действительно нечто удивительное: как это Мережковский мог быть у Тургенева в присутствии Боборыкина? Когда? Где? Сколько лет было тогда Мережковскому? Все это Мережковский соврал...»

обводя окружающих темными навыкате глазами, — я все же настоящим преемником великого Пушкина считаю поэта, написавшего следующие замечательные строки...

Он принял из рук стоявшего рядом секретаря лист бумаги и стал читать:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Это были начальные строки поэмы Бунина «Листопад». Он написал ее в 1900 году и посвятил Горькому. Сколько похвал услыхал автор! В начале века не было, пожалуй, гимназиста, который не знал бы этих строк наизусть. В период кратковременной дружбы с Брюсовым выпустил в его издательстве «Скорпион» сборник, который открывала эта поэма и которая дала название всей книге.

...Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Розенталь читал плохо, делая неуместные паузы и не чувствуя ритм.

Бунин казался несколько растерянным. Гиппиус покачивала головой, и на лбу у нее искрилась изумрудная слезинка, висевшая на тонкой цепочке. Мережковский помрачнел, и в его водянистых умных глазах появился сатанинский блеск, а Куприн простодушно откусывал задравшийся на пальце заусенец, не придавая окружающему особого значения.

— Итак, господа, — подошел Розенталь к главному, — я собрал вас сегодня для того, чтобы известить... просить... Одним словом, я прошу принять от меня небольшую субсидию — по тысяче франков, как представителям русской литературы... это пойдет для ее развития.

Мережковские мгновенно просветлели, Куприн выплюнул откушенный заусенец, Бунин улыбнулся.

Было решено: на розенталевские деньги снять на лето дачу.

* * *

Бунин объехал «половину Франции», прежде чем нашел подходящее шато — домик в тихом, провинциальном городке Амбуазе, стоящем на берегу Луары. Домик сняли на двоих с Мережковскими — так дешевле, да и поговорить будет с кем.

Бунины уходили далеко вдоль реки, к лесу, синевшему за излучиной.

— Как здесь похоже на Россию! — с грустью произносил Иван Алексеевич.

Мережковские оказались хорошими соседями. Они совершенно не интересовались ничьей жизнью, в том числе и жизнью Буниных. Вместе совершили экскурсию к дому Леонардо да Винчи. Хотели побывать внутри, но хозяева их не пустили.

— Мадам, — вежливо поклонился хозяйке Дмитрий Сергеевич. — Я русский писатель Мережковский. Хочу писать о Леонардо да Винчи. Я был бы вам признателен, если нас допустили...

Женщина тряхнула могучим бюстом и гаркнула ему в лицо:

— Пошел к черту! — И дверь с грохотом захлопнулась, едва не прищемив нос писателю с «европейским именем».

Бунин расхохотался и не без ехидства спросил:

— Дмитрий Сергеевич, неужели эта особа не читала ваших творений? Какая серость...

Третьего июля в семейной жизни Буниных произошло важное событие: они сочетались законным браком. Не надо удивляться. Только в июне 1922 года Ивану Алексеевичу удалось добиться развода с первой женой А. Н. Цакни.

— Хотя я фактически с 1906 года была «госпожой Буниной», — говорила Вера Николаевна, — но лишь теперь не чувствую себя «госпожой Муромцевой»...

Вечером того дня, когда в мэрии зарегистрировали их брак, Вера Николаевна сказала мужу:

— И что ты женился на мне? Ведь ты еще мог сделать себе хорошую партию!

— Нет! — ответил тот серьезно. — В народе не говорят «любит», а говорят «жалеет». Вот в этом смысле я очень тебя «жалею». И как подумаю, что мог бы по-

гибнуть, так охватывает ужас — что тогда было бы с тобой?

В ноябре, когда вернулись в Париж, они венчались в церкви. Бунин попросил все обставить как можно скромнее и незаметней — он стеснялся своего запоздалого жениховства.

Но летом 1922 года свершилось главное — Бунин вновь обрел поэтический голос. Как между двумя полюсами электрического тока возникает вольтова дуга, способная расплавить камень, так острейшая ностальгия, соприкоснувшись с художественным потенциалом писателя, дала ему удивительной силы творческий накал.

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
    Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
    Сказать *прости* родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
    Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом,
    С своей уж ветхою котомкой!

Стихотворение помечено 25 июня. Так оно датируется во всех бунинских сборниках. Но не старый ли стиль имел в виду автор? Очень может быть, и правильнее, возможно, датировать его седьмым июля — днем приезда в Амбуаз, а чужой наемный дом — шато Нуарэ. Тем более что 25 июня Иван Алексеевич находился в Париже и по его собственному признанию, здесь «почти никогда ничего художественного не писал». Но это — между прочим.

Придерживаясь бунинской датировки, отметим, что 26 июля он пишет «Морфей» («Прекрасен твой венок из огненного мака»), 22 августа «Сириус» («Где ты, звезда моя заветная, венец небесной красоты?») и «О, слез невыплаканных яд! О, тщетной ненависти пламень!», через два дня сразу три стихотворения. Это «Душа навеки лишена Былых надежд, любви и веры», «Зачем пленяет старая могила Блаженными мечтами о былом?» и «В полночный час я встану...».

Эти последние дни августа двадцать второго года стали поистине взрывом поэтического вдохновенья! Каждый день он создавал стихи, которым было суждено стать хрестоматийными: «Мечты любви моей весенней» (26 августа), «Все снится мне заросшая травой» (27 августа), «Печаль ресниц, сияющих и черных» (27 августа), «Ве-

неция» (28 августа), «Шепнуть заклятие при блеске Звезды падучей я успел» (28 августа), «В гелиотроповом свете молний летучих... (30 августа).

Соседство с Мережковскими скоро надоело. Они любили твердить о «высоком умственном напряжении», в котором якобы постоянно живут. Но вблизи оказалось, что никакого напряжения нет. Они больше всего говорили о деньгах, о чужой бездарности, о еде и прочих пустяках. Правда, Зинаида Николаевна любила спорить, но эта любовь, по выражению Веры Николаевны, была «спортивной».

— Иван Алексеевич, — обращалась Гиппиус, — вот вы всех в одну кучу валите: Блока, Кусикова и так далее...

— Бог с вами! — изумлялся Иван Алексеевич. — Как же можно Блока, человека, без сомнения, высоко одаренного, сделанного из настоящего «теста», валить с кем-то в одну кучу...

— Нет, — горячилась Гиппиус. — Вы Блока настойчиво ругаете...

Бунин пытался ей объяснить, что ему не нравится в Блоке, но Гиппиус, не слушая, продолжала твердить свое.

Когда Бунины остались вдвоем, Иван Алексеевич сказал:

— Глупый от умного отличается тем, что не слушает возражений, вот как Зинаида Николаевна. А ведь всякие Кусиковы — это ее порождение. Она много всякой дряни породила. Бабушка русской поэтической чепухи.

Краткий период сближения Бунина с Гиппиус подошел к естественному концу. Уж очень они были различны! Бунин — враг всякой нарочитости и лжи, и Гиппиус — обладательница сильного поэтического дара, снижавшая его, однако, претензиями на искусственную «мудрость», бесконечно-назойливыми намеками на истину, лишь ей одной якобы известно. «Пророчица!» — язвительно изрекал Иван Алексеевич.

Но вот Мережковские укатили в Париж, и Бунины остались совсем одни. Ночи делались все холоднее. В бездонной черноте ночи ярко горели крупные звезды. Кругом тихо и пусто. Лишь где-то, начиная с низких нот и постепенно повышая голос до самых высоких, жутко выла собака — как по покойнику.

Той осенью он создал одно из лучших своих произведений — «Петух на церковном кресте»:

Плывет, течет, бежит ладьей
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг.

Поет о том, что держит бег
В чудесный край его ковчег,
Что вечен только мертвых сон
Да Божий храм, да крест, да он.

* * *

«День моего рождения. 52. И уже не особенно сильно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился», — это дневниковая запись Ивана Алексеевича. Он ее сделал 23 октября 1922 года.

10 октября по старому стилю (22-го по новому) на Дворянской улице в Воронеже Людмила Александровна Бунина, урожденная Чубарова (древнедворянский род!), родила мальчика, которого нарекли хорошим русским именем Иван. Людмила Александровна позже рассказывала, что «Ваня с самого рождения отличался от остальных детей», что уже в его младенчестве знала, что он будет особенным, ибо «ни у кого нет такой тонкой души, как у него».

Мнение матери разделял такой боевой человек, как генерал Сипягин — крестный Ивана. Он важно предрек: да, этот мальчик «будет большим человеком... генералом!»

Мать обладала характером твердым, самоотверженным, но нежным, склонным к грустным предчувствиям. Она была беззаветно предана семье, детям, которых у нее было девять и пятерых из которых она потеряла. Она, как и отец, отличалась добротой и здоровьем.

Впрочем, сходство на этом, кажется, кончалось. Отец днями пропадал на охоте, обладал фантастическим аппетитом (однажды походя съел целый окорок), был привержен застолью и картежным играм, жил не по средствам и промотал все состояние, свое и жены.

Человек богатырской силы, Алексей Николаевич никогда не впадал надолго в уныние, всегда был в движении, до тридцати лет не знал вкуса вина. Ум живой и образный, не переносил логики. «Охотником» участвовал в Крымской кампании, где, по его рассказам, имел и карточные сражения со Львом Николаевичем Толстым. Когда 23-летний Иван Алексеевич посетил в Хамовниках великого писателя, тот сразу же вспомнил его отца.

Еще малышом, Ваня много наслушался от матери и дворовых людей сказок и песен, им он обязан первым познаниям в языке — «нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси».

В 1874 году Бунины перебрались из города в деревню — на хутор Бутырки в Елецком уезде Орловской губернии. В воспоминаниях Ивана Алексеевича детские годы тесно связаны с мужицкими избами, с полем. Порой он целыми днями пас скотину со своими сельскими юными друзьями.

Курьезной фигурой был воспитатель Вани — окончивший курс Лазаревского института восточных языков, сын предводителя дворянства Николай Осипович Ромашков. Этот удивительный человек ел исключительно черный хлеб с горчицей, а пил водку. Окружающие поражались такому необыкновенному меню. Он искренне привязался ко всей бунинской семье, к Ване — особенно. Ваня его тоже полюбил и моментально выучился читать (по «Одиссее» Гомера), а в восемь лет написал стихотворение «про каких-то духов в долине».

Несмотря на бессистемное, кое-какое обучение, Ваня на одиннадцатом году поступил в Елецкую гимназию, от которой у него (как и от самого уездного городишки) остались совсем невеселые воспоминания. Слишком резким был переход от забот матери к нелепым гимназическим строгостям и тяжкому быту мещанских и купеческих домов, в которых мальчугану пришлось жить.

Он вернулся в дом, так и не кончив гимназии... Прочитал все книги, хранившиеся в семье. Причем, по собственным воспоминаниям, «*видел* то, что читал, — впоследствии даже слишком остро, — и это давало какое-то особое наслаждение».

Тут как раз прибыл домой Юлий. Он успел не только с блеском кончить университет, но еще год просидеть в тюрьме по политическим делам.

Юлий прошел с младшим братом весь гимназический курс, занимались они языками, психологией, философией, общественными и естественными науками. Кроме того — и это было очень важно! — вели бесконечные разговоры о литературе. Юлий, бывший на тринадцать лет старше Ивана, оказал очень большое влияние на формирование его вкусов и взглядов. (В отличие от другого брата, лишь на год бывшего моложе Юлия, — Евгения.) На всю жизнь у него осталось ощущение от старшего брата как от человека необыкновенного.

«Много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил, — сообщает Бунин в «Автобиографической заметке». — ...Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, — чаще всего любовное, — труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского... Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном...»

В апреле 1887 года 16-летний Ваня отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» свое стихотворение «Нищий». Это было не лучшее, что он успел уже написать, но из «идейных» соображений (не без подсказки Юлия) отправили именно его. К неописуемому восторгу юного автора, уже в майском номере эти стихи увидали свет.

В тот год он особенно много писал и читал. С целью наблюдения за «таинственной ночной жизнью», спал лишь днем, а ночью бодрствовал. Иван писал стихи и рассказы, рассылал их по журналам и газетам. Литературная деятельность, которую позже сам автор называл «убогой», началась.

Думается, что на этот самокритичный отзыв повлияла высокая требовательность Бунина к собственному творчеству. Ведь уже в сентябре 1888 года его стихи были опубликованы в «Книжках Недели», в которых печатались в то время Л. Н. Толстой, Глеб Успенский, Салтыков-Щедрин. Издатель и редактор «Недели», видный пу-

блицист Павел Александрович Гайдебуров, успевший попробовать тюремной каши Петропавловской крепости, разглядел в юноше большое дарование и взял Ивана Алексеевича под свое «исключительное руководство».

Весной 1889 года Бунин отозвался на приглашения Юлия, обосновавшегося в Харькове, и отправился к нему, где тут же попал в кружки завзятых «радикалов». Вблизи эти восторженные юноши и эмансипированные барышни оказались не так романтичны и привлекательны, как грезились на расстоянии.

Побывал в Крыму, где наслаждался морским ветром, солнцем и купаниями, где ходить по сорок верст в сутки, «быть очень легким от голода и молодости» — превосходно.

Осенью занялся газетной работой в «Орловском вестнике». Был «всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало» к нему.

В 1891 году переехал в Полтаву к брату, который заведовал статистическим бюро губернского земства. Здесь началась интересная жизнь. Иван Алексеевич работал в земстве библиотекарем, затем, как и брат, статистом, разъезжая по губернии, встречаясь с самыми различными людьми и собирая разнообразнейшие сведения. Острым умом он отмечал характерные особенности крестьян — зажиточных и бедняков, ленивых или жадных до работы, лукавых чиновников и честной, до святости, сельской интеллигенции. Это было уже сознательное продолжение накопления жизненного багажа, безотчетно начатого с детских лет и позволившего понять и познать подлинный народ — а не вымышленный, мелкопоместный быт, стать знатоком русского языка — настоящего языка, а не литературного суррогата, которым так щедро пользовались литераторы, в том числе и «с громкими именами».

К этому же периоду жизни Бунина относится его влюбленность в Варвару Пащенко, работавшую некоторое время корректором «Орловского вестника». Эту страсть можно объяснить лишь житейской неопытностью да сердечной непорочностью поэта-юноши. У этой женщины, думается, натура была черствой и расчетливой, и, кажется, она не была привлекательна даже внешне. Пащенко, как и ее родителей, отпугивала бедность Бунина. Варвара Владимировна не предотвратила, хотя легко

могла это сделать, унизительное сватовство Ивана Алексеевича.

Случилось оно в мае 1892 года. Иван Алексеевич приехал в Елец, где жил доктор Пащенко. Когда он пришел с «официальным предложением», дверь открыл сам папаша и пригласил его в кабинет. Здесь он объяснил Бунину, что тот вовсе не пара его замечательной дочери, «что я, — вспоминал Бунин, — головой ниже ее по уму, образованию, что у меня отец — нищий, что я — бродяга (буквально передаю), что как я смею иметь наглость, дерзость дать волю своему чувству...» От срама жених был готов повеситься.

Варвара Владимировна отвергла предложение Бунина венчаться «тайно», но обещала, что «она будет с ним по-прежнему жить нелегально, как жена».

Впрочем, спустя непродолжительное время, папаша Пащенко написал дочери, что согласен на венчание ее с Буниным. Но она скрыла это письмо. Иван Алексеевич так никогда и не узнал, что доктор Пащенко был согласен на их брак. (Это послание было обнаружено в архиве Пащенко, много лет спустя после ее смерти.)

В то же время она тайно виделась с молодым богатым помещиком Арсением Бибиковым, за которого и вышла замуж.

Иван Алексеевич женился лишь в 1898 году на Анне Цакни, гречанке. «Женившись, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой...» Впрочем, по собственному признанию, Цакни он никогда не любил.

Несчастная любовь к Варваре Пащенко нанесла рубцы на бунинское сердце. Но она же дала писателю тот горестный опыт, который нельзя постичь ни воображением, ни умственным напряжением. Это надо пережить самому.

И еще, что вынес он со своего рождения и юных лет, что пронес через всю жизнь: «Я многое кровно унаследовал от отца, например, говорить и поступать с полной искренностью в том или ином случае, не считаясь с последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презрением к кому-то, утверждал свое право высказывать свои мнения, положительные или отрицательные о чем угодно, идущие вразрез с общепринятым:

— Я не червонец, чтобы всем нравиться!

Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную, говорил брезгливо:

— Лгут только лакеи.

И я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно».

Он всю жизнь был правдив необыкновенно.

* * *

В ту ночь с 22 на 23 октября, когда ему исполнилось пятьдесят два года, когда чужое небо было залито могильной чернотой, и даже звезды, словно провалившись в преисподнюю, не посылали свой мертвенный свет на далекую землю, Бунин записал в дневник слова, которые много объясняют в его характере:

Тот, кто называется «поэт», должен быть чувствуем, как человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны излияния души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки...

ГЛАВА XIII

В пятницу, 24 ноября 1922 года в русской православной церкви на улице Дарю горели свечи, красными звездочками светились у ликов лампадки и под высокий купол взлетали древние славянские слова — священник, псаломщик и шаферы отправляли древний чин венчания. Сочетались браком (теперь церковным) Иван Алексеевич Бунин и Вера Николаевна Муромцева. Было очень все трогательно, напоминало старую Русь, и у Веры Николаевны на глазах навертывались слезы.

Из церкви поехали на квартиру к Буниным — на «Яшкинскую улицу», как успел Иван Алексеевич прозвать рю Жак Оффенбах. «Честная компания» в лице Куприна, Бальмонта, Мережковских и Цетлиных разместилась за столом. Щедротами Марии Самойловны, он потрясал уже начавшим забываться изобилием. Нежно-розовая семга, свежая икра, жареные почки, «Померанцевая» в запотевших графинчиках — все вызывало давно не удовлетворявшийся аппетит.

— Ты, Ян, на меня не сердись! — говорила Вера Николаевна. — Без церковного венчания какой там брак? На Руси помнишь говорили...

Иван Алексеевич, смеясь, перебил:

— Помню! «Только Божье крепко!» У нас с тобой давно крепко.

В разговор вмешался Александр Иванович Куприн. Откусывая от большого куска мясо, он наставительно сказал:

— «Быть тому так, как пометил дьяк»! За здоровье молодых. — Он поднял лафитник. — По Божьему велению, по царскому уложению, по господской воле, по мирскому приговору — пьем без уговору!

Засиделись до полуночи. Куприн отправился домой пешком, благо жил рядом. Цетлин, которую ждал у подъезда автомобиль, взялась доставить в родные пределы Бальмонта. Он никак не хотел садиться в авто, на всю улицу выкрикивал свои стихи:

О, мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя!
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа...

Шофер энергичным движением подсадил пиита в авто.

Через несколько дней после описываемых событий Бунин получил письмо от своего старого друга, писателя И. С. Шмелева. Он пережил страшное потрясение — гибель любимого сына, офицера белой гвардии, расстрелянного в Крыму красноармейцами. Шмелев писал из Берлина 23 ноября: «Дорогой Иван Алексеевич, после долгих хлопот и колебаний, — ибо без определенных целей, как пушинки в ветре, проходим мы с женой жизнь, — пристали мы в Берлине 13-го (нового стиля) ноября. Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где ни быть — все одно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно — колом или поленом. Четверть процента остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся... Но это невероятно. Всего не напишешь... Осталось во мне живое нечто — наша литература, и в ней — Вы, дорогой, теперь только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и даст толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы...

Внутреннее мое говорит, что недуг точит и точит, но

Россия страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву. Думать не хочется. Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают... жадное хайло — новую буржуазию. «Нэп» живет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно...»

Бунин сразу же ответил: приезжайте к нам, как-нибудь устроимся. После многочисленных и утомительных хлопот Иван Алексеевич получил для Шмелева и его жены визу на въезд во Францию. Седьмого января двадцать третьего года в «дипломатической вализе» она была отправлена в Берлин. Иван Алексеевич ходит по издательствам — пытается уговорить напечатать книги Шмелева, организует для него вечер, вместе с Верой Николаевной собирает деньги — «первое пособие».

В начале зимы в Париж приезжал Московский Художественный театр. Бунин смотрел на сцену, и в его глазах стояли слезы: все так напомнило старую Москву.

«В театре было очень хорошо, — записала в дневник Вера Николаевна. — Москвин, действительно, талантлив. Ян даже плакал, конечно, и вся Русь, старая, древняя наша сильно разволновала его».

— Куда русские люди ездят после театра? — весело спросил, довольный горячим приемом публики, Москвин. — Правильно, ужинать!

— А супруги Бунины едут? — спросил Станиславский. — Вот и отлично, тогда и я поеду.

Они набились в одно такси: Москвин, Бунины, супруги-художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Поехали есть «луковый суп». В ресторанчике было дымно, шумно и весело.

— Иван Алексеевич, — играя переливами рокочущего баритона, говорил Константин Сергеевич. — Вот взяли бы и написали для нас пьесу. Играть звал вас — вы отказались, хотя актер из вас вышел бы великолепный *. Сотворите пьесу — поставим как нельзя лучше!

Бунин отшучивался. Разъезжались по домам через

* К. С. Станиславский приглашал И. А. Бунина в труппу Московского Художественного театра в 1910 году.

уснувший город уже за полночь. Утром, когда еще Иван Алексеевич спал, приходила Книппер-Чехова. Она сидела с Верой Николаевной, пила кофе и вспоминала Ялту, Антона Павловича...

На другой день к Бунину пожаловал другой мхатовец — Василий Васильевич Лужский. Он много рассказывал о Николае Дмитриевиче Телешове, с которым близко знаком и который просил передать Ивану Алексеевичу привет.

— Скажите ему и мой поклон, — сказал растроганный Бунин.

Когда гость ушел, он долго сидел, задумавшись. Все эти встречи разбередили ему душу.

— Надо же, — обратился Бунин к жене, — скоро они будут в Москве... А когда мы будем? В новом году?

В ночь с 31 декабря на первое января они возвращались пешком из гостей. Когда проходили через «русский мост», носивший имя Александра III, часы на башне вдруг глухо ударили — было ровно двенадцать. Бунин удивился такому совпадению и произнес:

— Может быть, и впрямь в новом году будем вновь в Москве?

* * *

В январе 1923 года приехал, согретый заботами Бунина, Шмелев. Привез письмо от писателя Бориса Зайцева. Его Иван Алексеевич считал своим «сватом». Именно в доме Зайцева познакомился в 1906 году с Верой Николаевной. Зайцев писал о своем бедственном положении, о том, что хотел бы выбраться из Берлина в Париж. И вновь начались долгие и трудные хлопоты — французские власти опустили шлагбаум перед беженцами, считая, что и тех, кто уже обосновался, слишком много.

Испробовав все испытанные способы, Иван Алексеевич пошел на крайний шаг. Он написал влиятельной даме — С. Г. Пети, супруге секретаря Елисейского дворца.

«Дорогая и уважаемая Софья Григорьевна, прибегаю к Вам с покорнейшей просьбой. Писатель Борис Константинович Зайцев с женой и дочкой (11 лет), как Вы, вероятно, знаете в Германии (Ostseebad Prerow bei Haneman) * и всеми силами рвутся оттуда вон, что как нель-

* Западный берег, у Ханемана *(нем.)*.

зя более понятно. В Италию их не пустили, не дали визы — у них «красные» паспорты (хотя сын жены Зайцева от ее первого брака расстрелян большевиками). Нельзя-ли их пустить во Францию? Мы зовем их к себе на дачу в Грас, которая снята у нас до 10 октября. Не пишу Евгению Юльевичу, щадя его отдых. Но если возможна виза, не будете ли добры передать ему мой сердечный привет и мою просьбу за Зайцевых? Зайцеву лет 40, — кажется 41, — его жене, Вере Алексеевне лет 45, дочке Наташе, повторяю, 11. Русские, православные.

Простите за беспокойство. Целую Ваши ручки, передаю поклон Веры Николаевны. Где Вы? Мы существуем слава Богу, у нас гостят Шмелевы, в двух шагах — Мережковские. Преданный Вам Ив. Бунин».

Письмо было написано из Граса, куда на лето неизменно стали приезжать Бунины. Шел июль 1923 года. 31 декабря Бунин встретил прибывших в Париж Зайцевых.

Еще не раз писатель будет приходить на помощь ближним, деля с ними порой и последний кусок хлеба.

* * *

16 июля Бунин отправил Гиппиус открытку с видом Граса. Он писал:

«Перед домом у нас несколько старых пальм, за ними, под ними — сказочная голубая страна, море. Соловьи поют день и ночь. Ночи сладко холодноваты. Завтра едем кататься на автомобиле Моисеенки в Торепс *. — Целую ручки. Ив. Бунин».

Он любил бешеную скорость автомобиля, подстрекал водителя «добавить газу» на опасных горных дорогах. Но мы не стали бы упоминать о поездке в горы с Е. И. Моисеенко, человеком, близким Цетлиным, если бы не сохранившийся клочок бумаги, на котором Бунин оставил несколько строк в память о происшествии, случившемся с ним:

«Укус змеи нечто совсем особое, мистически странное, незапамятно древнее.

Летом 23 года мы с Моисеенко ехали в автомобиле из Граса в Тулон. Моисеенко в какой-то долине остановил машину, чтобы что-то исправить в ней, я перескочил с

* Торен — название местечка в южной Франции.

шоссе через канаву, лег головой к ней в траву, хотел отдохнуть, покурить, как вдруг услыхал, как что-то змеей мелькнуло возле меня и в то же мгновение я, от моего постоянного патологического ужаса к змеям, так дико взбросил ноги в воздух, что дугой перелетел через канаву назад и стал на ноги на шоссе — сделал то, что мог бы сделать лишь какой-нибудь знаменитый акробат или мой древний пращур, тигр, барс. — Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности еще таятся в нас с пещерных времен...»

Бунин, пожалуй, и сам не ожидал, какие творческие силы таились в нем. Вопреки всем невзгодам — бесконечным материальным заботам, неутихающей тоски по России, унижающему равнодушию хозяев к чужестранцу, даже вопреки законам природы, когда с возрастом силы должны вроде бы убывать, его творчество стало набирать новую высоту. И с годами этой высоты он только прибавлял. Каждая следующая вещь была совершенней предыдущей. Для скептиков-литературоведов, упорно твердящих, что рассвет бунинского творчества приходится на предреволюционные годы, напомню книги писателя: «Роза Иерихона» (1924), «Митина любовь» (опубликована в «Современных записках» в 1925 году). Затем последовали не уступающие им в художественной силе сборники рассказов «Солнечный удар» и «Божье древо». В 1930 году вышла «Жизнь Арсеньева», которая явила новый творческий взлет. Но еще совершеннее были «Освобождение Толстого» (1937), по мнению специалистов, одна из лучших книг во всей литературе о Льве Николаевиче и «Лика» (1939 год).

И, наконец, книга, которую сам автор неоднократно называл «лучшей, из всего им написанного» — сборник коротких рассказов «Темные аллеи». Первое ее неполное издание вышло в Нью-Йорке в 1943 году, второе — в 1946-м в Париже.

...В мае 1923 года, едва вернувшись в Грас, Бунин испытал прилив вдохновенья. Это лето стало счастливым в творческом отношении. Он пишет стихи: «Льет без конца» и «Уж как на море» (оба помечены 10 мая, но я склонен считать, что это по старому стилю), затем «Дочь», «Одно лишь небо...» и удивительно-трогательное — «Опять холодные седые небеса».

«Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,

На рыжие ковры похожие леса
И тройка у крыльца и слуги на пороге...»

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью Бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7.VI.1923

Вернувшись из автомобильной поездки в горы, о которой мы упоминали, Бунин 18 июля пишет рассказ «В ночном море». Пароход идет из Одессы в Крым. Ночью он остановился перед Евпаторией. На палубу поднимается «очень прямой, с прямыми плечами господин». Здесь ему предстоит встреча с человеком, полулежащим в полотняном кресле. Они не виделись почти четверть века. Но судьба связала их жизни тугим узлом.

Один стал знаменитым писателем, другой прославился в медицинском мире. Когда-то, много лет назад, одного из них покинула горячо любимая женщина — ради другого.

Этот другой, стоящий сейчас на палубе, под чистым небом в мелких звездах, произносит:

«— Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.

— Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, — вернее, половой умиленности, — к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. А ведь я к тому же не совсем обычный человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.

— Неужели годов?

— Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости, обжигала меня точно каленым железом... Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше чело-

веческих сил. Из-за чего же я чуть не спился.., из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы!»

Это рассказ, как понял читатель, о своей самой первой и несчастной любви к В. В. Пащенко (1870—1918). Как и герой рассказа, Бунин встретил однажды, после долгой разлуки, бывшего приятеля и счастливого соперника А. Н. Бибикова. Тот сообщил ему о смерти своей жены. Очень вероятно, что в их разговоре прозвучало то, что позже вошло «В ночном море».

Он вновь вскоре вернется памятью к своей «несчастной страсти», «переломившей пополам» его. Во многом автобиографичной станет повесть Бунина «Митина любовь». Когда-то он писал Пащенко: «Не помню, не помню ни одного твоего письма, которое разорвал бы спокойно — все дрожит внутри, потому что знаю, знаю, что больно мне будет, что всю ту нежность, глубокую нежность, которой переполняет мое сердце разлука с тобой — истомит твое молчание, а потом оскорбит неправда. Ах, эта неправда! Вся душа моя встает на дыбы! И ни одно-то мое желание не исполнялось никогда, не перечесть те минуты, которые пришли именно тогда, когда ждал их — всегда обещание, как ребенку, и неисполнение всегда...»

Это одно из самых последних и безнадежных писем Бунина, появилось оно на свет в августе 1894 года. И вот спустя ровно 30 лет его герой Митя сталкивается с Катей, такой же рассудочной и легкомысленной, не умеющей ценить ни чужую любовь, ни чужую жизнь, как Варвара Пащенко. «И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой...

— Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. — Катя, что же это такое! — сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. — Ах, все равно, Катя, — прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к не-

му, чтобы они вместе могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но прошептав: «Ах, все равно, Катя!» — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то..., уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь».

Митя раскрыл рот и с наслаждением выстрелил. Юному Бунину после измены Пащенко хотелось повеситься.

* * *

Завернув рукопись очередных глав «Митиной любви» в старый номер «Последних новостей», Иван Алексеевич отправился на рю де ля Тур, в издательство «Современных записок». Один из редакторов журнала, выходившего под таким же названием, Вишняк постоянно подгонял Бунина: «Приносите главы загодя...»

Начальные публикации повести были приняты читателями и критикой с восторгом. (Исключение, понятно, составила Гиппиус, которая, кроме себя и мужа, никогда никого не одобряла.) Вернувшись в двадцать первом году к творчеству, Бунин печатал не только старые рассказы, но много нового. Самые читаемые газеты и журналы почитали за счастье «украсить» полосы его творениями.

Но именно «Митину любовь» критики назвали «воскрешением русского писателя».

...Бунин передал Вишняку рукопись, взял корректуру уже набранных глав и спросил:

— Что думает уважаемый редактор о «Митиной любви»? Одобряет?

— Выше всех похвал! — искренне воскликнул тот. — Это лучшее, что за последние годы написано на русском языке. Но...

— Что «но»? Говорите смелей, классики критики не боятся.

Вишняк, наслышавшись о горячем характере Бунина, все еще не решался произнести критику метру. Но потом набрался духу и выпалил:

— Самоубийство Мити ничем не мотивировано. Разве каждый из нас не переживал муки ревности, не страдал, не лишался сна и аппетита? Но никто из нас не пускал

из-за этого пулю в рот. Еще не поздно поправить, подумайте. — И, помолчав, Вишняк веско добавил: — Это не только мое мнение. Остальные редактора — их, вы знаете, пятеро, — разделяют эту точку зрения.

Бунин внимательно выслушал, помолчал и серьезно ответил:

— Спасибо, я подумаю!

Все, кто знал Бунина, неоднократно убеждались в его почти болезненной любви к точности, к щепетильности, с какой он относился ко всякому печатаемому им слову. Даже не на месте поставленная запятая способна была огорчить его чуть не до слез. До последней минуты перед выпуском он не переставал вносить поправки и уточнения в текст.

Тот же Вишняк вспоминал о том, как Иван Алексеевич в ускоренном порядке присылал «пневматические» письма * или телеграммы с требованием или мольбой «непременно опустить», «изменить», «заменить», «поставить запятую».

«Заклинаю вас, — писал Бунин в издательство, где готовилась к выходу в свет его книга, — дайте мне корректуру еще раз!! Это совершенно необходимо. Иначе сойду с ума, буду страшно беспокоиться». Или: «Давать рукопись «в окончательном виде» невозможно. Многое уясняется только в корректуре. *Если хотите меня печатать, терпите.* Чудовищно, непостижимо, но факт: Толстой потребовал от «Северного вестника» *сто* корректур «Хозяина и работника». Во сколько раз я хуже Толстого? В десять? Значит — пожалуйте 10 корректур. А я прошу всего две!»

Еще одно подобное послание: «Ради Бога не торопите меня с присылкой рукописи. Чем больше пролежит она у меня, тем будет лучше для всех: для типографии, для меня, для потомства...»

В «Современных записках» Бунина как писателя чтили очень и очень, постоянно просили давать им новые рассказы, соблазняли «самыми высокими гонорарами». Разумеется, что в тех случаях, когда он «осчастливливал», с бунинского творения открывался номер.

Однажды, когда рассказ Бунина шел с продолжением и он задержал рукопись сверх обычного, а типография

---

* «Пневматическая» почта с давней поры существовала в Париже для скоростной пересылки корреспонденции в черте города. Бунин любил пользоваться именно «пневматичкой».

торопила с версткой и предлагала начать выпуск с уже выправленного рассказа Бориса Зайцева.

Когда посланец редакции явился к Ивану Алексеевичу и, заикаясь от робости, изложил предложение типографии, то «реакция последовала немедленно и в такой бурной форме, что вспомнить страшно».

— Вот все тщательно вычитаю и выправлю, тогда и получите рукопись! Сам не люблю делать шаляй-валяй и вам, молодой человек, не рекомендую! Спешка знаете когда нужна? При ловле блох. Быстро только кошки котят делают.

Этими народными наблюдениями разговор был окончен. «Современные записки» запоздали с выходом, зато открывались рассказом академика Бунина — тщательно вычитанным и десятки раз поправленным.

...Итак, спустя несколько дней после критики, отважно высказанной редактором журнала по поводу «Митиной любви», явился автор и положил рукопись на изрядно потертое сукно редакционного стола:

— Я очень много думал над вашими словами. Впрочем, — поправился Бунин, — думал над смертью Мити и до ваших слов. И вот, должен сказать: вы не правы. Митя не мог поступить иначе. Вы судите о страстях Мити по вашим собственным и по страстям ваших знакомых, а Митя не такой, как вы...

Так редактору не удалось вернуть к жизни бунинского героя.

* * *

В 23-й и 24-й книгах (так назывались выпуски) «Современных записок» была опубликована «Митина любовь». Среди общих похвал не обошлось все же без зависти и злословия, неодобрительных отзывов. Талантливый поэт и тонкий критик, оставивший после себя одну из лучших биографических книг о Державине, Владислав Ходасевич прислал в редакцию «Современных записок» ироническое письмо: «Не для печати». «Прочитал первую часть «Митиной любви». Бунин хорош, если не окажется сделанным по рецепту:

«Крейцерова соната» — 1%
Aquae destill. * — 100%

---

* Дистиллированная вода *(лат.)*.

24-я книга это выяснит». Увлекшись, Ходасевич насчитал 101%.

Но у Бунина нашлись недоброжелатели куда более опасные, нежели Ходасевич. Речь идет о Мережковских. Дмитрий Сергеевич, как и Иван Алексеевич, считался признанным корифеем русской литературы. Известность их носила европейский масштаб, а авторитет был неоспорим. В литературной эмиграции они заняли главенствующее положение.

Мережковский и его супруга Гиппиус пристально наблюдали за успехами других писателей, и в первую очередь за Буниным. Похвалы в адрес «Митиной любви» оскорбили их слух. Зинаида Николаевна обратилась к редакторам «Современных записок» с предложением:

— Написать на новую повесть Бунина не рецензию, нет! Но — пространный очерк на тему «Искусство и любовь».

Редакторы опрометчиво ответили согласием. И вскоре раскаивались в своем благодушии. Гиппиус выплеснула на Бунина весь свой запас яда и злобы. В статье она, конечно, для начала похвалила «замечательного стилиста и знатока языка» Бунина. Далее Гиппиус говорила о нем как о «короле изобретательности» и сравнивала его с Гёте, «Митину любовь» со «Страданиями молодого Вертера».

Но на этом Гиппиус исчерпала весь запас добрых слов. Она писала: «Заглавие очень точно: в нем говорится именно о Митиной любви. Повесть любви — есть повесть *двух,* но Бунин дает нам одного — в состоянии любви... У Мити и у Кати так мало «личности», что Эросу не на ком укрепить концы своего моста... Митя не только чужд сознания, всякого разумного рассуждения и воли, но примитивен до непонимания обычных слов, даже тех, которые сам произносит. Митя весь *впечатление и физиология.* Почти нельзя сказать, что он «чувствует»: он — «чует»... Митю убила не Катина измена, и не сам он убил себя от любовной муки, и не убивает его ужас «чудовищного, безвыходного мира», — Митю убил раньше выстрела Бунин...»

В литературной критике мало нашлось бы примеров, когда произведение крупного писателя подвергалось такому путаному и бездоказательному разносу. Впрочем, вся эта ругань была в общей линии оценки Мережковскими творчества Бунина.

Но у этого дела была еще одна сторона. Еще с лета

1922 года о Бунине заговорили как о реальном претенденте на Нобелевскую премию. Тогда же некий доктор И. И. Манухин пожаловал к Ивану Алексеевичу в гости. Распивая чай, он без обиняков объяснил, что действует по поручению Мережковского, который советует Бунину от премии отказаться. А вот когда сам Дмитрий Сергеевич получит ее, он поделится деньгами.

После выхода «Митиной любви» чета Мережковских снова завозилась. Успех повести они расценили как удар по собственным литературным амбициям. Дмитрий Сергеевич вновь стал горячо убеждать Ивана Алексеевича, что у него, у Мережковского, шансов получить «нобелевский миллион куда больше, чем у всех остальных русских писателей, включая Максима Горького и Бунина». Поэтому пусть другие (то есть Бунин) не претендуют, чтобы «не вносить путаницу».

Двенадцатого февраля 1925 года Вера Николаевна записала в дневник: «Ян был в синема и у Мережковских. — «Я их утешил сегодня, сказал, что Нобелевскую премию получит Дмитрий Сергеевич, — «вас и в Англии все знают!» Потом сказал, что моя «Митина любовь» все никак не устроится у французов.

Он и повеселел. Даже спросил — да чем же вы живете?»

Вот почему Мережковским надо было во что бы то ни стало опубликовать свою «критику» на «Митину любовь».

И все это не мешало Зинаиде Николаевне бывать у Буниных. 9 февраля Вера Николаевна отметила в дневнике: «Вчера была З. Н. Любезна со мной до подозрительности. В чем дело? ...Думала долго. Додумалась вот до чего: мне кажется, что она в статье об Яне скажет много неприятного. Не простит она ни его успехов, ни Лондона * и т. д. Вот и думает приручить меня. Почти 5 лет не замечала моего присутствия, а теперь: «Почему не бываете, пришли бы, полежали у меня на кушетке, отдохнули бы»... Ведь с Яном как было? Приручала. Написала хвалебную рецензию. Хотела его приобщить к ним. Заменить Философова. Пыталась с ним вместе писать пьесу. Пыталась стать его доверенной помимо меня. Когда ничего из этого не удалось, а значение Яна все растет, она решила — пора начать его бранить, а то, неро-

* Со 2 по 6 февраля 1925 года И. А. Бунин находился в Лондоне по издательским делам. Там готовилась к выходу «Митина любовь» (издательство «Фишер»).

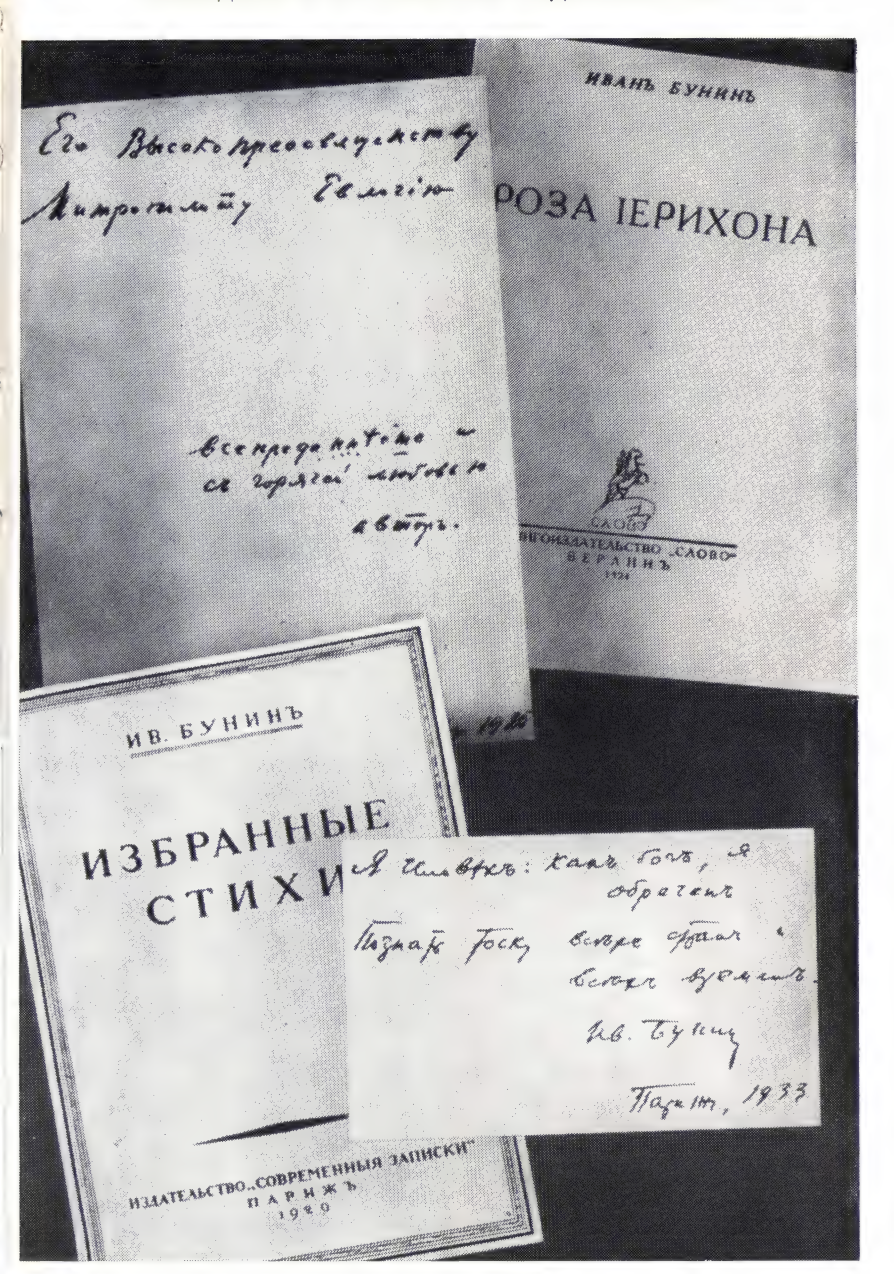


И. А. Бунин.

Грас, местечко во Французском департаменте Приморские Альпы, в 27 км от Средиземного моря.

Надпись Бунина: «Лето 1923 г. Montfleuri (первая вилла, где мы жили в Грассе). Ив. Б. — Шмелева, Бунина, I. Bounine, Шмелев».

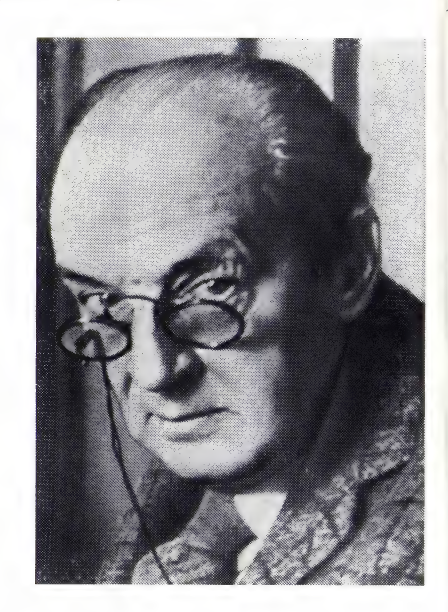
КНИГИ И. А. БУНИНА.
ВЫШЕДШИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ.



ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
Фото Петра Шумова (Париж).



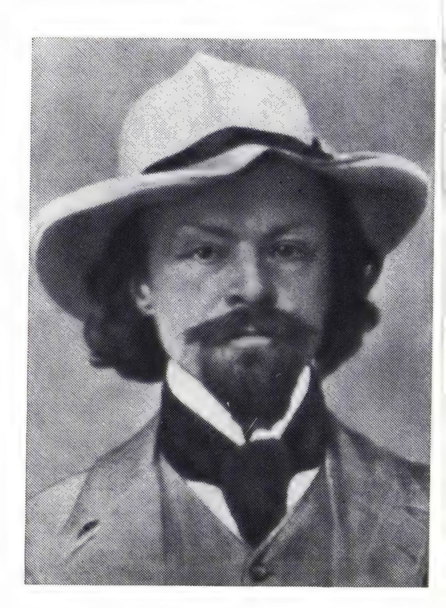
И. С. Шмелев.



В. В. Набоков.



В. Ф. Ходасевич.



К. Д. Бальмонт.



Д. С. Мережковский.

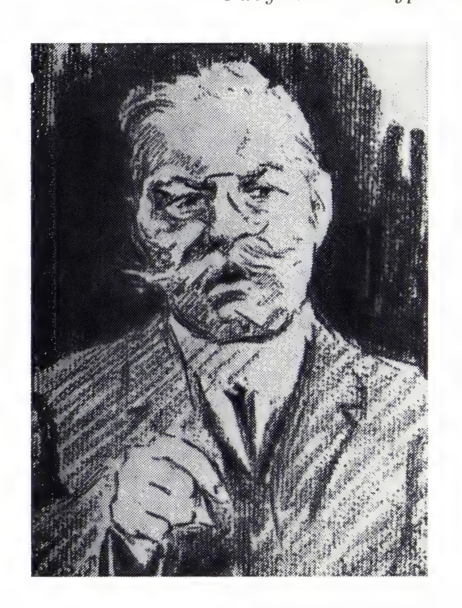


Портрет писателя
и философа В. В. Розанова.
Деталь. Худ. Л. Бакст.

З. Н. Гиппиус.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ.

Рисунки с натуры худ. Ю. Арцыбушева.



П. Н. Милюков.



В. Д. Набоков.



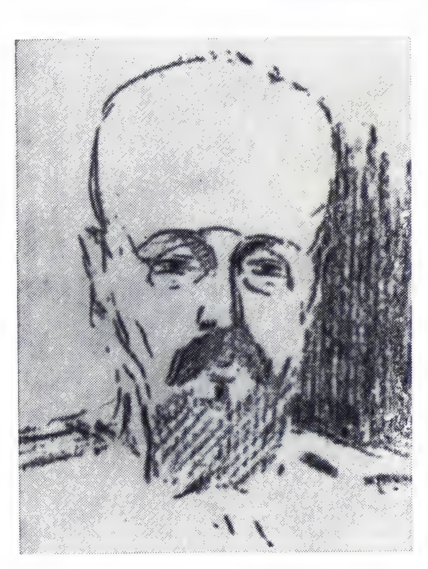
В. М. Чернов.



А. М. Каледин.



А. Ф. Керенский.



В. М. Пуришкевич.

Н. И. Махно. Париж, начало 1930-х гг.
Фото Петра Шумова.


ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
ПРОЛОГЪ
РОМАНЪ
ЛЕОНИДЪ ЗУРОВЪ.
ОТЧИНА
МИХ. ОСОРГИН
ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК
ПАРИЖ
ТЭФФИ
РЫСЬ



Митрополит Евлогий.
Фото Петра Шумова.



И. В. Одоевцева.

Грас, вилла «Бельведер», 17 апреля 1931 г. Слева направо: Ф. Степун, И. Бунаков-Фондаминский, И. Бунин, И. Демидов.



Грас. С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, Н. Я. Рощин.

И. А. Бунин за столом редактора газеты «Последние новости» (Париж) П. Н. Милюкова, 15 ноября 1933 г.

А. И. Куприн, неизвестный, Б. К. Зайцев.

Париж, Северный вокзал, 6 декабря 1933 г. И. А. Бунин отъезжает в Стокгольм получать Нобелевскую премию.



Дом номер 1 по улице Жака Оффенбаха в Париже. Здесь около тридцати лет прожил И. А. Бунин.



И. А. Бунин в декабре 1933 г.



Реклама книжного магазина в Стокгольме о продаже книг Бунина.

ВРУЧЕНИЕ И. А. БУНИНУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ.
СТОКГОЛЬМ, ДЕКАБРЬ 1933 г.

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

Бунинъ — нобелевскій лауреатъ

И. А. Бунинъ въ „Послѣднихъ Новостяхъ“

Реклама крупнейшего зарубежного русского издательства в Париже Якова Поволоцкого о продаже книг И. А. Бунина (декабрь 1933 г.).

РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
J. POVOLOZKY & Cie
13, rue BONAPARTE, PARIS-VI

Téléphone: Danton 54-62.

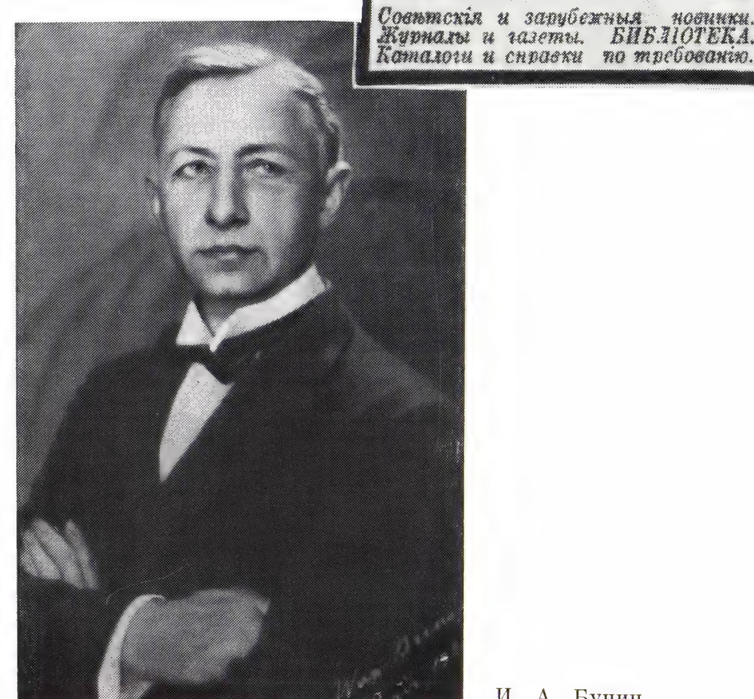
СОЧИНЕНIЯ И. БУНИНА

П. с. с. въ шести томахъ, 2-хъ переплетахъ	135 фр.
Божье древо,	25 фр.
Господинъ изъ С.-Франциско	15 фр.
Грамматика любви	15 фр.
Деревня	15 фр.
Жизнь Арсеньева	30 фр.
Крикъ, пер.	15 фр.
Митина любовь	25 фр.

Поступили въ продажу:
Общее Дѣло, ном. 10.
Соцiалистическiй Вѣстникъ, ном. 22.

Перевалъ	30 фр.
Начальная любовь	15 фр.
Послѣднее свиданiе	20 фр.
Роза Iерихона	25 фр.
Солнечный ударъ	21 фр.
Тѣнь птицы	19 фр.
Чаша жизни	12 фр.
Стихотворенiя, кн. 2 и 3 по	20 фр.
Суходолъ	30 фр.

Совѣтскiя и зарубежныя новинки. Журналы и газеты. БИБЛIОТЕКА. Каталоги и справки по требованiю.



И. А. Бунин.

вен час, еще ему и премию присудят... Ее считают умной, сильной, злой и развратной. А она не так умна, он умнее (Мережковский. — *В. Л.*). Сильна со слабыми, гораздо добрее, чем кажется, и развратность лишь умственная и сильно преувеличенная. Он же человек с оригинальным и образованным умом, представляется нарочно юродивым, чтобы проводить то, что хочет. К людям равнодушен. Они оба считают всех глупее, чем они есть, а потому часто попадают впросак».

И с поразительным двуличием в эти же дни Мережковские просили Буниных:

— Подходит летний сезон. Может, вновь будем жить вместе? Вы, Иван Алексеевич, похлопочите и за нас...

И Бунин хлопотал. Первого марта он переехал из Парижа в виллу Альбу в Каннах. 10 марта он писал Мережковским и их секретарю В. А. Злобину:

«...Мечты мои найти что-либо в новых местах терпят покуда полный крах. Я уже целую неделю провел в самых неутомимых разъездах, хождениях, поисках, — провожу в этом все дни буквально с утра до вечера. Исследовал, — заранее зная, что это глупо, но для полной очистки совести, — Теул и весь берег от него до Trays'a включительно: ровно ничего нет даже более или менее подходящего; да Вы и сами знаете, что такое Теул и что за ним почти пустыня, безлюдная и бесплодная, даже без единой лавочки. Излазил все холмы Cannet, на которых висят голые, жалкие в сущности домики, летом, конечно, столь жаркие, что лопаются живущие в них скалапендры. Излазил и всю Калифорнийскую гору: там «дворцы», до коих сам чорт не доберется без автомобиля, главное-же, адски дорогие даже и летом — дешевле 12—15 тысяч (со средины мая до средины октября) путного ничего нет. То же самое и на Антибском хребте: или ничтожество в гуще и тесноте прочих дач и садиков — или что-нибудь более или менее порядочное, но совсем нам по цене недоступное, чаще-же всего просто не сдающееся. А в Булюрисе, поверьте, жить летом нельзя (я по крайней мере, ни за что не стану): в этой гуще запыленной растительности, у самой воды заедят москиты на смерть, море разобьет нервы, не даст работать, ибо *в конце концов* вызовет полное сумасшествие, беспокойство дикое. То-же, что выше Булириса *, по словам агентов, тоже дьявольски дорогое, ибо там летом живут хорошие господа для купания, на которое они ез-

* Так у И. А. Бунина.

дят на своих собственных машинах. Я туда съезжу, непременно, но уверен, что совершенно понапрасну. Что-же делать? Фондаминские (коих видел два раза — раз у себя, и раз в Грасе) только плечами пожимают: «что вы мечетесь, лучше Граса все равно ничего не найдете!» И точно: удобств — тысячи, и опять, опять многое мне показалось просто очаровательным — какой вид, какой воздух и какие сравнительно со всеми прочими малые цены! Только и там беда: хорошие дачи (по дороге в Ниццу, ибо где-же еще искать?) или не сдаются или суть обитаемы круглый год (как и эта дача, которую я некогда ладил для Цетлиных). Что-же делать, что-же делать? Даже и Montfleuri * обещана мне *условно: «если не продам* до 15 апреля, — к вашим услугам!»

А «Alba» страшно мала и жидка, летом насквозь прогорит, стоит на пустыре... Целую вас всех, Ваш Ив. Бунин».

2 мая Бунин переехал в Грас. Здесь он поселился в вилле Бельведер. 16 июня у Бунина объявились нежданные гости — Гиппиус и И. И. Фондаминский. За чаем разговор шел о самоубийстве Б. В. Савинкова в Лефортовском изоляторе ОГПУ.

— Для меня он умер тогда, когда предал белое движение, — с сердцем произнесла Зинаида Николаевна. — И вообще, мы с Дмитрием Сергеевичем за интервенцию в Россию. Если нет своих сил, то надо пользоваться чужими.

Бунин кисло усмехнулся:

— Что, сбил да поволок — ажно брызги в потолок? Чужими руками жар загребать? Но ведь все эти интервенции и междоусобицы Русь крушат, по мужику бьют.

— Ах, какой гуманизм! Да попадись вы этому мужику в лапы, он с вас, дорогой Иван Алексеевич, с живого снял бы шкуру. Или сомневаетесь? **

— Очень может быть, но это от серости и многовековой озлобленности. Но ни один уважающий себя русский мужик не побежит звать соседей, чтобы родному брату руки скрутить. А вы, Зинаида Николаевна, в нашу отечественную избу чужеземную нечисть рады за-

---

* Монфлери *(фр.)*.

** В книге «Дмитрий Мережковский», вышедшей уже после смерти З. Н. Гиппиус в Париже в 1951 году, она признавалась: «...Дмитрий Сергеевич и я мы (так!) были и в начале, и конце, и всегда «за интервенцию».

звать — сапогами горницу топтать да бабам подолы заворачивать. — Бунин все больше накалялся, голос его нарастал. — Ну а этих самых мужиков ваши просвещенные господа «освободители» — на козлы, плетями шкуру обдирать?!

Он сжал кулаки, вплотную подступил к Гиппиус. Казалось, мгновенье — и он прихлопнет это вертлявое существо неопределенного возраста и пола.

...В тот же вечер Гиппиус срочно бежала из Граса — оставаться в доме Бунина теперь было просто неприлично. Но была этой ретировке и другая причина.

* * *

«Современные записки» отказались печатать разносную статью Гиппиус — слишком дорожили они сотрудничеством Бунина. Тогда, кое-что изменив, кое-что закруглив, она отнесла статью в «Последние новости».

Милюков, швырнув объемистый опус на редакторский стол, залитый клеем и чернилами, даже не заглянув в рукопись, обнадежил:

— Напечатаем!

Но когда заглянул, то заскучал: статья столь путана и нервна, что в ней сам черт ногу сломит! Но — слово чести дано!

В те дни, когда Гиппиус пользовалась приютом бунинского дома, в типографии готовили очередной номер «Последних новостей» с ее «шедевром» — он вышел с продолжением 18, 25 июня и 2 июля. Название — «О Любви».

Куприн, у которого не хватило терпения прочитать и первую часть, потешался:

— «О Любви»! Вот умора! Да разве Гиппиус смыслит в ней что-нибудь? Природой не дано. Статьи-то даже подписывает по-мужицки — «Антон Крайний». И кого ругает — Ивана Бунина, который словно юноша, весь пронизан ощущением страсти. Ну лиходейка!

ГЛАВА XIV

Третьего мая было созвано экстренное собрание членов Комитета помощи русским писателям и ученым. Переполох был вызван «изменой» Толстого. Мережковский «обличал пробольшевистскую» позицию Алексея Нико-

лаевича, ведавшего литературным приложением к левоэмигрантской газете «Накануне», выходившей в Берлине с 26 марта 1922 года. Он печатал здесь К. Федина, М. Горького, С. Есенина, М. Булгакова, В. Катаева, Вл. Лидина, а также многих других — «советских».

Чаша белоэмигрантского терпения была переполнена после «дерзкого письма» Толстого, адресованного престарелому лидеру партии народных социалистов и члену масонской ложи «Северное сияние» Н. В. Чайковскому и опубликованного в газетах, в том числе «Известиях».

— Дурную траву — из поля вон! — призывал Дмитрий Сергеевич. — Толстой в этом письме оболгал всю эмиграцию, обмазал грязью. Он оправдывает революцию и большевиков... Он на их стороне! Толстой возвращается в Россию — жуть да и только!

— А как же со свободой совести? — спросил сидевший в уголке Бунин. — Не вы ли сами говорили, что каждый имеет право высказывать любые взгляды и принимать участие в любых органах печати?

— Но не в большевистских же! — Голос Мережковского сорвался вновь на крик. — Когда Россия задыхается под их гнетом, когда русские дети тысячами умирают от голода... Их матери прислали письмо, подписанное собственной кровью — «Спасите детей от извергов»! Нет и нет! Наше голосование покажет не только отношение к измене Толстого, оно покажет и истинное лицо каждого из нас.

Мережковский судорожно глотнул воды из стакана, протянутого Семеном Юшкевичем, и уже спокойней закончил:

— Господа! Будем голосовать. Кто за то, чтобы исключить из рядов нашего союза Толстого, принявшего участие в органах большевистской печати? Прошу поднять руки. Раз, два, три... Итак, девятнадцать — за! Поздравляю, большинством голосов Толстой исключен...

Бунин воздержался, Куприн и Юшкевич голосовали против. Двое первых демонстративно удалились, при этом Александр Иванович так долбанул дверью, что перепуганная Гиппиус едва не упала со стула.

Затем последовала газетная возня. «Последние новости» опубликовали 9 июня анонимную передовицу — «Эмигранты» внутри России». В ней «клеймился» Толстой, заявивший о своем намерении вернуться на родину. Марина Цветаева упрекала его в «Голосе России» за «провокацию» и т. д.

Из Берлина прибыл в Париж корреспондент газеты «Руль». Он обратился к Бунину с вопросом:

— Что вы думаете о желании Толстого вернуться в Советскую Россию?

Бунин ответил:

— Желание жить на родине естественно для каждого нормального человека, для русского — в особенности.

— Стало быть, — не унимался журналист, — вы тоже можете совершить такой же шаг, как и Толстой?

— Я ни перед кем не должен держать отчета в своих намерениях, — сухо возразил Бунин. — Я свободный человек и вправе сам распоряжаться своей судьбой. Конечно, я предпочел бы вернуться в старую Россию, а не в нынешнюю. Но старая Россия — богатая, могущественная, канула в Лету. Я не верю, что ее можно воскресить силой оружия — белого или тем более интервентского. Вернусь ли я теперь домой? В ближайшее время — нет. А что будет дальше — поживем, увидим!

Он надолго не заглядывал в будущее. Иногда, легче не задумывать дела загодя. «Человек предполагает, а Господь располагает!»

* * *

Бунин с А. Н. Толстым познакомился «как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «мы, дети страшных лет России, забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной». Иван Алексеевич в то время редактировал беллетристику в журнале «Северное сияние». И вот к нему однажды пожаловал Толстой — рослый, красивый, еще совсем молодой. Он предложил свою рукопись «Сорочьи сказки», которая Бунину понравилась какой-то особой свободой и непринужденностью.

Они быстро сдружились. Хотя с самого начала Бунину его друг показался несколько «авантюрным», но подкупала редкая талантливость его натуры, богато наделенная художественным даром. Впрочем, после самого первого знакомства они не встречались года два или три — Бунин то путешествовал по свету, то разъезжал по России, мало бывая в столицах — Москве и Петербурге.

Но вот однажды они остановились вместе в одной московской гостинице, знакомство, перерастая и укрепляясь

в дружбу, возобновилось. С Толстым была его жена Софья Дымшиц.

Много позже, в конце сороковых годов, Бунин так вспоминал об этом событии: «Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!»

Они часто виделись в литературно-художественном салоне на Большой Дмитровке, на различных званых вечерах, благотворительных концертах, принимали участие в сборниках, выходивших во вновь организованных Издательстве товарищества писателей (Петербург) и Книгоиздательстве писателей в Москве.

Начавшаяся революция то разводила их по разным концам земли, то вновь сводила — сначала в Одессе, затем в Париже. Теперь она вновь положила между ними предел. Надолго ли?

Бунин ждал от Толстого писем — их не было. О старом друге он узнавал из советских газет и журналов, изредка доходивших до Парижа. Корреспонденту «Жизни искусства» Алексей Николаевич рассказал о своих обширных творческих замыслах, затронул он и заграничных литераторов. Парижская — самая обширная и богатая крупными именами, пражская и берлинская — вот на такие три группы разбита теперь зарубежная писательская братия, — сообщил Толстой. И продолжал: «Парижская группа возглавляется наиболее непримиримыми Мережковским и Гиппиус. Сюда, между прочим, входят: Бунин, Куприн...»

Особое сожаление, продолжал Толстой, вызывают такие большие писатели, как Бунин и Куприн. Первый, по словам Толстого, все еще находится «под впечатлением Одессы 1919 года, с ее голодом, хаосом, бесконечной сменой правительств. Под этим углом зрения воспринимает он русскую жизнь... Обоих... писателей следовало бы вырвать из той гнилой, полной ненависти к Советской России атмосферы и возвратить их русской литературе».

Полтора года спустя, 1 ноября 1924 года, «Красная газета» опубликовала интервью Алексея Николаевича о парижской эмиграции. Он рассказал о том, что Бунин и Куприн живут в Париже за счет благотворительности и за счет концертов, дающих низкие гонорары. Издательства и книжные магазины закрылись из-за отсутствия субсидий.

Последнее все-таки не совсем верно. Издательств развелось в достатке. Иное дело — их скудный материальный успех. Иначе и не могло быть: эмигрантскому читателю было не до чтения. Тем более, не до собирания библиотек, когда и самим-то порой жить было негде. Так что тиражи книг стали мизерными, особенно по сравнению со старыми, российскими мерками.

И все же писали, печатались... 3 июня 1925 года первый номер «Возрождения» открывался начальными главами «Окаянных дней» И. А. Бунина. Книга написана в форме дневника — с 1 января 1918 года по 20 июня 1919-го. Изложение динамично: словно на экране синематографа мелькают и исчезают многочисленные лица — рабочие, литераторы, политические деятели, актеры, чекисты, монархисты, профессора, дезертиры, обыватели. Все двигаются, спешат, волнуются, бросают реплики — все они, как и автор книги, в нервно-возбужденном настроении. Каждый говорит своим неповторимым языком — одесский торговец или московский полотер, мальчишка-солдат или оратор на площади.

Гремят выстрелы, где-то кого-то убивают, кто-то простаивает часами в очереди за хлебом, в какой-то газетке печатают стишки. Бунин их старательно выписывает:

Зарежем штыками мы алчную гидру,
Тогда заживем веселей!
Если не так, то всплывут они скоро,
Оживут во мгновение ока,
Как паразит, начнет эта свора
Жить на счет нашего сока...

«Шел через базар — вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги — и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал...»

Бунину скучна и совсем непонятна политическая логика происходящего. Его гораздо больше занимает динамика внешних, чаще всего случайных, событий. Красноармейцы для него вовсе не революционные «романтики», но до предела накаленные деревенские мужики из его же деревенских рассказов. К счастью, художник в нем то и дело берет верх над публицистом: «Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже вовеки не вернется... Вспомнил лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...»

Собственно, вся книга состоит из коротких зарисовок, порой даже не в хронологическом порядке расположенных. Вот одна из них:

«Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

— Эх, распошел,
Ты, мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване».

«Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пу-

зырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона...

— Он мне, собака, керосину в лавке коперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу — дай срок!»

А что, небось, и вправду зарезал караульщика. Керосину все-таки, как-никак, не дал.

* * *

К середине двадцатых годов многим эмигрантам стало ясно, что «упрощенная психология» царских генералов и ставка на захват Советской России потерпели крах.

В передовой статье «Последних новостей» в новогоднем номере от первого января 1926 года по традиции подводились итоги «пройденного». Передовица столь показательна, что следует ее привести почти полностью:

С НОВЫМ ГОДОМ!

Каждый год, вот уже в течение пяти лет, приветствуя читателя с Новым годом, мы чувствуем возрастающую потребность прибавить к этому и пожелание «нового счастья», разумея под счастьем возможность вернуться в Россию... Хвала Богу, эти надежды неискоренимы в душе русского беженца, упорно не желающего перечислиться в «эмигранты»...

Основной причиной наступающего теперь психологического сдвига явился уже вполне теперь выяснившийся провал на экзамене — будем надеяться последнем, которому подвергли сами себя люди, одержимые старыми иллюзиями о возвращении в Россию с оружием в руках под руководством монархического «вождя» и с поддержкой иностранных штыков. Увлекшись минутным настроением досады иностранных дипломатов на террористическую и провокаторскую деятельность Коминтерна, наши монархисты и националисты громко заговорили о возможности иностранной интервенции — и на этой эфемерной надежде основали свой план — собрать «зарубежный съезд» близких к ним политических течений и выдать его за голос всей эмиграции. Но они не сговорились между собой.

Монархическая закваска и инициатива треповых, крупенских и марковых-вторых была настолько очевидна, что среди более умеренных элементов организационного комитета начались колебания, приведшие к выходу членов торгово-промышленной группы и казаков.

Итак, съезд по созданию «единого фронта борьбы против большевизма» провалился. Сами участники съезда признали невозможность интервенции против все крепнувшей Страны Советов.

Но жить за рубежом, постоянно испытывая тоску по России, тоже невозможно. Какой же выход предлагала газета? «Многие захотят легально вернуться домой», — писали «Последние новости».

И тут же на карикатуре был изображен беженец, сидящий на упакованных вещах, и молитвенно простирающий руки к календарю с листком «1 января 1926 года», и вопрошающий с надеждой: «Последний?»

Бунин себе этот вопрос больше не задавал.

— Если они, эти так называемые литературные критики, так набросились на Алешу Толстого, то что они сделают со мной? Тот пишет о чем хочешь: об эмиграции,

о русской истории, пьесы... А я — «Митина любовь»... Это никому в России теперь не надо! — делился он мыслями с женой.

— Тем более, — грустно улыбнулся Иван Алексеевич, — что пишу я с «ятями».

Про «яти» разговор особый, анекдотического порядка. Новый год Бунин справлял в редакции газеты «Возрождение». Как сообщили в отчетах, «было шумно и весело». Провозглашались один за другим тосты — «За благополучие русского народа!», «За возвращение в новом году в Россию!», «За процветание родины!» и т. д.

Слово предоставили профессору Кульману.

— Господа! — с важностью произнес Николай Иванович. — В культуре каждого народа есть что-нибудь самое главное, самое драгоценное, что уже важно не само по себе, а как символ, как знамя. Вот и я призываю выпить за великий символ отечественной культуры... за букву «ять»!

После некоторого оцепенения послышались смех, аплодисменты, а Бунин и Шмелев, как отметили газеты, «от души произнесли — «Браво!»

Вообще-то, Бунин, как и многие русские эмигранты, писали по старой орфографии всю жизнь. Газеты и журналы за рубежом, в большинстве своем, тоже выходили с «ятью». Известен случай, когда Иван Алексеевич устроил скандал и не хотел печатать книгу в типографии, где издавали по новому правописанию. Это дало повод фельетонистам сравнивать Бунина с протопопом Аввакумом, пострадавшим за букву «и» в слове «Иисус».

* * *

— Ян, — говорила Вера Николаевна, торопливо запихивая в сумку какие-то продукты и лекарства, — заболела Вера Зайцева, пойду посижу с ней. Может, банки или горчичники поставить надо. Борис вроде тебя, ничего толком не может. Э-эх, все-то на нас, женщинах, держится...

Уже стоя в дверях, спохватилась:

— Господи, чуть не забыла! Вот на столике сто франков, отдай хозяйке за квартиру. Заплатим — и дело с плеч, не то растратим, опять в должниках насидимся.

На лестничной площадке она столкнулась с Володей Сосинским, начинающим литератором, бодрым доброже-

лательным человеком. Его приход удивил, ибо был он из другой «стаи», где метрами являлись Цветаева и Ремизов. Кстати, с Цветаевой они жили даже в одной квартире — в доме № 8 по рю Рувэ.

Итак, Вера Николаевна, раскланявшись с приятным молодым человеком, не подозревая худого, отправилась к Зайцевым.

Тем временем гость объяснял Ивану Алексеевичу причину своего визита.

— Шестого февраля имеет быть вечер Марины Ивановны Цветаевой, — говорил Сосинский, радостно улыбаясь, словно сообщал какую-то необыкновенную счастливую весть. — Сочли за честь пригласить вас, Иван Алексеевич, просить... украсить присутствием... Марина Ивановна так будет рада!

Бунин уже немного знал этого молодого человека. Несколько месяцев назад «Последние новости» проводили конкурс на лучший рассказ — специально для литературного молодняка. На его взгляд, рассказ Сосинского «Алаид» был лучшим, но тогда редакция отдала ему лишь второе место. И вот эту самую премию Бунин и вручал ему, сказав какие-то добрые напутственные слова. Но при этом не забыл уколоть Сосинского, напомнив, как тот постоянно говорит о «зажиме молодых» старыми писателями, в том числе и Буниным.

«Плохи дела у Цветаевой, если даже ко мне гонцов присылают», — подумал Иван Алексеевич с чувством естественного беспокойства, ибо у него в кошельке лежало всего несколько монет. Билет надо купить обязательно, это дело чести, да где деньги взять?

— А вы у Цетлиных были? — словно так, между прочим, поинтересовался Бунин.

— А как же! — воскликнул Сосинский. — Они за два билета пятьдесят франков отвалили. Щедрые люди, всегда хорошо платят.

Бунин мучительно соображал: где найти выход из этого щекотливого положения? И вдруг его осенило.

— Молодой человек, — сказал Иван Алексеевич с великолепной небрежностью, — дайте мне один билет и возьмите сто франков, которые лежат на столике...

Они прощались почти друзьями. Бунин шутливым тоном спросил:

— Ну-с, молодой человек, опять меня шпынять начнете...?

Сосинский даже удивился:

— Какие могут быть сомнения, Иван Алексеевич? Я преклоняюсь перед вами — как перед великим писателем и человеком, но там — дело принципа.

Бунин расхохотался:

— Кому первая чарка, тому и первая палка! Это у нас в Ельце солдат так говорил.

Сосинский действительно «принцип держал». Об этом читатель скоро узнает. А пока приведем интересное письмо этого незаурядного человека, которое он написал своей невесте Ариадне Черновой (ее, кстати, очень любила М. И. Цветаева) на следующий день после вечера — 7 февраля 1926 года: «...Как радостно на Рувэ! Огромная прекрасная победа Марины Ивановны. К 9-ти часам весь зал был полон — публика же продолжала наплывать... Растерянные, смятые публикой контролеры, сбившиеся с ног распорядители — картина грандиозная! Ну и как обычно у нас случается — полно безбилетников.

Марина Ивановна не может пройти к своей кафедре. Мертвая недвижная пробка людей с дрожащими в руках стульями над головами, затерли ее и Алю (дочь М. И. Цветаевой. — *В. Л.*). Марине Ивановне целуют руки, не пропустить не в силах. Вова Познер (поэт, критик, позже стал французским писателем. — *В. Л.*), балансируя стулом, рискуя своей жизнью, умудряется наклониться к руке Марины Ивановны. Чей-то стул из рук пируэтом падает на голову какой-то величавой дамы. В результате — великая правда Божья: все, купившие дешевые пятифранковые билеты, удобно сидят. Цетлины, Познеры, Милюков, Маклаков, — толкутся в проходах. Лев Шестов устроился прямо на полу возле сцены.

Марина Ивановна, каким-то чудом сумевшая не пострадать в давке, восходит на высокую кафедру. Твое черное платье с замечательной бабочкой сбоку, которую вышила Оля (сестра Черновой. — *В. Л.*), очень к лицу М. И. Читала она прекрасно, как никогда. Публика устала хлопать, многие знают ее стихи наизусть. Вначале она читала стихи о Белой Армии. Затем всплеск удовольствия вызвало любимое тобою:

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится.
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер — в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.

...Да, Адя, видел своими глазами — у многих литераторов вместо зависти — восторг. Как хорошо! Если бы навсегда можно было заменить зависть — восторгом...

Сейчас вышел на кухню. Марина Ивановна с красными глазами, ибо чистит лук, готовит ужин. Ждет гостей. Тебе — от нее — привет!»

Бунин на вечере не был: и по нездоровью, и по своей нелюбви слушать чьи-то стихи с эстрады. Когда Вера Николаевна услыхала путаный рассказ мужа о ста франках, то не в шутку перепугалась: «Не лиши, Господи, Яна разума...» Но вслух не сказала ни слова. Лишь тихонько поплакала у себя в комнате.

* * *

Весною Иван Алексеевич вновь перенес операцию, поправлялся медленно. Страдал головными болями. Едва окреп, перебрался на лето в Грас. Порог «наемного дома» перешагнул 9 мая.

Он жил в одиночестве, но не скучал. Великолепная южная природа его утешала. Дни он проводил в творческом бездействии. Если прежде он писал почти все летом, уезжая на юг, то теперь ничего не выходило из-под его пера. Лишь подготовил к печати почти не переработанный собственный дневник за февраль — март 1911 года — о путешествии на остров Цейлон.

Стихи он оставил вовсе.

Порой, не очень часто, приезжали гости. Говорили о русской литературе. Когда Фондаминский, нагрянувший теплым майским днем и привезший книгу Евгения Чирикова, стал хвалить его, Бунин, не терпевший пошлости в литературе, стал возражать.

— Эти Чириковы, Мережковские, Гиппиусы всё к вкусам публики приспосабливаются, — говорил он. — И делают это ловко, даже с какой-то удивительной грациозностью, за которую прячут свою бездарность. Вы посмотрите на Мережковского — он ведь великолепный актер, — и ноги расставляет, и кривится, и шепотом говорит, и опять голос поднимет.

И тут Иван Алексеевич представил Мережковского — то бесом, то юродивым. Вышло очень похоже. Вера Николаевна и Фондаминский расхохотались.

— Все это на людях, изображают из себя пророков и прорицателей. Но, стоит дойти до практического дела — говорят нормально, без юродств и завываний. И так дурачат публику уже лет сорок!

Приехав как-то в Канны, Бунины встретили Цетлин, которая сняла здесь на лето дачу. Она зазвала их к себе. Читала письма Ходасевича, с которым находилась в бурной переписке, как и с его женой Ниной Берберовой, писательницей.

После смерти Гиппиус, когда ее архив разлетелся по свету, эта переписка стала известна. В ней много об Иване Алексеевиче. После упомянутой встречи она писала: «В умах литературных властителей «воцарилась идея» (не без влияния Бунина), что здесь в эмиграции теперь *невозможно* беллетристическое, новое творчество. Стихи, мол, ну еще кое-как... Или статьи... Но беллетристов нет и не будет, и нечего молодых искать».

А вот отрывок из письма Гиппиус Берберовой в октябре 1926 года: «Хочу вам «посплетничать»: сегодня я видела Бунина, и совершенно неожиданно он мне говорит:

— Я очень обижен, что меня не пригласили в «Новый дом» (журнал молодых в Париже, выходил в середине 20-х годов. Впрочем, печатались там и зрелые писатели, как Гиппиус. — *В. Л.)*.

— Я: — Да ведь вы все равно ничего не дали бы, вы вот и в «Возрождении» старые рассказы печатаете, притом плохие, да еще телепатией их портите. (Вставка: мы с Буниным были друзья, теперь приятели, но я всегда все ему говорю в глаза, совершенно прямо. Впрочем, я очень давно держусь правила говорить и о ком-нибудь за глаза только то, что могу или могла бы сказать в глаза...).

Бунин продолжает: ну и не дал бы, а все-таки Ходасевич мог бы меня позвать.

Я: — Это вовсе и не Ходасевич, это «мальчики и девочки»...

На мой взгляд Бунин вам реальной пользы не даст, а «имя» — свяжет, если кто-нибудь захочет (я, например) написать о нем по существу, а не только накадить обыкновенного, кульмановского, фимиаму...»

Это письмо очень любопытно. Дело не только в том, что в каждой строке сквозит недоброжелательство к Бунину, хотя его Гиппиус называет своим «приятелем» (каковым он не был). В письме ясно видна та позиция Мережковских, о которой мы упоминали выше: принизить значение Бунина, по возможности «оттереть» его от литературы (что, впрочем, было сложно) или не дать возможность литературно заработать (что было сделать в данном случае легко, ибо Ходасевич и Берберова не испытывали к Бунину особой приязни).

Гиппиус норовила внушить мысль: Бунин — сила, которая всячески затирает литературный молодняк, не дает ему хода. Эту идею она ничем не обосновывала, но разве клевета нуждается в обосновании? Просто супруги Мережковские считали, что чем больше врагов будет у Бунина, тем для них, Мережковских, лучше.

Что касается «молодняка», то Иван Алексеевич действительно заявлял: русская литература на чужбине закончится представителями старшего поколения — Шмелевым, Куприным, им самим — Буниным. Молодые на чужой почве лишены тех соков, которые питают творчество. Молодые обижались.

На вечерах, диспутах, лекциях, чуть не ежедневно проходивших в Париже, молодые умоляли:

— Дайте нам место на страницах газет и журналов!

Увы, лишь считанные единицы пробились в высший литературный свет — Лев Тарасов (Анри Труайя), Владимир Набоков, Марк Алданов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева...

Даже до США долетели «скорбные голоса» литературного молодняка. Газета «Новое русское слово» поместила заметку о собрании парижского кружка «Кочевье». Секретарь журнала «Воля России», знакомый нам В. Б. Сосинский выступил с докладом, который «отличался большими резкостями и по существу, и в деталях. Главные тезисы сводились к следующему.

Старые писатели совершенно не желают поддерживать молодых. Более того — они считают молодых своими врагами, видя в них конкурентов. Не только не помогают молодежи пробиться вперед, но относятся к ней презрительно.

Сосинский обрушивается на «Современные записки» и рассказывает, что одному молодому писателю в редакции как-то заявили:

— Из молодых мы печатаем только Алданова!

Сосинский очень резко говорил об Иване Бунине и обмолвился фразой, которая шокировала большинство собравшихся:

— Максим Горький в СССР относится гораздо сочувственней к эмигрантской литературной молодежи, чем Бунин, проживающий в эмиграции.

Чуть позже «Воля России» продолжила тему о «литературном молодняке»: «Современные записки» не публикуют не только начинающих. На ее полосах не хватает места даже таким маститым, как Куприн и Сургучев. Что делать! Авторов много — «Современные записки» одни. На всех не хватает. «Зато их не смущает, вероятно, прежнее участие Алексея Толстого, улетевшего в СССР», — с ехидством замечал автор заметки.

О печальной участи несостоявшихся писателей было сказано много. Были среди них разные — и бездари, и таланты. Они хотели служить «русской культуре и русскому духу» и пытались это делать упорно, стоически. Валясь от изнурительной работы на заводе «Рено», помирая с голода, ютясь на чердаках — они находили в себе желание и силы что-то сочинять, что-то творить. Но усилия их были бесплодными и другими не могли быть.

Впрочем, Бунин, не меньше молодых переживавший те трагически-исключительные условия, в которые они все попали на чужбине, с недоумением и вполне искренне вопрошал:

— Что же, уехал я из Белевского уезда, значит, и перестал быть русским писателем? Не воспринимаю больше все краски мира? Потерял вкус и чутье?

Этот вопрос — западня. Утвердительный ответ был бы абсурдным. Дело в другом: Бунин покинул родину сформировавшимся художником, в силу своей необычной восприимчивости весь насквозь пропитанный запахами, звуками, красками России. Беспрерывная, неутихавшая тоска по родине только усиливала, как мембрана, эти звуки, обостряла восприятие. Заключенный в камере вспоминает утерянный мир еще более красочным, чем, быть может, воспринимал прежде, когда жил в нем. Иван Алексеевич писал о России так, как пишет влюбленный предмету своей страсти — той, которую уже никогда ему не видеть, но чувства к которой с каждым днем накаляются все более и более. Не зря Бунин повторял древнюю мудрость: воспоминания — это нечто ужасное, что дано человеку.

Но вспоминать можно лишь тогда, когда было прошлое.

За молодыми, начавшими писать в эмиграции, прошлого в России, как правило, не числилось — или почти не числилось. Все они покинули родину с несформировавшейся психикой, совсем юными, без опыта литературной работы. Они могли бы в основу творчества положить новую жизнь, но и этого не случилось — слишком чужда восприятию русских людей оказалась заграничная действительность, она не питала их вдохновения, не наполняла чувства. Но ведь культура и искусство — понятия динамические...

Литература всегда должна идти вперед, но здесь движение прекратилось, ибо эмигрантскому молодняку сказать было нечего. Может, поэтому, Алданов писал в основном о прошлом, а Сирин-Набоков, по общему приговору — писатель вне среды, вне страны, вне остального мира. Обращением к самому автору звучат слова героя романа Набокова «Приглашение на казнь»: «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека говорящего; или еще короче: ни одного человека».

Впрочем, эти слова мог отнести к себе всякий русский, оказавшийся вне пределов родины. И в первую очередь — пишущий русский, ибо, повторимся, книжный рынок сократился до катастрофического предела и продолжал постоянно делаться все уже и уже. Нельзя парить на крыльях вдохновенья и постоянно испытывать ощущение безвыходности в чуждом, коснеющем мире.

...Так что не Бунин виноват, если молодая русская литература за рубежом не получила развития. Виноваты те условия, в которые эта литература попала.

ГЛАВА XV

Словно разморенная жарой августовского дня, морская волна лениво наползала на прибрежный песок и так же неспешно уходила обратно, оставляя после себя темную полосу. Небосвод пламенел багровым закатом, обещая душный вечер.

С молодым озорством разбрызгивая стремительным бегом воду, поджарый, крепкого сложения человек нырнул в морскую глубь и долго не появлялся на поверхности. Затем его голова показалась далеко от берега.

Мощно работая ногами, врезаясь широкими гребками в воду, он уплывал все дальше и дальше.

Вдосталь наплававшись, он вылез на берег, слегка пошатываясь от приятной усталости и оставляя узкими пятками глубокие следы, тут же наполнявшиеся водой, направился вдоль полосы прибоя.

— Иван Алексеевич, Иван Алексеевич!

Размахивая руками, жизнерадостно улыбаясь, к Бунину спешили тщедушный человечек с какой-то женщиной. Когда они приблизились, он узнал историка литературы и пушкиниста Модеста Гофмана. Рядом с ним стояла миловидная, чуть полноватая молодая женщина, невысокого роста, но сложения все же приятного. Весь вид ее выражал особого рода покорность, податливость, что всегда ценится мужчинами.

После горячих приветствий Гофман жизнерадостно произнес:

— Мне сказали, что вы приехали в Жун-ле-Пэн и остановились в «Русском доме». Вот мы с Галиной Николаевной, моей соседкой по отелю, большой поклонницей вашего таланта, поспешили к вам, Иван Алексеевич, в гости. А Вера Николаевна сказала, что вы не утерпели, побежали купаться на этот пляж. Мы за вами... Но, доложу вам, вы плаваете как заправский спортсмен!

Вдруг спохватившись, он оглянулся на свою спутницу:

— Позвольте представить — Галина Николаевна Кузнецова, поэтесса.

Она так ласково, так зазывно взглянула своими большими глазами на Бунина, что у того в сладком предчувствии похолодело в груди. Он молча смотрел на нее, подыскивая какую-нибудь приличную моменту фразу, желая сказать что-нибудь естественное, не банальное, но слова шли на память все какие-то убогие, вычурные.

Легким, непринужденным движением она протянула ему тонкую, изящную кисть. С давно не испытанным волнением он задержал ее в своей руке и почувствовал, что все идет крýгом и все во вселенной исчезло, все — кроме нее, о встрече с которой, казалось, мечтал всю жизнь, день за днем.

Его выручила память:

— Я помню ваши стихи, — живо произнес Иван Алексеевич. — Я читал их в «Благонамеренном».

Она счастливо удивилась, заулыбалась, и улыбка очень красила ее лицо:

— Спасибо! — Ее голос звучал благодарно и робко. — А я-то была уверена, что стихи никто не заметил.

— Еще как заметил! И даже запомнил.

Иван Алексеевич вдруг почувствовал необыкновенный внутренний подъем и, удивляясь самому себе, что он действительно помнит ее стихи, которые когда-то, месяца два-три назад видал в журнале, который князь Дмитрий Шаховской выпустил в Брюсселе, начал читать:

Почувствовать свое предназначенье
Сгибать мечту, как самый страстный лук,
И падать в раскаленное теченье
Неутоляемых летами мук...

Он замялся, но она тут же пришла на выручку и продолжила:

Всю жизнь следить с берегового вала
Нездешнего круженье корабля...
Мне — правнучке упрямого Дедала —
Отмерена смиренная земля...

Галина спохватилась:

— Какая глупость — в вашем присутствии читать свои стишата. Надо вас — слушать и слушать. Когда мне было пять лет, мне на рождество подарили вашу книгу — «Полевые цветы». Наверное, смешно, но под елкой я читала стихотворение «Летняя картина». Я его и сейчас помню. Хотите, прочту?

Бунин согласно кивнул. Едва заметно заикаясь — природный дефект, она весело продекламировала:

Там, где тенистыми шатрами
Склонились ивы на затон,
Весь берег с темными садами
В зеркальной влаге отражен.

Там, где широкой мягкой тенью
Сокрыта в зелени река,
Все веет сладостною ленью,
Под тихий шопот тростника.

Там, отдыхая, сердце дремлет,
Когда закат горит в огне,
И чутко в сонной тишине
Вечерним летним звукам внемлет.

Бунин был растроган и думал: «Неужто это та самая встреча — долгожданная и счастливая... Господи, сколько ждал ее! Лишь бы не ошибиться, лишь бы не отпугнуть это удивительное существо, подобных которому еще никогда и нигде не встречал!»

Гофман давно куда-то исчез, и как это произошло, Бунин не заметил. Неожиданно для себя он спросил:

— Вы замужняя?

— Да, он, как и я, из Киева. Юрист по образованию.

— А что теперь делает?

Она вздохнула:

— Что он может делать? Шофер такси. Его зовут Дмитрий Петров.

— Он не заревнует?

Она неопределенно и с легким пренебрежением махнула рукой и спросила:

— Вы надолго сюда?

— Да нет, недели на две, на три. А вы?

— Через девять дней у Дмитрия кончается отпуск, вернемся в Париж.

У них без конца возникали друг к другу вопросы, они едва успевали отвечать друг другу. Он не заметил, как взял Галину за руку, и та ответила ему ласковым пожатием.

— Давайте увидимся через час у ресторанчика? — попросил он.

И хотя они оба знали, что уже завтра все курортное местечко будет судачить о них, они вечером пошли в ресторан. С Буниным постоянно раскланивались, почти все русские знали его в лицо, на них смотрели, их обсуждали.

Они пили хорошее красное вино, танцевали танго, и старый еврей-скрипач играл так, словно наступил последний день его жизни. По московской привычке Бунин через официанта передал ему пятьдесят франков. И скрипач, глядя на их столик выпуклыми темными глазами, заиграл так жалостно, что хотелось плакать.

...Они ушли далеко-далеко к молу. Звезды скатывались с неба, и он загадал желание. Море с тихим шумом выкатывало на берег волны, а какая-то запоздалая чайка кричала резко и жалобно, словно предрекая этой встрече роковую развязку.

* * *

Целые дни Иван Алексеевич проводил вместе с Галиной. Вера Николаевна и прежде не любила ходить на пляж и никогда не принимала морские ванны. Теперь она попросту сделалась бы там лишней.

Муж Галины — Петров, давно привык к самостоятель-

ности жены и поначалу не обращал внимания на ее дружбу с Буниным. Но когда он увидал, что Галина приходит домой лишь переодеваться и ночевать, что ее самостоятельность перешагнула привычные пределы, он попытался ее облагоразумить.

— Если тебе не нравится отдыхать со мной, можешь уезжать, — спокойно заявила Галина.

Он смирился, а вскоре действительно пришла пора покидать Жуан-ле-Пэн: кончился его отпуск.

Теперь его ожидал новый удар.

— Что я буду делать сейчас в Париже? — спросила Галина мужа. — Изнывать от жары? Я остаюсь на некоторое время здесь...

— Что? — Дмитрий остолбенело взглянул на жену. Ему показалось, что он ослышался. — Ты, Галя, хочешь сказать...

— Я уже сказала! — отрезала она, всем своим видом показывая, что вопрос этот уже решен и она не собирается его обсуждать.

Дмитрий медленно, словно приходя в себя после тяжелого обморока, прошептал:

— А что же... А как же я? Я уеду один, без тебя?..

Он замотал головой, все более и более повышая голос, требовательно заговорил:

— Нет, ты поедешь со мной! Вместе приехали — вместе уедем... Да, теперь я понял, — просто и горько сказал Дмитрий. — Мне говорили, а я, слепец, не видел, не хотел видеть... Ты — и Вадим Андреев, ты — и Сосинский, а вот теперь — живой классик! Но теперь не выйдет...

Он хотел схватить ее за руку, но она вырвалась:

— Прекрати! Какую чушь ты несешь?

Дмитрий возвышался над ней всем своим большим ростом, тяжело упираясь волосатыми кулаками в край дубого гостиничного стола.

— Ты поедешь со мной? — уже просительно произнес он.

— Нет! — твердо повторила Галина.

— Пока что ты моя жена и ты будешь подчиняться мне.

— Вот еще! Как крепостная крестьянка — барину и благодетелю, должна я отрабатывать постельную барщину? Не выйдет! Ты больше бы о семье беспокоился. Но ты ничего не можешь, ты плывешь как щепка в луже...

Дмитрий нервно двинул кадыком и порывисто произнес:

— Выбирай — я или Бунин?

Галина спокойно и иронически усмехнулась:

— Не бойся, не ты! Лучше — день с Буниным, чем всю жизнь с дураком-мужем.

...Ранним утром Петров из гостиницы уехал. Галина осталась на курорте.

Покинутые любимыми всегда ищут сочувствия. Петров поделился своим горем с поэтессой Ириной Одоевцевой, которая стала близкой свидетельницей продолжения этой истории. Она писала в Москву 30 сентября 1969 года писателю Н. П. Смирнову:

«...Петров носился с мыслью об убийстве Бунина (какая бы это была потеря для литературы!), но пришел в себя и на время покинул Париж.

Вера Николаевна сначала просто сходила с ума и жаловалась всем знакомым на измену Ивана Алексеевича. Но потом И. А. сумел убедить ее, что у него с Галиной только платонические отношения. Она поверила и верила до самой смерти. Вера Николаевна поддерживала с Галиной переписку даже после ее разрыва с Иваном Алексеевичем...»

«6 февраля 1970 года... Продолжаю их «печальную повесть». Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем в Париже, она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда два раза в день навещал Бунин, живший совсем близко.

Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и жаловалась: «Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать!»

Даже у портнихи и у парикмахера она, не считаясь с тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это положение длилось довольно долго — почти год, если я не ошибаюсь.

Но тут произошло чудо — иначе я это назвать не могу: Бунин убедил Веру Николаевну в том, что между ним и Галиной ничего, кроме отношений учителя и ученицы, нет. Вера Николаевна, как это ни кажется невероятным, — поверила. Многие утверждали, что она только притворилась, что поверила. Но я уверена, что действительно поверила. Поверила оттого, что хотела верить.

В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать «членом их семьи».

Как бы там ни было, Галина удивительно хорошо сумела войти в свою роль приемной дочери и всегда на людях относилась к Вере Николаевне не только с почтением, но и с нежностью. Она действительно была обезоруживающе мила, послушна и безропотна. Гораздо милее и добрее, чем в своем «Дневнике» *.

Вообще, и Вера Николаевна, и особенно Бунин относились к ней как к маленькой дочери и докучали заботами: «Застегните пальто, Галя. Не идите так быстро, устанете! Не ешьте устриц. Довольно танцевать!»

Она слушалась и только улыбалась.

Когда мы вместе бывали на каких-нибудь вечерах, она, выпив немного вина, облокачивалась о стол и, глядя на меня своими прелестными серыми глазами, вздыхала и, слегка заикаясь — что у нее получалось очень мило, — повторяла все одну фразу: «Ах, Ирочка, разве мы, женщины, сами устраиваем свою судьбу?» После чего две слезы — никогда не больше двух — скатывались по ее щекам.

Конечно, она не была счастлива. Ей было смертельно скучно в Грасе, и жилось там им всем нелегко».

«12 апреля 1970.

...Вы не совсем ясно представляете себе Галину. Нет, ни на Беатриче, ни на Лауру она совсем непохожа. Она была очень русской, с несколько тяжеловесной славянской прелестью. Главным ее очарованием была медлительная женственность и кажущаяся покорность, что, впрочем, многим не нравилось».

В этих сведениях много верного, хотя их автор не сумела удержаться от ироничного тона. Но даже Одоевцева, близко стоявшая к участникам этой истории, не разглядела все-таки того, кем была Кузнецова для великого писателя!

* * *

Итак, с весны 1927 года Галина Кузнецова переехала в грасский дом Бунина. Взлетевшая на самый верх провансальского городка, вознесшаяся над хаотическим на-

---

* Имеется в виду «Грасский дневник» — воспоминания Г. Н. Кузнецовой (Париж, 1967). В сокращенном виде опубликован в 84-м томе «Литературного наследства» (М., «Наука», 1973, кн. II).

громождением валунов, вилла «Бельведер» открывала своим жителям чудный вид на далекие горы Эстереля и более близкие холмы, украшенные древними домами. На самом горизонте в ясные дни можно было разглядеть беспредельную синеву моря.

Все изгороди «Бельведера» увиты розами. Галина ежедневно приносит громадные букеты и заставляет ими дом. Иван Алексеевич любит цветы, но говорит, что лучше, когда они не сорваны и им не уготовано быстрое увядание.

Эти места каким-то образом связаны с самим Наполеоном. Верхняя площадка, словно вымощенная большими, блестящими под южным солнцем камнями, служила, согласно преданию, местом прогулок Полины — сестры-красавицы полководца. Круто спускающаяся вниз дорога называется Наполеоновой. Она тянется вдоль густых чащ, напоенных запахом хвои и горных цветов. Со скал стекает цепкий плющ. Ветер гуляет по верхушкам вековых деревьев, создавая глухой меланхоличный ропот.

— В какой красоте живем! — то и дело произносит Иван Алексеевич, в какой уж раз обводя взором окружающую природу, полной грудью вдыхая чудный воздух.

Потом он предлагает:

— Пошли в набег за черешней!

Внизу стоит необитаемая «Монфлери». Замечено, что она приносит несчастье тем, кто в ней живет, — совсем недавно умерла молодая женщина, там поселившаяся. Умирали в ней и те, кто жил прежде.

В Бунина это вселяет мистический ужас — он вообще верит во всякого рода приметы. «Во-время мы убрались из «Монфлери», — говорит он, потирая руки. — Может и выдумки — вся эта смертная жуть, а может и нет!»

Но в саду этой страшной виллы поспели крупные, налитые темным соком черешни. Бунин возглавляет «набег». Он спускается со скалы, продирается через заросли чертополоха и плюща — это прямая и короткая дорога от «Бельведера». За ним, вскрикивая от страха упасть на камни, и от царапин, получаемых от диких кустов розы, пробирается Галина. Ее поддерживают два других обитателя бунинского крова — Илья Фондаминский и Николай Рощин.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна в начале года перенесли операции и теперь приходят в себя, набираются сил.

— Вопреки отчаянным усилиям медиков больным удалось выжить! — мрачно шутит Бунин.

А смертей много. Газеты то и дело публикуют некрологи. В феврале того же двадцать седьмого года умер Семен Юшкевич, чуть позже — Сергей Иванов, Дмитрий Кузьмин-Караваев, все — добрые друзья Бунина.

— Я одно время недоумевал, — сказал однажды Иван Алексеевич жене, — почему так много смертей в нашем эмигрантском мире. Ведь умирают не только от бедности или болезней. Порой «освобождение» даже невозможно объяснить — не старый, не болел и вдруг — на тебе! И ты знаешь, о чем я подумал? Умирают от тоски... по дому.

В конце апреля отметили двадцатилетие совместной жизни. Выпили бутылку виноградного вина — сидели вдвоем, грустные, каждый думал о своем.

Иван Алексеевич тихо произнес:

— Спасибо, Вера, тебе за все. Ты сделала для меня куда больше, чем представляешь. Без тебя я написал бы разве столько? Нет и нет. Без тебя бы я пропал!

Вера Николаевна тихо всхлипнула, прижалась к его плечу:

— Спасибо и тебе, Ян! Ты научил меня смотреть на мир широко открытыми глазами, научил чувствовать. Научил читать Евангелие. Ты много радости дал мне.

— Да, бранились мы много! Зато более пяти минут друг на друга не сердились.

Вера Николаевна в тот день записала в дневник: «20 лет! Срок немалый... Хочется, чтобы конец жизни шел под знаком Добра и Веры. А мне душевно сейчас трудно, как никогда. И я теряюсь и не знаю, как быть. Вот когда нужны бывают старцы. По христианству надо смириться, принять, а это трудно, выше сил...»

Увы, ревность — чувство бесплодное.

* * *

«Бельведер» просыпается рано. Солнце только что поднялось из-за моря. Снизу, из грасских долин, покрытых туманной дымкой, поднимается острый аромат жасминовых и розовых плантаций. В воздухе бесконечный птичий треск и гам.

Ритм жизни задает хозяин. С обнаженным торсом, в светлых шортах чуть выше колен, он слегка ежится: воздух еще прохладен. Затем Иван Алексеевич начинает

выполнять гимнастические упражнения: разводит руки, делает ими круговые движения, наклоны туловища, «бокс».

— Эй, сони! — разносится его голос. — Вставать пора!

Кузнецова продолжает дрыхнуть — читала до полуночи. Рощин и Фондаминский присоединяются к Ивану Алексеевичу, изображают из себя чемпионов по спортивной гимнастике.

— Эх, жаль, до моря далеко, — вздыхает Бунин. — Каждое утро могли бы плавать.

Тело у него сухое, крепкое, движения правильны, четки — любо-дорого смотреть.

Фондаминский быстро выбывает из игры, а Бунин с Рощиным начинают соревноваться в прыжках. Николай Яковлевич моложе на четверть века, сложения крепкого, но не может улететь так далеко, как Иван Алексеевич.

— Слабак! А еще в военном училище обучался, — усмехается Бунин. — Здоров на еду, да на работу хил. А ведь в здоровом теле — здоровый дух.

Из печной трубы уже воскуряется дым. То Вера Николаевна готовит «спортсменам» завтрак.

В этот момент появляется почтальон: целый ворох писем Бунину — изо дня в день.

Пишут из всех концов русского рассеяния — начинающие писать совета спрашивают, известные литераторы — поздравляют с выходом книги, читатели — этих больше всего! — восторгаются, просят помочь материально или какого наставления в жизненных делах ждут. Ему все это льстит, но утомляет — разве всем ответишь? А материально рад бы помочь, да чем? У самого дела бедовые.

Просыпается, разбуженный общим весельем и шутками, столь обычными для этого дома, общий любимец — громадный, полудикий кот, откуда-то забредший на виллу (не из леса ли?). Лишь Ивану Алексеевичу он позволяет себя ласкать, на остальных щетинится с сердитым шипением.

Впрочем, дети и животные всегда любят Ивана Алексеевича, как и он их. Опрокинув кота на спину, он гладит его пузо со свалявшейся густой шерстью. (Когда кот внезапно исчез, как и появился, Бунин жалел его и скучал.)

«Вокруг имени И. А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце». Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивитель-

ного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека...» — писал Рощин.

...Но вот раздается команда:

— Работать, работать! Все «по кельям», хорошо смазал — весело поехал! — И Бунин направляется к себе, чтобы сесть за письменный стол. — Галя, долго сегодня спали! Только в вашем возрасте и можно дать хороший закал для будущего. Что припасешь, то и на стол понесешь.

Кроме стихов, Галина писала и художественную прозу. В ее рассказах, как, впрочем, и в романе «Пролог», мало внешней занимательности (как часто у самого Бунина). Но хорош язык, ярки зарисовки природы, психологически убедительны действующие лица. Читая книгу, невольно вспоминаешь строки из письма важного свидетеля — Бахраха: «Что «Пролог» был ретуширован более профессиональной рукой — сомнений мало. Это делал он и с другими учениками. А тут почти что-то домашнее (в то время), да и без Ивана Алексеевича «Современные записки» оной книги никогда бы не выпустили».

Пишут и остальные. Вера Николаевна — дневники. «Многие историки современной литературы дорого дали бы за обширные ее дневники. Сколько воспоминаний, сколько литературных встреч, и не случайных: вернее и не встреч даже, а литературных дружб — ведь почти вся жизнь ее прошла в кругах литературных, и нет, кажется, ни одного более или менее крупного литературного имени на горизонте нынешнего столетия, о ком не могла бы она рассказать много — иногда очень много — интересного, живого, своеобразного», — писал в рижской газете «Сегодня» 1 января 1929 года Николай Рощин.

Сам Николай Яковлевич старательно писал «под Бунина». Иван Алексеевич поправлял его, наставлял избегать «газетного языка».

Так что не случайно в парижских литературных кругах «Бельведер» называют «монастырем муз». И это очень верно. В простом и аскетическом укладе жизни «Бельведера» есть что-то монастырское.

Кузнецова призналась:

— Никогда прежде не думала, что вы, Иван Алексеевич, так легко можете обходиться без парижских кафе и ресторанов. Вы оказались просто... фанатично преданным писательской профессии.

Бунин отшутился:

— Паши не лениво, пожнешь счастливо!

Потом, посмотрев на сильный загар Галины, на ее исцарапанные руки, ноги, обутые в простые полотняные туфли без каблуков и завязывающиеся витыми переплетающимися между собой тесемками, успевшее выгореть синее ситцевое платье, участливо спросил:

— Наверное, скучно со мной, стариком, в этом безлюдье? Ведь вам, молодой, красивой, разве утешиться, как мне, одной работой? Чтобы стать настоящим писателем, надо отречься от жизни.

— Не знаю! — честно призналась она. — Рядом с вами я опять чувствую себя подростком. Мне трудно представить, что у меня была другая жизнь, что была я замужем, пережила войну, революцию, разрыв с Петровым. Какое веселье теперь может быть? У кого оно? Я не знаю...

Бунин, растроганный ее откровенностью, через несколько дней взял да махнул с ней в Канны. После купания направились в ресторанчик. Разместились на открытой площадке с видом на море. Зажигательный джаз-банд играл чарльстоны. Саксофонист-негр — верзила в белом смокинге, изгибаясь змеей над своим инструментом, издавал нежные виртуозные пассажи. Ударник, молодой рыжий парень с тонкими усиками, с обезьяньей ловкостью подкидывал и ловил палочки, ни разу не сбившись с ритма.

Три пары перед эстрадой танцевали, а Галина, слушая музыку, вся расцвела. Иван Алексеевич взял ее за руку, и они вышли из-за столика, присоединились к танцующим. Галина глядела на него благодарно и влюбленно.

— У вас получается, как у профессионального танцора, — сказала она, усаживаясь на место. Оркестранты ушли на перерыв.

Он лишь улыбнулся. В этот момент ему нельзя было дать больше сорока.

* * *

Благоухала южная природа, заманчиво шумел морской прибой — звал в дальние странствия, он же спешил за рабочий стол. Бунин задался гигантской задачей — отбросив случайное, незначительное, дать правдивый отчет о своей жизни. Нет, это не художественная био-

графия — все выше по замыслу, труднее по воплощению. Это *опыт* перевоплощения в самого себя.

Так родилась «Жизнь Арсеньева» — *стихотворение в прозе* — по форме, *философская поэма* — по содержанию: так критика определила эту необычную книгу.

«Война уже заставила почувствовать Бунина себя русским. Но это было в плане так сказать земном, политическом, национальном. Теперь, за рубежом, переживая наново свою жизнь... Бунин наново перечувствовал и передумал все таящееся в нем русское, все то, что отобразилось в нем от России и русских. И наряду с «Жизнью Арсеньева» начала расти в этом произведении эпопея России, — это из первой биографической книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество» («Парабола», 1934 год), автор — Кирилл Зайцев.

Господи, как она, эта Россия, непохожа на ту, которую мы знаем по прежним бунинским произведениям! Мрак владел почти без остатка той Россией, прежней, — теперь свет струится от ее образа, воскрешенного гением поэта... Правда высшая сияет в «Жизни Арсеньева»: тут запечатлен лик России не временный и искаженный, а вечный, метафизически просветленный. В соответствии со всем тонусом изложения и Россия Арсеньева как бы одухотворена...»

И потрясающее душу признание, вырвавшееся из души Бунина: «Нет, это неправда — то, что я говорил о готических соборах, об органах: никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвижения в эти темные и глухие вечера...» Это признание в любви к России!

ГЛАВА XVI

Парижские газеты к 10-летию Советской власти заполнили материалами о ней свои полосы. «Последние новости» писали: «Сейчас установлено и признано почти единогласно: Октябрь в России был неминуем!»

До Бунина дошла статья «10 лет литературы за рубежом» видного советского критика Дмитрия Горбова, опубликованная в журнале «Печать и революция» (1927, № 8). Автор утверждал: «Когда придет время писать историю литературы нашего периода, встанет вопрос: кто был наиболее крупным художником этого времени? Мы едва ли ошибемся, если скажем, что в ответ на

него будут произноситься два имени: Горький и Бунин. Эти художники полярны... Бездна, разделяющая эти два художественные мастерства, — только отражение той бездны, которая легла между двумя социальными мирами, к которым принадлежат эти художники».

Критик высоко оценил писательский дар Бунина, его «утонченное мастерство», отметил, что это слишком большой художник, чтобы лгать. Но «это художник, слишком глубоко сидящий корнями в недрах своего класса» — дворянского, стало быть, чуждый новой России.

В обширной статье, имевшей большой резонанс, был сделан обстоятельный разбор эмигрантской литературы. Упоминание Бунина мы встречаем чуть ли не в каждом абзаце: подчеркивалось его «формальное мастерство», резко критиковалась его позиция. Автор статьи делал выводы: «Бунин, Зайцев, Мережковский, Гиппиус и др. явно дописывают последнюю главу уже законченного периода в развитии русской литературы. Лучшие их произведения — это зеленые побеги, которые продолжает давать дерево, уж срубленное под корень».

— Если я срублен как бесплодная смоковница, — возмущался Иван Алексеевич, — то почему же в России продолжают регулярно выходить мои книги? * Разрешения печатать никогда не спрашивают, гонорары не платят...

Но это было полбеды — статья Горбова. Беда пришла позже, спустя несколько месяцев.

Как-то морозным утром, раскрасневшаяся, в обрамлении дорогих мехов к Бунину пожаловала Мария Самойловна. Скинув шубку и поправляя в передней у зеркала прическу, она, глядя мимо Веры Николаевны, тихо сказала:

— Мережковские-то каковы? Показывают всему Парижу какую-то книгу, Алексей Толстой кроет почем зря Ивана Алексеевича...

— Не может быть!

— Еще как может!

Пройдя в гостиную, Мария Самойловна долго молча

---

* В 1926 году в Ленинграде вышла «Митина любовь», в 1927-м в Харькове — «Дело корнета Елагина». В этом же году Государственное издательство выпустило книгу избранных рассказов Бунина (2-е издание в 1928-м). Объемистый — на 28 авторских листов — сборник рассказов «Худая трава» напечатан в 1928 году. Много раз переиздавалась в его переводе «Песнь о Гайавате» и т. д.

глядела на Бунина. Наконец, под его недоуменным взглядом, она тоном глубокой грусти произнесла:

— Мои знакомые (назвать не смею их) сказали, что Мережковские всем показывают какую-то книгу... Там что-то плохое о вас Толстой пишет.

— На чужой роток не накинешь платок! — философски произнес Бунин. — И я не червонец, чтобы всем нравиться.

— Уж очень, говорят, ругается...

Она была явно разочарована его спокойствием. Немного помолчали.

— Если хотите, — вдруг быстро сказала Цетлин, кинув на него взгляд из-под длинных ресниц, — я достану у Гиппиус эту книгу.

Бунин пожал плечами:

— Ну, если вас не затруднит...

На следующий день посыльный от Цетлин принес пакет. Вскрыв его, Бунин увидел книгу: «Горький. Сборник статей и воспоминаний». Нашел статью Алексея Николаевича и прочитал: «Ссылаются на терпкий реализм Бунина, трагического и жгучего, как сколопендра, беспощадно изобразившего мужиков, бродяг, юродивых... Беспощадный и злой Бунин (почти современник раннему Горькому), крутившийся, как овца на приколе, вокруг ужаса смерти, изображал страшную двойственность: очарование природы, великолепие красок и аромата земли и неба, и царя этой жизни — человека, исковерканного бессмыслицей смерти, из царя, каким он должен быть, ставшим жалким пасынком, вернувшимся к троглодитскому состоянию. Социальная основа, всегда заметная у Чехова, здесь у Бунина вытравлена, ему ненавистна мысль, что есть какая-либо иная сила, кроме смерти. Современникам он был непонятен и враждебен. Чехов и Бунин изображали жизнь с неповторимым мастерством и правдивостью. Но тем отвратительнее было для жизни глядеться в это зеркало».

Бунин, далекий от всякой дипломатии и политических расчетов, читал и не понимал: зачем понадобились все эти выдуманные слова, все запоздалые и совсем несправедливые упреки? Неужели Алексей так переменился, что отрицает теперь то, чем восхищался и с чем соглашался прежде? Впрочем, догадаться нетрудно, — «потеряешь стыд, так будешь сыт».

Вошла Вера Николаевна и увидала мужа, обмякшего в кресле и бледного, как обивка этого кресла.

— Что случилось? — заволновалась она. — Дать сердечные капли?

— Нет, нет! Ничего не случилось... Сейчас пройдет, — неохотно ответил Бунин. — Сказать смешно, утаить — грешно. Вот почитай! — И он протянул ей книгу, доставленную от Цетлин.

«Однако, — подумалось ему, пока Вера Николаевна читала статью, — домой путь теперь заказан».

* * *

Дня не проходило, чтобы Бунин не обращался памятью к России. Он постоянно думал о ней, представлял свое возвращение в таких мелких подробностях, что порой едва не начинал галлюцинировать. Он ярко, с красками, с многообразным движением видел московские переулки, спешащую толпу, лица, шум экипажей, скрип открываемых рам, ясно ощущал все разнообразные запахи, видел воробьев, взлетающих с конских теплых лепешек на булыжной мостовой, Пушкина, возвышающегося в своей благостной задумчивости над Тверским бульваром...

Казалось, пройдет месяц-другой, он сядет в вагон на Северном вокзале и покатит в Россию... В это он имел особую веру, как в то, что после ночи непременно наступит новый день.

Теперь же выходило так, что ехать в Россию никак нельзя, что кто-то решил за него, что он ей не нужен и она ему не нужна.

Но воображение остановить было не в его силах. И он не только как прежде, но даже с большей остротой и четкостью вспоминал проклинаемую, кровавую, неблагодарную, но милую и самую необходимую для его жизни Россию. Дурное, что он думал о ней, все более меркло, становилось блеклым и лишним. Оставалось только хорошее, доброе, и это хорошее ложилось у него на бумагу, запечатлеваемое для вечности.

Писательская работа стала необходимой. Не будь ее, у него лопнуло бы сердце, разорванное безвыходностью и тоской.

* * *

Семнадцатого марта 1928 года в Сорбонне под эгидой Франко-славянской ассоциации открылась международная конференция. Ученые мужи обсуждали насущные

проблемы литературы. С большим докладом выступил профессор Николай Кульман. Тема его сообщения вызвала горячий интерес — «Иван Бунин. Его литературная деятельность во Франции». Речь Кульман произнес на французском языке *.

— После смерти Льва Николаевича Толстого, — обратился Кульман к аудитории, — Бунин постоянно превосходил всех русских писателей по своему художественному мастерству и таланту, ясности и элегантности стиля, по силе изображения и разнообразию сюжетов.

Он никогда не следовал литературной моде, которая, как всякая мода, изменчива... Бунин всегда прямо шел своей литературной дорогой, не подражая никому и не льстя. Невзирая на это, все признавали силу его таланта. Символист Брюсов признался: «Хотя Бунин и не символист, но поэт настоящий».

Трижды Российская академия наук удостаивала его высшей литературной премии — Пушкинской, а в 1909 году избрала его своим почетным членом.

Далее докладчик говорил о читательских пристрастиях Бунина — о Пушкине и Толстом, о Флобере и Пьере Лоти. Бунин даже чем-то похож на Флобера — по яркости, точности и ясности стиля. Как у Лоти, у него способность видеть природу взглядом художника.

Несмотря на потерю родины — а Бунин воспринял это как никто другой трагично, в последние годы его творческие силы все более умножаются.

— Бунин пользуется мировым признанием, — многозначительно произнес Кульман. — Три тома его произведений изданы в Англии и в Америке, два тома — в Германии. Большое количество книг вышло во Франции, переведено на шведский, венгерский, итальянский, испанский, японский, иврит, на славянские языки.

Повесть «Митина любовь» имела потрясающий успех... Она издана в СССР. Бунину удалось затронуть одну из самых чувствительных струн в сердцах русских — любовь к родине.

Можно твердо сказать: нет ни одного произведения русской литературы, где бы природа была столь поэтично воспета, как у Бунина...

И так далее — с самыми высокими похвалами, почти в течение часа.

---

* В настоящей книге использован перевод на русский язык Л. А. Куликовой.

Уже в апреле 1928 года доклад вышел в Париже отдельным изданием на французском языке. Видные зарубежные деятели культуры только руками развели — этот доклад стал для них откровением. Они по-новому, с особым уважением взглянули не только на Бунина, но на всю русскую литературу.

* * *

Завозились на авеню Колонеля Бони.

— Зина, — обратился к жене встревоженный Мережковский, — а ведь Кульман льет воду на мельницу Бунина. Разве нынче приходится ждать справедливости? Вот и эти стокгольмские мудрецы не обойдут ли меня с Нобелевской премией в пользу Ивана?

— Кузнецова мне сказала, что он готовит сборник стихов. Хочет отдать его, понятно, в «Современные записки».

— Что ж! Это повод...

— Соберет, наверное, все свое старье. А рукопись он уже отдал в «Записки»? Когда книжка выйдет?

— Меня это не занимало! Надо позвонить Вишняку.

— Но только как бы невзначай...

Ждать пришлось долго — Бунин тщательно готовил сборник. Он вышел из печати лишь через год с лишним. Гиппиус тут же обругала книгу в рецензии. Поэзию Ивана Алексеевича она желчно назвала «описательством», а его фантазию — «бескрылой» (это списала у Николая Гумилева).

Тогда же в одной из комнатушек «Последних новостей» Бунин нечаянно столкнулся с Дмитрием Сергеевичем.

— Какая радость! — Мережковский чуть не полез целоваться, даже на носки встал, а на его физиономии Бунин прочитал столько плутовства, что ему стало не по себе. — Совсем позабросили нас, даже на «Зеленую лампу» не заглядываете. Зинаида Николаевна часто вас вспоминает....

— Знаю, читал ее рецензию!

— Не обижайтесь, милый Иван Алексеевич! Это она от чистого сердца, это литература, это... — Дмитрий Сергеевич неопределенно покрутил в воздухе пальцем.

Бунин кисло усмехнулся:

— Не для Иисуса, а ради хлеба куса!

Мережковский досадливо поморщился и издал ка-

кой-то неопределенный звук. Помолчал. И вдруг взволнованно произнес:

— Ну, Бог с ней! Не обижайтесь. Мне надо поговорить тет-а-тет!

Они вышли в редакционный коридор. Дмитрий Сергеевич заговорил детски-кротким голосом:

— Когда-то, дорогой Иван Алексеевич, я предлагал вам отказаться от Нобелевской премии в мою пользу...

— В двадцать втором году, — насмешливо проговорил Бунин. — Вы обратились ко мне с этой гуманной идеей. Тогда, кстати, о нас с вами и речи не шло...

— Ну, был не прав! У меня предложение другого порядка. Если премию дадут мне или вам, давайте разделим ее поровну. И еще Куприна включим!

— Зачем?

— Проявим широту характера!

— Вот вам сербский король дал орден, что же вы его никому не отдаете ради широты характера? Простите, я тороплюсь! И, кстати, не привык делить шкуру неубитого медведя.

Мережковский порывался сказать еще что-то, но Бунин, отворив дверь редактора, скрылся за ней.

ГЛАВА XVII

Галина Кузнецова и Николай Рощин с первого взгляда не понравились друг другу.

Рощин откровенно скучал в Грасе. Его раздражало, как говорил он, «гимназическое прилежание» обитателей «Бельведера». Ему хотелось куда-нибудь уехать, но денег никогда не было, а те 50 или 100 франков, которые порой давала Вера Николаевна, хватало лишь на поездку в соседнюю Ниццу.

Галина записала в дневник: Рощин «натура, всегда чем-то оскорбленная, все яростно осуждающая и болезненно самолюбивая... Мы всегда только спорим, и притом ожесточенно. Он меня часто и легко раздражает самомнительностью и наклонностью почти все бранить и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что такое, наглость, сволочь и тому подобное».

Вера Николаевна, со своим вдруг ставшим нервным характером, с резкими перепадами в настроении, тоже не вносила мир в бунинский дом. Она часто ссорилась с

Рощиным и свое дурное расположение духа переносила на Галину, а порой и на самого Ивана Алексеевича.

Этой нервозности, разъедавшей душевное благополучие, казалось, не будет конца. Они не могли жить в мире, но и не могли, словно пассажиры Ноева ковчега, разойтись в разные стороны.

Народ в таких случаях повторяет древнюю мудрость: «Претерпивый до конца да спасен будет!»

Галина, желая изменить положение к лучшему, сделала его еще несносней. И все началось с бандероли, пришедшей на имя Бунина в сентябре 1928 года из Риги. Галина, как обычно, помогавшая разбирать корреспонденцию, распечатала ее и обнаружила книгу некоего Леонида Зурова «Кадет». В сопроводительной записке Зуров писал о том восторге, какой с детских лет вызывают в его душе книги «горячо обожаемого великого писателя земли русской — Ивана Алексеевича». И свою первую книгу — «Кадет» он приносит «на суд строгий своему духовному учителю».

Бунин прочитал письмо и только чмокнул губами:

— Ну и льстец! — и дал читать другим обитателям «Бельведера».

«Кадет» первой прочла Кузнецова. Она, с несколько излишней горячностью, стала убеждать:

— Иван Алексеевич, обязательно ответьте этому... как его... Зурову. У него есть способности: органическое ощущение «плоти», живые диалоги... И к вам с таким пиетитом относится!

И убеждала до тех пор, пока он не прочитал. За обедом Галина вновь и вновь принималась расхваливать Зурова. Рощина эти похвалы злили, и это еще больше подстегивало Кузнецову.

— Иван Алексеевич, — говорила она, искоса поглядывая на Рощина. — Вы написали Зурову? Очень способный, таких надо поддерживать. А то нынче графоманов развелось...

Рощин поперхивался горячим супом и метал в Галину гневные взгляды.

Седьмого декабря Бунин наконец сдался на уговоры. Он написал Зурову:

«Вилла Бельведер, Грас *. Очень занят, только теперь

---

* И. А. Бунин употреблял другое написание этого слова — Грасс. В остальном при цитировании его рукописных материалов сохраняются особенности правописания. Старая орфография заменена на новую.

прочел Вашу книжку — и с большой радостью. Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Много получаю произведений молодых писателей — и не могу читать: все как будто честь честью, а на деле все «подделки под художество», как говорил Толстой. У Вас же основа настоящая. Кое-где портит дело излишество подробностей, излишняя живописность, не везде чист и прост язык, не нравятся мне такие слова, как «сарь», «гармонь», «тяжелое тело города» и т. п. Да все это, Бог даст, пропадет, если только Вы будете (и можете) работать.

Кто Вы? Сколько Вам лет? Что Вы делаете? Давно ли пишете? Какие у Вас планы? Напишите мне, если можно, короткое, но точное письмо. Пришлите маленькую карточку.

От души желаю Вам успеха.

Простите, что пишу без обращения — не знаю Вашего отчества. Ив. Бунин».

Отправив это письмо, Бунин совершил шаг, о котором много-много раз, даже спустя долгие годы, жалел.

Ответ не замедлил прийти. Зуров излил в письме свое печальное настроение. Выяснилось, что он родился в 1902 году в Псковской области, в городе Острове, основанном при Екатерине II. «По зову совести» совсем юнцом пошел добровольно на войну. Был контужен — в голову. Плен. Живет теперь в Риге. Зарабатывает на жизнь в порту, где работает грузчиком. Сейчас, правда, нашел временное занятие — красит стены «в качестве маляра» в одном из синематографов.

Одновременно Зуров завязал переписку с Кузнецовой. Та, опять же в присутствии Рощина, расхваливала «умные письма Леонида Федоровича». Бунин, успевший получить и вторую книгу от Зурова — «Отчина», соглашался с ней:

— Да, у него есть художественное видение!

Ему захотелось поддержать «бедного рижанина».

— Следует, пожалуй, написать о книгах Зурова! Если не мы, то кто же!

Он написал две рецензии, отправил их в редакции. И вот девятого марта 1929 года, развернув газеты, увидал свои «фельетоны», как называл их Бунин в духе того времени. В тот же день, отправляя газеты бандеролью Зурову, Иван Алексеевич писал ему:

«Милый Леонид Федорович, слава Богу, рука у меня оказалась легкая: нынче о Вас сразу два фельетона (и

даже немножко местами пристрастные). Порадуйтесь им — и тотчас же постарайтесь о них забыть, чтобы по прежнему, не спеша и не переоценивая своих молодых сил, еще весьма нуждающихся в развитии всяческом, работать только над тем, чего Ваша душа просит, а не над тем, что могут похвалить. По этому поводу написал бы Вам, может быть, полнее, да думаю, что Вы и так поймете меня; кроме того, чувствую себя весьма слабо: нынче в первый раз поднялся с постели после семидневного гриппа.

Целую Вас и желаю всего доброго. Спасибо за вырезку, которую Вы прислали мне в январе (мой портрет в «Биржевых ведомостях»). Любящий Вас Ив. Бунин».

Ему от души было жаль этого несчастного человека, в котором был пусть и не яркий, но все же писательский дар. Это было время напряженной работы над «Жизнью Арсеньева», но Бунин все чаще и чаще обращался мыслью к несчастному парню из Риги.

— Вера, — сказал он однажды за чаем, когда они остались вдвоем. — Может, поможем Зурову? Все на том свете грех какой скостится? А?

— У нас уже двое иждивенцев есть, может, хватит? — обиженно ответила она. — И так бьюсь, каждую копейку экономлю...

— Не копейку — сантим! — попробовал перевести разговор на шутку Иван Алексеевич.

— Ведь от наших нахлебников проку никакого. Галина нежная, как цветок орхидеи. Полы у себя подмести не умеет. Рощин еще ни разу хлеба из лавки не принес. Теперь придумал этого выписать...

— Верочка, — Иван Алексеевич привлек ее к себе, — не сердись. Он у нас поживет недельку, потом устроится на работу, заживет своим домом.

— Ян, — безропотным тоном отвечала Вера Николаевна, — поступай как знаешь. Ведь все равно меня ты не будешь слушаться.

— Вот и молодец! — весело отвечал Бунин. — Там, где питаются четверо, всегда прокормится и пятый. Тем более что поживет он у нас, право, совсем недолго.

Вера Николаевна молчала.

2 октября 1929 года он написал «решительное» письмо:

«Вилла Бельведер, Грас.

Милый Леонид Федорович, из Вашего письма ко мне заключил, что Вы и хотите приехать в Париж, и немнож-

ко побаиваетесь: как я, мол, там устроюсь, как буду обходиться без языка и прочего. Заключение мое, может быть, и неправильно, но все таки хочу Вам сказать: не бойтесь! Язык — вздор, множество не знающих его все таки устроились в Париже, работают и так далее. Устроитесь и Вы, работу тоже найдете, надеюсь, — мы, по крайней мере, приложим к тому все усилия. А главное — в молодости *все* полезно, даже всякие передряги. В молодости нужно рисковать.

Из письма же Вашего к Гале узнал, что Вы приблизительно на днях (то есть числа 10-го октября) кончаете свою черную работу и садитесь приблизительно на месяц за работу литературную. Но не проживете ли Вы за этот месяц все свои сбережения? А если так, что же у Вас останется в кармане на дорогу и на первое время, на первые дни в Париже? Вообще очень жалею, что не знаю точно состояние Вашей «кассы» и прошу: немедля напишите мне (если можно, письмом *экспрессом*) о Ваших денежных делах и соображениях с полной откровенностью. Затем: напишите, *когда именно* выходит Ваш грузовой пароход? Точно ли установлена дата этого выхода, или она может и изменена быть (как нередко случается это с грузовиками) — и *сколько времени* будете Вы в пути до Руана? Все это мне нужно знать в силу нескольких причин. Между прочим и потому, чтобы сообразить, к какому именно сроку нужно выхлопотать Вам хоть малую толику денег из «Комитета помощи писателям».

Я написал о Вас Кириллу Иосифовичу Зайцеву — то есть о том, чтобы он взял на себя устройство Вам визы и вообще вступил с Вами в переписку на счет всего этого дела Вашего приезда во Францию. Он долго не отвечал, и я подумал: не лучше ли обратиться к более энергичному и быстрому человеку? — и написал вчера некоему Владимиру Феофиловичу Зеелеру, служащему в Парижском «Земгоре». А нынче получил от Зайцева письмо, что он в эту переписку уже вступил с Вами...

И еще вопрос: знаете ли Вы, что человек *просто* приехавший во Францию не имеет права на работу (во всяком случае в Париже) и что, стало быть, надо получить визу *с правом на работу* (без чего не берут, например, на фабрики)? Может быть, это относится *только* к фабрикам, а не к частной работе, — например, малярной. Но *на всякий случай* ставлю Вас в известность и на этот счет...»

Бунин вошел с этим делом даже в некоторый азарт.

— Послушайте меня, из этого рижского парня хороший писатель вырастет! — страстно говорил он домочадцам. — Старый ворон не мимо каркнет!

Рощин скептически улыбался. Ему вся эта история не нравилась. Не смущаясь восторгами Бунина, он возразил:

— Поживем — увидим, какой у него талант! Таких гениев в Париже по дюжине в каждом кабачке сидит.

Рощин боялся увеличения литературной колонии в «Бельведере» и в Зурове видел соперника своей спокойной жизни.

— Вы, Коля, ошибаетесь! — горячо убеждал его Иван Алексеевич. — Он себя покажет. Птицу видно по полету.

И Бунин с молодой энергией, отложив в сторону все дела, не жалея времени, хлопотал о Зурове, убеждал его самого. Еще восьмого августа он писал ему:

«Дорогой Леонид Федорович,

Уже давно думаю вот что: хорошо ли Вам сидеть весь век в провинции? Не следует ли пожить в Париже? Вы почти в России и возле России настоящей — все это прекрасно, да не достаточно ли (до поры до времени)? Не пора ли расширить круг наблюдений, впечатлений и прочая, прочая? Нужды Вы, повидимому, не боитесь, работы, даже черной, тоже, да и не все ли равно, где именно терпеть и то, и другое? Следовательно: почему бы Вам не переехать в этот самый Париж?

Визу достанем. Все дело в подъемных, в средствах на переезд. Но думаю, что и тут кое-что сделаем: выхлопочем, например, небольшую сумму из Парижского «Комитета помощи писателям»... Подумайте об этом и напишите мне. Напишите и о том, что пишете и что думаете делать с написанным, если таковое имеется. Ваш. Ив. Бунин».

* * *

И вот, в десять утра 23 ноября 1929 года на вилле «Бельведер» случился легкий переполох. Без всякого предупреждения — уже это Бунину показалось странным, появился Леонид Зуров. Жильцы виллы встретили его с явным любопытством.

Зуров оказался молодым человеком высокого роста, хорошей армейской выправки, но сложения слабого. На удлиненном овале лица нервно подергивались блед-

ные и тонкие губы. Движения его были быстрыми, даже суетливыми, несколько неловкими.

Гость прибыл с двумя чемоданами. Вере Николаевне он оказал знаки особого уважения — низко кланяясь, поцеловал руку и приподнес диковинный для Граса подарок — каравай черного хлеба. Кузнецовой и Рощину вручил шматок сала — один на двоих, банку килек да по русскому лукошку с клюквой.

В этот момент в гостиную вошел Иван Алексеевич. В руках он держал листы корректуры «Жизни Арсеньева», которые перед тем читал.

Зуров сразу вытянулся — как солдат на смотру перед генералом. Затем заспешил, заспешил — достал из чемодана — ну конечно же! — рогожный кулек антоновских яблок.

— Дорогой Иван Алексеевич, — пробормотал Зуров, — примите плоды в дар, от чистого сердца, в знак восхищения и преклонения...

Как всегда, когда хорошо работалось, у Бунина на душе было свежо и ясно. Он все воспринимал в такие дни радостно, с особым расположением к людям. Вот и теперь он обнял гостя и, слегка взволнованный, произнес:

— Очень, очень приятно, Леонид Федорович! Вот уж нечаянная радость! А вы, право, молодец! Рост прямо-таки гвардейский.

Зурову отвели отдельную комнатушку. Пока он приводил себя в порядок после дороги, Вера Николаевна накрыла праздничный стол. Иван Алексеевич подливал гостю очищенную «Померанцевую» (фирмы «Медведь» по пятнадцати франков за бутылку). Тот, закусив кильками, рассказывал о Риге, о своих планах добиться успеха в литературе. Потом Зуров стал просить, чтобы Иван Алексеевич почитал что-нибудь свое.

Галина ласково заглядывала в глаза Бунина:

— Иван Алексеевич — ради гостя!

— Ну, если так... Где наше не пропадало, кто от нас не плакал! Для гостя дорогого, некупленного, дарового — прочту-ка я из своей новой книжки. Где гость наугад откроет, там и читать буду! — И он протянул Зурову изящный том, только что вышедший в издательстве «Современные записки», — «Избранные стихи». Если бы Бунин знал, что эта книга станет последней стихотворной в его жизни!

Зуров с неловкой застенчивостью принял том и поспешно проговорил:

— За счастье почту. Вот это можно? — и он открыл последнюю страницу — 237-ю. — «День памяти Петра» называется.

Лицо у Бунина, бывшее за мгновение до этого смешливым, сразу переменилось, прояснилось, и он весь словно вырос, устремился к небу. Голос его — ясный и чистый, чуть-чуть ироничный, зазвучал мощно, органно, передавая множество самых тонких оттенков:

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»
О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где Град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?
Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный...

Все были потрясены: у Галины на глазах блестели слезы, Зуров, словно завороженный, пребывал в неподвижности, а неугомонный Рощин бросился обнимать Бунина, приговаривая: «Я вас люблю, люблю...».

Сборник понравился и литературным метрам в Париже. Ходасевич выступил с обширным разбором — «О поэзии Бунина». Напомнил, что Иван Алексеевич давно признан первым среди современных русских прозаиков, но о стихах его почти не писали, а если и писали, то почти всегда без знания предмета. Выражались больше эмоции, нежели мысли. И хотя в новый сборник Бунина не вошли многие лучшие его стихотворения, он дает повод побеседовать о его поэзии вообще. «Бунинская поэтика... представляется последовательной и упорной борьбой с символизмом. Эта борьба была тем более героической, что Бунин оказался один и не побоялся глубоких ран, которые она ему нанесла. Он вырвал (или стремился вырвать) из своего творчества все, что могло быть в нем общего с символизмом». И далее: «Бунинский пейзаж правдив, точен, жив и великолепен так, как ни одному символисту не грезилось... Его форма, конечно, безукоризненна. Больше того: она благородна и сдержанна в высшей степени, она спасает Бунина от каких бы то ни было дешевых эффектов.

...Я не могу не воздать должного тому последовательному, суровому и мужественному аскетизму, которому Бунин подчинил свою поэзию, раз навсегда отказавшись от всего, что представлялось недостаточно достойным или слишком суетным. Бунин всегда шел по линии наибольшего сопротивления... Победителей не судят. В своей поэзии Бунин сумел сделать много прекрасного. Как не быть ему благодарным».

Гиппиус, встретив на «Зеленой лампе» кислой ухмылкой Ходасевича, неодобрительно произнесла:

— Ну и накадили вы Бунину, дорогой Владислав Фелицианович!

На сей раз она от печатного разноса бунинской книги воздержалась, но зато 1 декабря того же 1929 года писала Берберовой:

«...Бунин выписал себе из Риги еще одного молодого писателя-поклонника. Теперь около Maître'a * целых три представителя молодежи; словно ученики фра Беато или Винчи — они служат ему на Бельведере и полезны даже в хозяйстве. Новый ученик (я забыла его фамилию) написал только еще одну книгу (забыла название), но такую, по мнению Бунина, обещающую, что по книге он его сюда, к себе, и выписал. Кроме того, что беллетрист — он маляр. От своей судьбы и Бунина — он в трепетном восхищении. В. Н. очень довольна. Ей меньше забот. Как бы Рощин не возревновал только...»

Уже 5 декабря Галина, без участия которой Зуров никогда не оказался бы в семье Буниных, записала в дневник: «Он вошел в жизнь дома, но нельзя сказать, чтобы слился с нею».

В первые дни пребывания на «Бельведере» кто-то прозвал Зурова Скобарем и Лосем. Эти прозвища прилепились к нему.

Скоро стало ясно, что Зурову деться некуда. Оставалось одно: *пока* пожить в доме Бунина. Это «пока» оказалось — *навсегда*.

Вера Николаевна больше всех радовалась новому гостю. Она с тихой улыбкой смотрела на Зурова и думала: «Ведь и у меня мог бы быть взрослый сын» **. Не по-

---

* Метр, наставник *(фр.)*.

** Единственный ребенок И. А. Бунина (от первого брака с А. Н. Цакни) Коля умер в четырехлетнем возрасте 16 января 1905 года. Об этом подробно написано А. К. Бабореко в книге «И. А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917». М., 1983 г., От Веры Николаевны у него детей не было.

нимала я в молодости, что главное в жизни...» И за столом подкладывала ему лишний кусок.

С прибытием Зурова жизнь в доме Бунина получила какую-то новую окраску. С годами она приобретала все более мрачные тона.

* * *

Приближался новый, 1930 год. Бунин был погружен в тяжелые раздумья: где взять деньги для житья в Париже? Вера Николаевна записала в дневник в новогоднюю ночь по «басурманскому стилю»: Зуров «всему радуется, на все обращает внимание, и это утомляет Яна. Ян... очень невесел. Томит его мысль о Париже. Денег нет, вечер устраивать трудно, а без него не обойдешься. Но я как-то спокойно на все смотрю, полагаюсь на волю Божью. Он же мучается... От этого и в доме тяжелее стало. Яна все стало раздражать, и смех, и лишние разговоры...»

Одна из редких дневниковых записей этого периода, которую сделал Бунин: «Если бы теплая, большая комната, с топящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь...»

В новогоднюю ночь собрались в кабинете Ивана Алексеевича. Стол был скудный, хотя Вера Николаевна старалась изо всех сил.

— Ну, Верочка, — пытался шутить Иван Алексеевич, — зови гостей поглодать костей!

Все чувствовали какую-то неловкость. Шампанского не было.

— Хлеба нету, так пей вино! — Бунин разлил по стопкам лимонную водку. — Пусть новый год будет хоть чуточку веселее старого!

Все выпили. Помолчали. Стали вспоминать, как встречали новый год дома, на родине. Сразу оттаяли внутренне.

Иван Алексеевич начал изображать «человека из ресторана». Перекинув через руку «салфет», он с деликатностью наклонился к Вере Николаевне:

— Мадам, наш вам бонжур со всем удовольствием! Что нынче изволите откушать? Пом соте или филе де шеврель? Проще сказать — отварная картофель и вырезка из, простите, козы! Пить водочку будем? Графинчик маленький? Или сразу большой? Позвольте рекомендовать свежий уитр — французский устриц!

— Не болтай вздор! — в тон отвечала Вера Николаевна. — Меня давно воротит от всего французского. Принеси-ка соленых огурчиков.

— Ле корнюшон? Слушаюсь! Деньги ваши — будут наши! — И, повернувшись к Рощину, продолжал:

— А вам, сударь, шансонеточку Люсьен с гарниром в кабинетец подать прикажете?

Хохот заглушил слова Бунина. Смеялись все до седьмого пота, до изнеможения: уж очень верно и точно изобразил он официанта.

Так началось для них третье десятилетие века — века для человечества страшного и кровавого.

* * *

О чем же писали в то время русские газеты во Франции?

«Последние новости» обсуждали выступление газеты «Репюблик», официоз правительства Деладье. В ней было опубликовано впечатление депутатов, побывавших в Москве. В Советской России, сообщала газета, нет острого продовольственного кризиса, о котором пишут во Франции. Русские дети питаются лучше, чем многие малыши во Франции. Население хорошо одето. Русский народ в целом сейчас гораздо счастливее, чем до революции.

Под заголовком «В Биянкуре» появилась заметка о положении русских рабочих: «Национальная площадь, завод Рено. Глухо завыли сирены — перерыв на обед. Ворота распахнулись, из них повалила толпа рабочих. Русских тут много, несколько тысяч, и узнать их легко: все в невероятных шляпах и обязательно в пальто. Гнилой биянкурский климат многих уже уложил в могилу...

Французы торопятся, а русские идут спокойно.

— Русскому человеку до стола бежать незачем, — объяснил уральский казак. — Русский человек обед не съел, а смял. В десять минут!

Иное дело — француз, ему покой нужен. Он пиджак скинет. Русские или не пьют вовсе, или мало пьют, а он литр вина поставит. Закусочку съест для аппетита, сардинку какую-нибудь. Потом жаркое. Тарелку будет мякишем вытирать, соус не забудет. Потом четверть часа салат мешает. Фромажу * попробует, кофею вчерашнего

---

* Сыр *(фр.)*.

согреет. Тут полутора часов не хватает. Приходится ему до дому на рысях отправляться.

А нам все готово, заботы никакой. Куда ни глянь — русские рестораны. Хочешь, к Волкову зайди. А нет — вот тебе «Днепр», «Белый лебедь» или «Черная роза». Тут этих ресторанов пропасть... В которых музыка — граммофонные пластинки. Отобедал — и по делам: белье отдать в починку (у нас русские дамы все починяют), к парикмахеру, в аптеку, газетку почитать... Вот обеденный перерыв и закончился.

— Плохо нам стало, — жалуются русские. — Особенно семейным. Изощряются, служат кто где может, вышивают, дают домашние обеды. Но все это приносит гроши. Бедность, а порой нищета глядят во все дыры...

Газета «Возрождение» давала «советы», как вести себя на новогоднем балу: «Собираясь на бал, русский беженец должен честно ответить себе:

— Есть ли в запасе чистый платок?

— Надолго ли исчезнут пятна с костюма, если намочить их холодной водой?

— Есть ли в кармане сколько-нибудь денег?

При благоприятном выяснении всех указанных обстоятельств, благовоспитанный беженец может надеть пальто (если оно есть) и отправиться на бал, не сговариваясь со знакомыми барышнями, чтобы не платить за их билеты.

На балу следует вести себя осмотрительно. Необходимо заготовить заранее ответы на возможные вопросы дам-распорядительниц. Например:

— Мсье! Не купите ли программу с художественной обложкой?

— Молодой человек! Бокал шампанского?

Отвечайте по-французски: «Мерси!» И далее по-русски:

— Программа куплена, алкоголь не употребляю!

Берегите свой капитал до конца бала. Вы его потратите, купив два воздушных шара. Особый эффект бывает, если кавалер при своей даме поджигает их — треску много, расходов мало!»

И, конечно, сенсационный раздел и объявления...

«*Мясник-убийца.* Мясник Хаарман, прозванный Толстым Гансом, проживал в Восточной Пруссии. Он сотрудничал с полицией и проповедовал «реванш». На своей лавке он написал: «Французам и бельгийцам ничего не

продается». Как стало известно, он убил 28 молодых людей. Их кровь он выпивал, а мясо продавал».

«*13-летний убийца* зарезал за 2 франка 80-летнюю старуху, а потом повесил. Идет следствие».

«*Сионистский митинг* состоится в четверг в Большом зале Сосьет Саваит (8, рю Дантон). Выступят В. Жаботинский, Л. Моцкин, В. Темкин и др.».

«*Меха и меховые вещи* — А. Солдатский. Большой выбор».

«*Одевайтесь в кредит* у портного Абрама Родзевича из Петербурга».

«*Ресторан Федора Корнилова* (рю Клозель). Лучшая в Париже кухня под наблюдением самого хозяина. Изысканные русские блюда: «Царский студень», «Солдатские щи», «Глухари в красной капусте по-московски». Ежедневно блины со свежей паюсной икрой. Большая артистическая программа с участием несравненного Юрия Морфесси. С гитарой С. Масальский. Песни старой Москвы».

«*Где в Париже можно вкусно поесть?* Выбирайте сами и в любом случае останетесь довольны — рестораны «Аллаверды» (Монпарнас), «Мартьяныч» (пл. Клиши), «Русский эрмитаж» (рю Босси)».

Жизнь продолжалась. Кто платил деньги, тот и заказывал музыку.

* * *

13 января Рощин собирал свои вещи — утром он отправлялся в Париж: «на самостоятельные хлеба». Уезжал неохотно, все были растроганы. Вера Николаевна сокрушалась, что теперь ей не с кем играть по вечерам в карты. Зуров прочитал шутливое стихотворение. Бунин провидчески произнес:

— Капитан, запомните мои слова: вы обязательно вернетесь в Россию... Вы так страшно тяготитесь...

Галина от этих слов даже слегка всплакнула. Иван Алексеевич продолжал:

— Я еще прошлым летом купил в магазине Поволоцкого любопытную книжечку, да только теперь до книжечки руки дошли. Она вышла в Петербурге в 1925 году и называется «С царем в Тобольске». Ее написал Василий Панкратов, который просидел в одиночной камере Шлиссельбурга — страшно представить! — четырнадцать лет. После отречения Николая II, когда тот был со всей

семьей сослан в Тобольск, Панкратова назначили комиссаром отряда, который охранял бывшего царя. И вот этот комиссар пишет, что царская семья как об особой милости умоляла: «Только не отправляйте нас за границу! Куда угодно, пусть мы навсегда останемся в сибирской глуши, но только не Франция, только не Англия!»

Бунин, не без некоторого восхищения, добавил:

— Они понимали, о чем просят: царская семья часто бывала за границей. Как в тысячный раз не вспомнить Тютчева: «Умом Россию не понять...»

ГЛАВА XVIII

Когда утром 23 января 1930 года Бунин вышел в столовую на завтрак, то перед своим прибором увидал громадный букет цветов и книгу. Это был доставленный утром почтальоном экземпляр только что вышедшей отдельным изданием «Жизни Арсеньева».

Этот маленький праздник устроили ему домочадцы. Леня Зуров обегал весь Грас, пока не нашел самых лучших цветочков. Галя в стихах написала поздравление и положила возле книги.

Обложка книги выглядела нарядной — текст напечатан яркой красной краской, набран хорошим, крупным шрифтом. Но бумага была несколько грубоватой.

— Для академика не могли найти получше! — ворчал Иван Алексеевич. — А вот Зайцева Борю или Алданова на самой лучшей тиснят.

Но голос был добрым, и всем было ясно, что Иван Алексеевич книге очень рад.

По сему случаю устроили праздничный обед. Вера Николаевна открыла бутылку белого «Шабли». Позвали соседей Кугушевых, любивших при случае напомнить, что они «князья». Но люди они были добрые, большие почитатели таланта Бунина. Посидев за столом, Кугушевы стали просить:

— Иван Алексеевич, почитайте что-нибудь из книги! По вашему выбору...

Он не стал отнекиваться, сразу согласился:

— Я прочту немного о моей матушке. Разве может быть у человека что-нибудь дороже этого?

Он полистал книгу, нашел нужную страницу.

Отхлебывая маленькими глотками черный кофе, который заботливо поставила ему Вера Николаевна, Бунин начал читать великолепным, хорошо поставленным голосом:

— «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, пусть сладкая, радостная, но все же мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого и сознанье мимолетности всего земного! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью...»

Бунин осекся от волнения, прочитал про себя несколько строк и продолжил уже несколько севшим голосом:

«В далекой родной земле, одинокая, на веки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благословенно ее бесценное имя! Навсегда завершена ее судьба. Завершена и того, с кем великим таинством любви и зачатий было соединено ее земное бытие. Ужели до скончания времен не увижу я больше его бодрого лица, не услышу его громкого голоса, не поцелую его сильной руки? И ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках и пела о том, как «бежит в степи молодой курьер и несет с собой письмо-весточку»?

Страшна, непостижима жизнь. «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» *.

— Да, они были очень разные. Даже внешне, — задумчиво, вспоминая давнее-давнее, произнес Бунин. — Отец выше среднего роста, плотного, могучего сложения. Мать — здоровья крепкого, но хрупкая на вид, невысокая, лицо чистое и всегда бледное. Отец — характера неудержимого, веселого, общительного. Он всегда был быстр на решения, ждать не любил. А как он пел под собственный аккомпанемент, наигрывая на гитаре! Дух захватывало!

Мать, Людмила Александровна, напротив, пребывала неизменно в грустном, сосредоточенном состоянии. Улы-

---

* В более поздних изданиях Бунин изменил этот текст, сократив его значительно.

балась редко, да и улыбка у нее была кроткая и печальная, как у ангела, спустившегося на грешную землю.

Даже когда отец прокутил ее имение, когда всю семью оставил в крайнем положении, то и тогда Алексей Николаевич не услыхал от нее, кажется, ни одного слова упрека. Да, святая была женщина!

— А вообще-то, Иван Алексеевич, вы много выдумываете в своих рассказах? — с любопытством спросил Кугушев. — Или, наоборот, прямо из жизни эпизоды переносите?..

Этот вопрос прямо-таки обидел Бунина. Он горячо возразил:

— Я почти все выдумываю! Но постоянно слышу странные упреки, что, дескать, я будто бы лишь «списываю с жизни». Чепуха это!

Все помолчали. Вдруг Иван Алексеевич, улыбнувшись, добавил:

— Впрочем, в «Жизни Арсеньева» действительно немало автобиографичного или просто увиденного. Я знаю, меня критики будут упрекать за то, что я ввел в книгу описание своей нечаянной встречи в Орле с великим князем Николаем Николаевичем, а затем, спустя сорок лет, его панихиды...

И уже представляю, как высокоумная Зинаида Николаевна будет поучать меня в своем очередном критическом разносе...

Бунин близоруко сощурил глаза, тряхнул воображаемым изумрудом на лбу, и, до смешного похоже изображая Гиппиус, нараспев заговорил ее голосом, манерно поджимая руки к груди:

— Чутье изменило известному писателю — вы меня поняли? Чутье художественное, когда он изображает мертвое тело в гробу. Во-первых, в этом нет идеи. Во-вторых, это очень страшно, особенно если читать на сон грядущий. А если покойник приснится? Что касается меня лично, то я писала гораздо поэтичней: «Стучу, зову Тебя без страха: отдай мне ту, кого люблю, восстанови ее из праха». Вот в этом есть идея! Гуманная.

Слушатели устали от хохота, а нервный Леня аж вытирал слезы: «Ну, вылитая Зинаида Николаевна!»

Бунин перешел на серьезный тон:

— Критика все ищет какие-то «идеи», а все эти «идеи» вращаются между двух полюсов — любви и смерти. Вот об этом я и пишу.

— Кстати, Ян, — вдруг вступила в разговор Вера Николаевна, — ровно год прошел, как мы были на этой самой панихиде великого князя Николая Николаевича.

— Да, на вилле Тернар. Очень меня потрясло увиденное — простотой и трагичностью... Казачья стража, высокая зала в три окна, чем-то темным занавешенные зеркала, у гроба караул с шашками наголо... И сам покойник — еще более вытянутый, чем был, видимо, при жизни, прикрытый до половины трехцветным знаменем, с правой рукой, далеко вышедшей из рукава и кисть, с твердыми синими ногтями, крепко-накрепко сжавшая черное распятие.

Помолчал, затем добавил:

— Жизнь кончается смертью, книга — ее описанием... Увы, полная гармония *.

Бунин как в воду глядел, когда предсказывал разноголосую сумятицу критиков. Единодушно писалось о высоких художественных достоинствах книги, но то и дело раздавались обвинения в «эротизме», в «монархизме» и, что особенно возмущало горячего Ивана Алексеевича, подчеркивалась автобиографичность «Арсеньева». Причем эти критические стрелы в адрес первого (и последнего) романа Бунина посыпались еще до его выхода отдельной книгой, после публикации в журнале «Современные записки».

Иван Алексеевич только успевал отвечать, возражать, объяснять. Георгию Адамовичу, критику тонкому, умному, которого называли «бунинским щитом» за приверженность к Бунину, последний с горечью возражал в своем письме от 18 ноября 1929 года:

«Конечно, дорогой Георгий Викторович, Ваша заметка причинила мне некоторую грусть. Одно это чего стоит: «великокняжеский *отряд*»! Потом — звезды, из которых я будто составил трехцветный флаг... Потом опять это упорное утверждение, будто вся цель «Арсеньева» — «плач о погибшей России»... И наконец, самое неожиданное: Ваше возмущение за революционеров. Господи, что Вам до них! И чем я виноват, что молодому Арсеньеву было многое в них несносно? И ужели это несносное выдумано мною? И почему «нужно и их принимать, раз принимаешь Россию»?.. Ваш Ив. Бунин».

Бальмонт — крупный поэт, но никудышный критик,

* Первое издание «Жизни Арсеньева» состояло из четырех книг. Последняя заканчивалась описанием панихиды великого князя.

обвинил Ивана Алексеевича в том, что он — «как Куприн» — «монархист». Вот и приходилось вновь браться за перо и писать И. Д. Гальперину-Каминскому (переводчику русских классиков на французский язык, редактору):

«Дорогой Илья Данилович, Бальмонт прислал мне свой ответ... Бальмонт пишет между прочим, что «Куприн и Бунин — монархисты». Если Ваша газета еще не напечатала ответ Бальмонта, зачеркните или оговорите эти слова Бальмонта. — Я ни к какой партии не принадлежу, приму все, что будет добром для России...»

Бунин пришел в ярость, прочитав в одном из номеров газеты «Дни», что его роман — автобиографический.

— Надо же такую чушь нести! — громыхнул он кулаком по столу.

И он обратился в редакцию «Последних известий» с письмом:

«Недавно критик «Дней», в своей заметке о последней книге «Современных записок», где напечатана вторая часть (а вовсе не «отрывок») «Жизни Арсеньева», назвал «Жизнь Арсеньева» произведением автобиографическим. Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как «Жизнь Арсеньева», а как жизнь Бунина. Может быть, в «Жизни Арсеньева» и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело критики художественной».

Эта заметка в «Последних новостях» была опубликована, так сказать, для всеобщего сведения. Что касается критика «Дней», то им оказался А. В. Бахрах. Он прислал Ивану Алексеевичу объяснение.

Тот, со свойственной ему отходчивостью, ответил весьма дружески, хотя и правоучительно:

«Милый Александр Васильевич,

Простите, что так поздно отвечаю Вам. Причина тому моя работа, в которую я всегда залезаю по уши, и то, что... затрудняюсь, как бы это Вам получше сказать, что

дело так, да не так. Тон делает музыку. Музыку делают тон и мера, оттенки. И, конечно, Вас в тоне немножко сбил с толку дух Михаила Андреевича *, задавшегося целью во что бы то ни стало «оживлять» свою «Литературную неделю». Ибо ведь *одно* сказать: «кажется, в этом есть порядочно автобиографического» (хотя и это к чему критику художественному?) и совсем *другое:* «автобиографическое описание Бунина». Ей-Богу, я ни чуть не сержусь на это ядовитое: «описание» (про которое Вы еще не знаете, будет ли в нем художественный толк) — это дело Вашей требовательности и литературных вкусов, взглядов. Но подумайте все-таки: неужели так уж и ничего нет в моем «описании», кроме автобиографии? Мне кажется, что в прочих отзывах *все таки* «дело обстоит» иначе. Они *все таки* не ставят меня в такое положение, которое заставляло бы меня бояться, что, когда я напишу о первом любовном опыте Арсеньева, вдруг напишут: «первый любовный опыт» Бунина был неудачен...»

А за всем тем бросим все это. Я уже забыл всю эту маленькую историю и жму Вашу руку. Поклон всему Вашему дому.

Все таки любящий Вас Ив. Бунин».

Неудачная, с точки зрения Бунина, рецензия Бахраха не испортила их отношений. Более того, поздней осенью сорокового года, когда фашисты оккупировали Францию, Бахрах, по воле случая, оказавшись недалеко от Граса, пришел к Ивану Алексеевичу. Тот приютил его на все годы войны.

* * *

Первого февраля Бунин закончил свой столь затянувшийся дачный сезон: жить в холодном, плохо отапливаемом доме, одиночестве, в безденежье он больше не мог. Надо было побывать в редакциях и издательствах, да и устал от грасской дикости. Но даже на дорогу он с трудом наскреб деньги. Поселился, как обычно, в доме номер один по рю Жак Оффенбах. Хозяйка обещала плату ждать месяц. «Современные записки» за «Жизнь Арсеньева» заплатили «повышенный» гонорар, но что можно получить за книгу, коли она напечатана чуть ли не библиофильским тиражом — 1 500 экземпля-

* М. А. Осоргин.

ров? * К тому же значительную часть гонорара он проел давно, когда забрал аванс.

«Семья» убавилась на одного человека. Еще после нового года Рощин сказал Вере Николаевне:

— Подарите мне сто франков, и я уеду. Ведь если останусь, обойдусь дороже!

Когда об этом удивительном предложении узнал Иван Алексеевич, он почти не возмутился — давно ко всему привык.

— Сам с воробья, а сердце с кошку! — вздохнул он. — Дай, Вера, ему сто пятьдесят и пусть идет на все четыре стороны.

Вера Николаевна, при всей своей доброте, возмутилась:

— Да где же я возьму такие деньги? Да и за что давать ему? У меня всего пятьдесят три франка.

Решили занять деньги у Кугушевых: на Рощина, на дорогу до Парижа, на «бутерброды».

Вера Николаевна записала в дневник 12 января: «Мы никогда не были так бедны, как в этом году. Как выкрутимся, просто не знаю».

Так они и поселились в Париже вчетвером — Зурову отвели место на кухне. Он был очень рад, что его оставили в семье. И даже первые дни предлагал Вере Николаевне:

— Может, помочь что-нибудь? Картошку не надо почистить?

Но всем своим видом он показывал, что этот вопрос вызван лишь вежливостью, и Вера Николаевна неизменно отвечала:

— Вам, Леня, надо статью в «Последние новости» закончить. Вы, пожалуйста, не отвлекайтесь.

И Зуров с облегчением опускался на свою кушетку — дочитывать очередной роман Алданова. Вскоре он перестал вовсе задавать подобные вопросы. Вера Николаевна одна продолжала тащить весь семейный обоз.

Иван Алексеевич жил своей обычной парижской жизнью: ходил по гостям, принимал гостей у себя, встречался с друзьями в кафе, ничего, кроме долговых расписок, не писал.

Пятого марта, по настоятельному приглашению Гиппиус, отправились к ней на «Зеленую лампу».

* Продажа этой книги шла необыкновенно успешно. Издательство сделало несколько допечаток, и вскоре газеты сообщили, что продано 20 тысяч экземпляров «Жизни Арсеньева».

...Итак, в воскресный день, к четырем часам пополудни в доме 11-бис по улице Колонель Бони в фешенебельном районе Парижа Пасси собралась изысканная и многочисленная писательская компания.

Пришел Марк Алданов — элегантный, с ровным пробором набок, приятными чертами лица, с жесткой щеточкой черных усов. Он был умен, деликатен и весьма любознателен. Он умел слушать собеседника, впиваясь взглядом в его переносицу и согласно покачивая головой. Сам Алданов любил рассуждать о болезнях, старости, нищете и смерти. Появился высоченный, с копной рыжих волос и рыжей бородкой Бальмонт. Константин Дмитриевич обладал роскошной внешностью — словно испанский гранд сошел с полотна Рембрандта. На румяном лице его было разлито величайшее самоуважение, а говорил он неровным, рыкающим и одновременно с этим певучим голосом. Он без конца говорил о своей минувшей молодости, о потрясающей популярности — особенно среди курсисток. В одном из писем он признался: «Живу ли я точно или это лишь призрак, — остается для меня самого не совсем определенным. Мое сердце в России...» За ним пожаловали маленькая, с крупными глазами на живом актерском лице Надежда Тэффи и супружеская пара — писательница Нина Берберова и ее муж Владислав Ходасевич, весь источенный болезнями, иссохшийся и, по чьему-то злому определению (может, самой Гиппиус?), «любимый поэт всех, кто не любит поэзию». Он умрет в канун второй мировой войны, и похоронят его на Бианкурском кладбище. 3 марта 1942 года во время англо-американской бомбежки Парижа упадут на могилы мощные бомбы, разметая кости, черепа, тела, плиты. Они засыплют серый крест на могиле Ходасевича.

Бунины пришли впятером. Вместе с их «семейством» в гостиную Мережковских впорхнул легкий на ногу и быстрый мыслью Георгий Адамович.

Гостей встречал сам Дмитрий Сергеевич — господин весьма незначительного роста лет 55-ти. Зинаида Николаевна утопала в мягком кресле, положив нога на ногу и показывая из укороченного платья красивые стройные ноги. Платье было, конечно, любимого розового цвета и чулки такого же.

Бунин подошел «к ручке» и, смеясь, проговорил:

— Вы мне напоминаете Аврору — богиню утренней зари!

— Сознайтесь, хотели сказать «зарю вечернюю», — быстро и оценивающе взглянула Гиппиус на Бунина. — Насмешник вы, Иван Алексеевич! Вера Николаевна, как вы только его переносите, ведь Иван Алексеевич — настоящий восточный деспот! Не зря Ремизов его прозвал Великим Муфтием.

Вера Николаевна застенчиво улыбнулась, смущаясь и Гиппиус, и своих загрубелых от домашней работы рук, и старого платья, и поношенных туфель.

Но Гиппиус уже не глядела в ее сторону, кидая реплики, отвечая на вопросы. И все в каком-то неестественно ироническом, выработанном годами тоне обиженной кокотки. Она долго, словно с некоторым удивлением рассматривала Зурова и серьезным тоном стала расспрашивать о том, как правильно в малярном деле накладывать на стены краску.

Леонид Федорович, нимало не смущаясь, ответил:

— Когда вы начнете в своей квартире ремонт, позовите, я *вам* покажу, как это делается. Дело несложное, а все — кусок хлеба.

Гиппиус не ожидала такого контрвыпада и молча проглотила эту пилюлю, лишь пробормотав: «Позову, позову...»

Бунин откровенно смеялся над этой сценой и остался Леней весьма доволен.

Зинаида Николаевна заторопилась:

— Все гости в сборе! Мария Самойловна задержится... Сосинский, закройте рояль, идите к дамам.

Мережковский, как опытный стратег, для начала двинул в бой молодых:

— Борис Юлианович, прошу вас!

Перед собравшимися предстал редкий гость — загадочный человек и одаренный поэт, писавший великолепные и неуклюжие стихи, лицом исполненный спокойного мужества и атлетической фигурой напоминавший римского легионера — Поплавский. Днем он спал в своей лачуге, единственным украшением которой был старый иконостас. Зато вечера проводил в компаниях каких-то громил, да посещал еще регулярно боксерские поединки (над его кроватью висели восьмиунцовые перчатки). Кроме того, он умел на память пространно цитировать Евангелие, Толстого и Достоевского, а любимым чтением были жития святых, книжечка с описанием подвигов которых всегда высовывалась из кармана его потрепанного пиджака.

Голосом, отдававшим набатной медью, Поплавский густо прогудел:

Тихо голос Мореллы замолк на другом берегу,
Как серебряный сокол луна улетела на север,
Спало мертвое время в открытом железном гробу,
Тихо бабочки снега садились вокруг на деревья...

8 сентября 1935 года его найдут мертвым в его комнатушке на улице Барро. Под его громоздким телом низко просядет незастланная сетка ржавой кровати, а красивое лицо исказится мучительной смертной гримасой. Рядом будет валяться труп какого-то пройдохи, уговорившего Бориса принять «безвредный порошок» ради «сладостных видений». В кармане убийцы обнаружат скомканную записку: «Решил уйти на тот свет, да одному скучно».

...Затем перед гостями предстал Владимир Сосинский, подписавший свои творения именем Бронислав. Он выпустил нашумевшую книжку «Махно». И вот теперь Сосинский поведал забавную историю о том, как к нему в типографию, где он работал, явился сам герой — Махно и «за оскорбление» потребовал дуэли. Для выработки условий они направились в соседний кабачок. Нестор Иванович спиртного не пил, был вегетарианцем. Он потребовал молоко, взгрустнул, вспоминая былые времена и родное Гуляй Поле. Полночь застала врагов в обнимку, мирно распевавших украинские и русские песни. (Махно умрет от туберкулеза легких в 1934 году.)

Гости дружно рукоплескали этому увлекательному «устному рассказу».

Мережковский делал доклад на актуальную тему: «Отчего нам стало скучно».

— Человеческая природа такова, что никто не может долго и безнаказанно переносить ни слишком большого счастия, ни слишком большого страдания. — Дмитрий Сергеевич на сей раз был скучноват. Его красноречие пробуждалось лишь на больших аудиториях. — Упавший в бездну Ада или вознесшийся к вечно сияющему Элизиуму, делается духовно односторонним. Колесо истории проехалось по нашим судьбам, но оно не растоптало нашего достоинства, не отторгло нас, жрецов святого и вечного...

Давно сдерживавшийся Адамович не выдержал, прыснул.

— Я сказал что-нибудь неподлежащее? — Мережковский с непередаваемой грустью воззрился на молодого критика.

Тот нарочито простодушным тоном шалуна-гимназиста робко спросил:

— Простите, дорогой Дмитрий Сергеевич, разве колесо может «топтать», как вы сейчас изволили выразиться?

— Без сомнений, любезный Георгий Викторович, может, если речь идет о духовном достоинстве человека. Виноват, господа, я продолжаю...

Бунин, действительно скучавший от доклада Мережковского и листавший альбом, который протянула ему для записи Гиппиус, тут же не раздумывая начертал:

Достоинство свое несем
Сквозь все кошмары и тревоги.
А жизнь нас топчет колесом,
Как будто кучу на дороге.

Гиппиус, взглянув на оживившиеся лица Бунина и Адамовича, поспешила забрать альбом. Когда она прочитала четверостишье, ее руки затряслись от гнева.

К счастью, Мережковский в этот момент закончил свои рассуждения.

Наступила очередь Зинаиды Николаевны. Она выпрямилась, сильно откинула голову и, тщательно произнося слога, начала медленно читать:

Она не погибнет, — знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.

И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется, — знайте!
И близко ее воскресенье.

Стихи и манера чтения, лишенная дешевых эффектов, на присутствовавших произвели сильное впечатление. Невозможно было понять, как в Гиппиус сочетается вроде бы сильная любовь к России с искренним презрением к ее народу. Давно ли она призывала к интервенции того же Юзефа Пилсудского, к которому сумела пробиться и которого уверила в своей приверженности «к святому делу — освобождению России»! Вот уж, точно: чужая душа — потемки.

В открытую двустворчатую дверь было видно, как смазливая служанка-француженка в коротеньком белом переднике накрывала в гостиной стол. Желтоватый вечерний свет, пробиваясь сквозь оконные стекла, блестел на тонком фарфоре чайной посуды.

Что касается литературной части вечера, то на «десерт» выступал Дон-Аминадо, извергавший каскады остроумия. Сохраняя нарочито серьезный вид, что лишь нагоняло веселье, этот бывший одессит читал свои короткие фразы:

— Когда у женщины дьявольский характер, ее неловко поздравлять с днем ангела.

— Русский эмигрант — чаще всего и принц, и нищий: в одном переплете.

— Счастье не в франках, а в их количестве.

— Занятия эмигранта: вечером концерт, по утрам похороны и каждый день безработица...

Пригласили к столу. Когда Бунин неспешно вкушал бургундское, вошла в столовую, шурша шелками и блестя бриллиантами, Мария Самойловна. Она подсела к Бунину, немного поболтала о разных пустяках, поинтересовалась, как идет продажа билетов на его вечер 13 апреля, обещала продать с десяток богатым людям, которые меньше пятидесяти франков не платят.

— Мне Вера Николаевна говорила, что «Современные записки» ограбили вас, — произнесла Цетлин. — За «Жизнь Арсеньева» всего тысячу франков! Ведь это бесстыдство...

Но, — продолжала она, склонившись ближе к Бунину, — я кое-что организую сейчас для вас в Америке. Надо только вам, Иван Алексеевич, написать прошение. Вот адрес...

Он глядел на ее белые, мягкие руки с тщательно наманикюренными широкими плоскими ногтями, державшими синий листок бумаги, с отпечатанным на нем типографским способом каким-то текстом. Он помнил, что он русский дворянин и негоже ему, не обойденному судьбою и щедро награжденному ею, кланяться какому-то неведомому фабриканту по производству пива или подтяжек. И еще он хорошо знал, что эти люди владеют миллионами потому, что умеют считать не только тысячи долларов, но и несколько центов, и сроду они на ветер не пылили ни одного из них. За что же теперь они готовы отдать неведомому для них русскому писателю тысячу-другую?

У него был ясный и зоркий ум, но это был ум художника, мало чето смыслившего в махинациях и интригах. И он был постоянно угнетаем своей бедностью, которая выглядела оскорбительной на фоне чужого богатства. Он помнил, что на рю Жак Оффенбах второй месяц не плачено за квартиру, а в этой квартире живут еще трое, которых он кормит.

И, тяжело вздохнув, он взял синий листок, чтобы на официальном бланке какого-то благотворительного учреждения просить как милость «материальную поддержку русскому беженцу».

* * *

«Пришли деньги из Америки. Ян успокоился». (Дневниковая запись Веры Николаевны 14 мая 1930 года.)

ГЛАВА XIX

В середине мая Бунин вернулся в Грас. Стояли великолепные ясные дни. Южная растительность, густо покрывавшая первобытные грасские холмы, набирала буйную силу. Бунин просыпался рано и уходил в лесные чащи. Снизу, из долины, поднимался от цветочных плантаций синий душистый туман. На душе было светло и празднично. Как никогда, работалось много, с удовольствием.

Возвращался на виллу, когда все ее обитатели были уже на ногах. Галина и Вера Николаевна накрывали в саду завтрак. Обхватив их, Иван Алексеевич оглашал грасские окрестности задорной русской частушкой:

Миленький, красивенький,
Покатай на сивенькой!
— Покатаю, девки, вас,
Поцелуйте только раз!

Порой эту же частушку Иван Алексеевич исполнял в другой, более шаловливой редакции. Галина краснела, Вера Николаевна начинала притворно сердитым тоном ему выговаривать:

— Ян, что за песни...

Иван Алексеевич, приплясывая, проходил проходочкой возле нее:

Грубияночка моя,
Не сердчай ты на меня!

Прогуляемся в лесок,
Каплет там с березы сок.

Наезжали гости, и становилось на «Бельведере» еще шумнее.

— Эх, пить да гулять, да других делов не знать, — напевал Иван Алексеевич. — Поесть, поплясать — против нас не сыскать!

Порой он произносил с печальной гордостью:

— Вместе со мной умрет настоящий русский язык — народный, непорченый, с его яркостью, солью, остроумием!

В это лето чаще, чем когда-либо, виделись с Рахманиновым. Он подъезжал на шикарном, слегка пофыркивавшим сизым дымком, американском автомобиле к «Бельведеру», производя во всем провинциальном Грасе переполох и любопытство.

В модном, серого цвета, сшитом у лучшего лондонского портного костюме, красивой шляпе, желтых, с выбитыми узорами на узких носках, ботинках, он выглядел просто потрясающе.

Бунин, наоборот, в выгоревшем от давнишней носки твиновом костюме, под лацканами которого выглядывала синяя ткань, а на самих лацканах и плечах — светло-сиреневая, в парусиновых, изрядно потрепанных ботинках на резиновой подметке, был похож на мелкого чиновника в отставке, приехавшего на летний сезон в Мытищи. Бедность, конечно, не порок, но...

И все же они были удивительно похожи друг на друга, не только внешне, но и характерами, отношением к людям. Это сразу бросалось в глаза.

(После одного из таких визитов, 5 августа того же, 1930 года Вера Николаевна записала в дневнике: «Во время обеда я часто смотрела на него и на Ивана Алексеевича и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но Иван Алексеевич весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее».)

Они любили друг друга, чувствуя необыкновенную родственность душ. Вот, к примеру, строки из письма Сергея Васильевича к Бунину от 9 апреля 1926 года: «Как мне жалко, право, что Вы... уезжаете из Парижа. Из всех русских людей мне больше всего хотелось увидеть вас! Отвести душу!»

Может, не случайно, Бунин свои «Воспоминания», после «Автобиографической заметки», начал с этюда о С. В. Рахманинове!

Он писал: «При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, както внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячей и радостней уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы:
Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас;
Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотясь на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса...»

Годы спустя, когда над Европой уже гремели пушки

второй мировой войны, Иван Алексеевич нашел клочок бумаги с собственной записью и перенес ее в дневник 2 мая 1940 года:

— «16-X-26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него, и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве: был в Москве концерт Дебюсси, и вот, в антракте, один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну, что ж, дорогой мой, вы этого просто не понимаете, не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».

Расположившись в садике, Рахманинов и Бунин вели долгие беседы. Вспоминали старую Москву, шумные вечера Шаляпина, когда публика подолгу не отпускала великого певца, заставляла его петь еще и еще. Возвращались мыслью к Ялте, Аутке, в которой жил Чехов *.

— Однажды после концерта ко мне подошел Антон Павлович, — рассказывал Рахманинов, — и заметил:

— Из вас выйдет большой музыкант.

— Почему вы так думаете?

— Я смотрел все время на ваше лицо за роялем.

Зашла речь о пьесах Чехова, которые столько прибавили ему славы. Бунин сказал, что его пьесы ему всегда не нравились.

— И не только мне. Вот Толстой о них отзывался критически. Мне сам Антон Павлович рассказывал, как он у него был в Гаспре. Толстой болел, лежал в постели, но много говорил обо всем, и о Чехове тоже. Когда Антон Павлович стал прощаться, Лев Николаевич задержал его руку и сказал:

— Поцелуйте меня! — и тут же добавил: — А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!

* * *

В один из приездов Рахманинова на «Бельведер» они засиделись за воспоминаниями чуть не до рассвета. Да и

* Уже в год знакомства И. А. Бунина и С. В. Рахманинова последний написал музыку на его стихи «Ночь печальна». Издана в Москве в 1900 году.

как тут разойтись, когда Иван Алексеевич рассказывал о Льве Николаевиче, о своем знакомстве с ним!

— Помню этот страшно морозный вечер, когда я подходил к усадьбе в Хамовниках, — говорил Бунин. — Кругом безлюдье, тишина. Лишь вдруг резко и неожиданно за чьим-то палисадом сухо треснет от стужи дерево. И вот в глубине двора красновато засветились окна большого деревянного дома. Мне было тогда 23 года, и меня всего трясло: не столько от лютой погоды, сколько от страха. Шутка ли! Сейчас увижу того, о встрече с которым мечтал с юных лет, о ком первоначально узнал не из его книг, а по разговорам дома. Отец, Алексей Николаевич, встречался с Толстым еще во времена Севастопольской кампании.

...И вот появился *он* — легкий, стремительный, страшный, остроглазый, с насупленными бровями, походкой и еще чем-то удивительно напоминающий отца.

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму?.. Расскажите о себе. Холосты? Женаты? — Они сели возле фаянсовой лампы, освещавшей только серую материю его блузы, да крупную руку, к которой хотелось припасть с восторженной любовью.

Узнав, что Иван Алексеевич *автор* и уже три года назад выпустил книгу стихов, Лев Николаевич убежденно произносит:

— Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... — И еще добавил: — Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья нет в жизни, есть только зарницы его — цените их, живите ими!

...Бунин уехал в Полтаву, писал оттуда Толстому, получил от него несколько ласковых писем. Лев Николаевич наставлял: не стоит так уже стараться, чтобы стать толстовцем.

— Но я не унимался, — вспоминал Бунин. — То, чтобы опроститься, набивал обручи, потом — того хлестче, открыл лавочку «Книжный магазин Бунина». В нем хорошо пахло новыми тесовыми полками, на которых лежали брошюрки толстовского издательства «Посредник», организованного в Москве в 1884 году.

Вдребезги запутав счета, хотя они были совсем малы, я переехал на жительство в Москву, но и там я пытался уверить себя, что я брат тех, кто постоянно торчит в помещении «Посредника» и наставляет друг друга относи-

тельно «очищения от скверны» и «приобщения к доброй жизни». Ну ладно, брехать — это не пахать!

— Мне понравились ваши воспоминания о Толстом, — заметил Рахманинов. — Продолжение будет? *

— Человек предполагает, а бог располагает, — философски изрек Иван Алексеевич. — Но я давно думаю над такой книгой, хотя вряд ли она уместится в мемуарный жанр...

(Такая книга вышла в 1937 году — «Освобождение Толстого», одна из лучших о великом писателе.)

— А у меня со Львом Николаевичем связаны не очень легкие воспоминания, — улыбнулся Рахманинов. — Мне долгие годы казалось даже, что он обошелся со мной излишне круто.

И он рассказал, как будучи совсем молодым, в 1895 году написал крупную работу — Первую симфонию, опус 13. Она, по замыслу автора, была преемственно связана с симфоническими драмами Чайковского, хотя во многом была смелой и новой.

— Я на симфонию возлагал большие надежды, — говорил Сергей Васильевич. — Но ее первое исполнение Глазуновым 15 марта 1897 года было неудачным, критики ругали ее почем зря. Я тяжело перенес этот провал. Около трех лет ничего не сочинял, потерял в себя веру.

Как раз в это трудное для себя время я приехал к Толстому с Шаляпиным, — я тогда ему аккомпанировал. Он пел Грига, затем мой романс «Судьба» на скверные слова Апухтина.

Шаляпин пел изумительно. Присутствовавшие хлопали ему. Но Лев Николаевич нахмурился. Я понял, что ему не понравилось, и старался уклониться от разговора с ним.

Но он все-таки разыскал меня и сказал, что слова прескверные, и упрекнул за повторяющийся лейтмотив.

Правда, в конце вечера Лев Николаевич еще раз подошел ко мне и ласково сказал:

— Вы не обижайтесь на меня. Я старик, а вы — молодой человек. Надо много работать. Я вот ежедневно работаю от семи утра до двенадцати часов дня. Иначе нельзя. И не думайте, что мне всегда это приятно, иногда очень не нравится, а надо...

---

* Очерк «К воспоминаниям о Толстом» опубликован в парижской газете «Возрождение» 20 июня 1926 года, заметка «О Толстом» — в 27-й книге журнала «Современные записки» (1927 год).

Рахманинов рассказывал своим тихим, глуховатым голосом, и все слушали его с большим напряжением.

Вера Николаевна не упускала случая после каждой встречи с Рахманиновым внести в дневник свои заметки. Вот одна из них, за шестое августа 1930 года: «...Рахманинов передавал слова Толстого о толстовцах: «Это все равно, что ключи в кольце, они кажутся надетыми, а приглядишься, видишь, что им еще один оборот сделать надо, чтобы быть, где я». — Я так больше и не был у Толстого, а теперь побежал бы. Очень он меня тогда огорчил. А утешил Чехов, сказав, что, может быть, просто у Толстого в этот день было несварение желудка, вот он и кинулся...

Шаляпин, когда ехал к Толстому, очень волновался, хотя почти ничего не читал.

— Мы приехали вместе, — рассказывает Рахманинов, — Лев Николаевич сидит на площадке лестницы, а Шаляпин, расставив руки, неожиданно говорит: «Христос воскресе!»

Толстой приподнимается и холодно, со словами «Мое почтение», пожимает ему руку.

Марк Александрович (Алданов. — *В. Л.*) передавал, что Шаляпин очень высокого мнения о Рахманинове. Рахманинов имел, конечно, большое влияние на Шаляпина, прежде всего своей необыкновенно большой музыкальной культурой и общим развитием...

Говорит Рахманинов очень тихо, глухо. Слушать приходится с большим напряжением...»

Самым внимательным слушателем Рахманинова был, безусловно, Иван Алексеевич. Как мы упомянули выше, уже в середине двадцатых годов он набросал первые мемуарные очерки о Толстом. Но мало известно, что уже к этому времени следует отнести начало работы по сбору биографического материала о Льве Николаевиче. Так, в нашем распоряжении находятся экземпляры книги Т. И. Полнера «Лев Толстой и его жена. История одной любви. Париж. 1928». Многие страницы хранят отметки, замечания на полях, отчеркивания цветными карандашами. Бунин словно примеряет свою жизнь к жизни Толстого, свои дела и дни, свой характер и привычки — к его. Стиль этих отметок родствен стилю «Освобождения Толстого» *.

---

* Подробнее об этом любопытном экземпляре с пометами И. А. Бунина можно прочитать публикации автора настоящей

Он без конца возвращается к произведениям Толстого, много-много раз перечитывает его книги, говорит о нем, вспоминает, восхищается.

И опять — о счастье... «Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» — с отчаянием вопрошает Дмитрий Оленин, и Бунин приводит его слова в «Освобождении Толстого». И далее: «И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя... И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие, вот что, — сказал он себе, — счастие в том, чтобы жить для других...»

«Счастье, счастье... Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру, — скажет героиня рассказа «Чистый понедельник», который Бунин напишет в мае 1942 года.

Эти слова он повторит многократно. Как и его кумира — Толстого, Бунина всю жизнь будут волновать мысли о счастье, а стало быть, о любви. И о противоположности счастья — смерти. Но это — тема другая...

* * *

Тогда же, второго августа, Вера Николаевна занесла в дневник: «Опять Рахманинов говорил, чтобы Ян писал о Чехове. Возмущался Цетлиным: «Теперь модно поругивать Чехова».

Предложение это не случайно. Еще 10 мая 1911 года сестра Чехова, Мария Павловна, разглядев в Бунине едва ли не единственного, кто сумел бы по-настоящему хорошо рассказать об Антоне Павловиче, писала П. В. Быкову: «Вы просили меня указать вам кого-нибудь, кто бы мог написать биографию покойного моего брата, и, если вы помните, я советовала вам Ив. Ал. Бунина. И теперь советую его же и даже прошу. Лучше его никто не напишет, он очень хорошо знал покойного, понимал его и может беспристрастно к этому делу приступить... Повторяю, мне бы очень хотелось, чтобы биогра-

---

книги: «В мире круга земного...» (Альманах библиофила, М., 1985, вып. 19), «Звучат лишь письмена. К истории маргиналий И. А. Бунина на книге о Л. Н. Толстом» («Литературная учеба», 1985, № 2).

фия соответствовала действительности и была бы написана И. А. Буниным».

Но тогда, как сам чувствовал Иван Алексеевич, еще не пришло время для солидной работы на эту тему. (Хотя приступ к ней был сделан еще в 1904 году. По предложению А. М. Горького Бунин написал воспоминания для коллективного сборника товарищества «Знание». Он был посвящен А. П. Чехову и вышел в 1905 году.)

...Сидя возле пальмы, шуршащей сухими листьями под легким вечерним ветерком, добегавшим порой откуда-то со стороны моря, Бунин рассказывал в далеком от России Грасе о своей дружбе с удивительным человеком — Чеховым:

— Познакомился я с Антоном Павловичем в декабре 1895 года. Случилось это, пожалуй, несколько случайно. Сидели мы с Бальмонтом в Большом Московском ресторане, что на Воскресенской площади, пили хорошее красное вино и слушали музыкальную машину, за которую владелец ресторана, знаменитый на всю Москву купец Корзинкин, угрохал сорок тысяч. Зато играла знатно!

Бунин стряхнул с папиросы пепел, внимательно посмотрел на Рахманинова, с интересом слушавшего его, и продолжал:

— Бальмонт читал свои стихи и все больше и больше собой восторгался. Читал он их и на ходу, когда мы отправились к вешалке. Здесь Бальмонт по счастливой случайности ошибся, взяв с вешалки чужое пальто.

— Господин, это не ваше пальто! — заметил швейцар.

— Тогда говори сию же минуту, чье?

— Антона Павловича Чехова...

— Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!

— Воля ваша, только это пальто Антона Павловича! Они всегда у нас останавливаются...

Было уже три часа ночи. Знакомство пришлось отложить до следующего утра. Мы сразу сблизились, крепко полюбили друг друга. Он настаивал, чтобы я каждый день бывал у него.

...Бунин много времени проводил в доме Чехова, стал там своим человеком. Они — Антон Павлович и Иван Алексеевич, обменивались книгами, переписывались. «Ни с одним писателем я не был в таких отношениях: мог часами, сидя вместе в кабинете, молчать, а с Чеховым мы иногда проводили так целые утра», — это из посмертной

книги «О Чехове». Она выйдет в 1955 году в Нью-Йорке, и окончательную редакцию ее подготовят Марк Алданов и Вера Николаевна.

И еще из этой книги: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» — писал Антон Павлович сестре.

Материал для этой книги Бунин собирал чуть не полвека. После встреч с Рахманиновым он припомнил и записал сценку, свидетелем которой когда-то был:

МОСКВА

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки, ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристает — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по......! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый..., за трынку хочешь взять!

*16-X-30. Грас, А. М.**

Антон Павлович живо интересовался А. М. Горьким. Бунин вспоминал: «Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького «На дне» и об ужине, который стоил 800 рублей и что за такую цену подавали?

Я, изображая Горького, говорил:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, чорт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.

Чехов очень смеялся, а особенно замечанию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову на бок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым оком, мы стояли рядом, и он тихо сказал:

— Лошадь! — Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?»

В 1900 году, когда Бунину было тридцать лет, Чехов

---

* Alpes Maritmes *(фр.)* — Приморские Альпы (департамент на юге Франции).

подарил ему свой портрет с надписью: «Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением». А ведь Антон Павлович не дожил до расцвета бунинского таланта, не увидал лучших его творений! Но с удивительной проницательностью разглядел его блестящий дар.

...В 1931 году в Москве вышли «Литературные воспоминания» Н. Д. Телешова. Обращаясь памятью к своей последней встрече с Чеховым, он писал:

Чехов сказал слово, «которое резнуло меня и которое не хочется сейчас повторить.

— Умирать еду. Все кончено... Поклонитесь от меня товарищам вашим по Среде... Хороший народ у вас подобрался...

А Бунину передайте, чтобы писал и писал... Из него большой писатель выйдет... Так и скажите ему это от меня. Не забудьте».

* * *

В то лето он очень много работал, написал целую серию коротких рассказов — они вошли в книгу «Божье древо» (1931 год).

Его трудолюбие заразило всех домочадцев. Даже Вера Николаевна уселась за воспоминания — не без влияния М. И. Цветаевой, с которой находилась в переписке. (Известно 48 посланий Марины Ивановны.)

«Дорогая Вера Николаевна,

Я все еще под ударом Вашего письма. Дом в Трехпрудном — общая колыбель — глазам не поверила. Первое, что увидела: малиновый бархат, на нем альбом, в альбоме — личико. Голые руки, открытые плечи. Первое, что услышала: «Вера Муромцева»... Я росла за-границей, Вы бывали в доме без меня, я Вас в нем не помню, но Ваше имя помню. Вы в нем жили как звук».

«Вера Муромцева» — мое раннее детство...» — так писала Цветаева 5 мая 1928 года. Письмо касалось дома известного историка Д. И. Иловайского, который «не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной, а сводный» (Цветаева).

Письмо, упомянутое выше, заканчивалось весьма многозначительно: «Вера Муромцева». «Жена Бунина». Понимаете, что это два разных человека, друг с другом не-

знакомых. (Говорю о своем восприятии, *до* Вашего письма.) — Пишу «Вере Муромцевой», ДОМОЙ.

Свои воспоминания Бунина назвала «У Старого Пимена», в которых она рассказывала: «Старым Пименом» мы в шутку окрестили дом всем известного историка Дмитрия Ивановича Иловайского, лично которого знали очень немногие.

В одном из Пименовских переулков, близ Малой Дмитровки, за высокими воротами стоял двухэтажный особняк, позади которого находился тенистый сад.

...Я стала бывать у Иловайских еще гимназисткой, подружившись с их дочерью Надей, четырнадцатилетней девочкой с длинной каштановой косой».

Вера Николаевна безуспешно пыталась опубликовать «Пимена» в «Последних новостях». Из этого ничего не получилось: Милюков с вежливым отказом вернул материал автору. Тогда она отправила его в еженедельную газету «Россия и Славянство» (Париж), в котором он вышел в свет 14 февраля 1931 года.

Цветаева последовала примеру Веры Николаевны и тоже написала об этом — «Дом у Старого Пимена», посвятив воспоминания «Вере Муромцевой, до меня воскресившей Старого Пимена, не посвящаю — возвращаю».

И она передала 71-страничную рукопись, обернутую в синюю школьную тетрадочную обложку с таблицей умножения на последней стороне, Вере Николаевне.

Вера Николаевна бережно хранила сей дар до самой своей смерти, а Цветаева воспоминания опубликовала в «Современных записках» (1934 год, № 54).

* * *

Как ни старались жители «Бельведера», как напряженно ни трудились — из бедности, из постоянной нехватки денег выбиться не могли. Прекратилась помощь из Чехии, откуда она хоть и в небольшом, но все же столь необходимом, количестве франков поступала с середины двадцатых годов. Благотворители или разорялись сами, или забрасывали свою меценатствующую роль. Бунин без страха уже не мог думать о завтрашнем дне.

Вера Николаевна писала в дневнике 25 декабря 1930 года: «Я в этом году прямо нищая, а у Яна тоже брать нельзя, все идет на первые потребности. Молодежь никогда так мало не зарабатывала.

Все время во мне живет непроходимая тоска. Огорчает, что ничего нельзя послать в Ефремов. И ничего не знаем мы про них. Как все Бунины рассеялись: Ефремов, Ростов, Орел, Воронеж, Москва, Грас».

...Когда пятого марта 1931 года Вера Николаевна получила из редакции «Последних новостей» за своего «Пимена» 120 франков, в доме не было денег даже на почтовые марки.

ГЛАВА XX

27 ноября 1895 года владелец многих предприятий по производству взрывчатых веществ и изобретатель динамита Альфред Бернхард Нобель составил нотариальное завещание: «Все остающееся после меня реализуемое имущество необходимо распределить следующим образом: капитал мои душеприказчики должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству...» Согласно воле Нобеля, премии по литературе должны присуждаться Шведской королевской академией в Стокгольме.

Первые лауреаты получили диплом «Нобель-приз», золотую медаль большого объема и веса, а также чек на солидное денежное вознаграждение еще в 1901 году. С той поры эта награда стала, пожалуй, самой престижной.

О том, что кандидатуру Бунина в Стокгольме выставил Ромэн Роллан, Вера Николаевна записала в свой дневник еще в далеком 1922 году. С той поры Иван Алексеевич жил надеждами на этот приз: он подымет престиж русской литературы во всем мире, а ему, Бунину, даст возможность выбиться наконец из нужды, не унижаться более перед благотворителями.

В конце сентября 1931 года к нему в «Бельведер» пожаловал зять Альфреда Нобеля — 67-летний человек в кепи, клетчатом пиджаке и бородкой-клинышком — Олейников. Он рассказывал о своем романе с женой, которая на 17 лет старше его. Пять лет он вел осаду ее сердца, она отвечала ему нежной взаимностью, но надменные родственники — Нобели были против этого мезальянса.

Наконец они сдались, и жених въехал в их дом — те-

перь уже родственником. Здесь зажил он жизнью аристократа, нашептывая нежности жене, но она по причине прогрессировавшей глухоты слышать их не могла.

Олейников, еще не забывший русский язык, по секрету сообщил:

— Теперь вы, Иван Алексеевич, самый вероятный претендент на награду. Мережковского уже никто всерьез не воспринимает, ведь его талант меркнет все больше, а ваш — на подъеме.

Через несколько дней от Мережковских, чудесным образом узнававших все новости, прибыл парламентарий — давняя близкая знакомая Ивана Алексеевича Екатерина Лопатина. Вера Николаевна была возмущена «мадам Лопатэн», как она ее называла на французский манер. 2 октября 1931 года она писала в дневник: «...Была Екатерина Михайловна парламентарием от Мережковских. Дмитрий Сергеевич предлагает Яну написать друг другу письма и их удостоверить у нотариуса, что в случае, если кто из них получит Нобелевскую премию, то другому даст 200 000 франков. Не знаю, но в этом есть что-то ужасно низкое — нотариус, и почему 200 000? Ведь, если кто получит, то ему придется помочь и другим. Да и весь этот способ очень унизительный... И выбрать Лопатэн для дипломатических разговоров! Все это мне очень неприятно...

У меня почти нет надежды, что Ян получит, но все же, если получит, то почему дать такую сумму Мережковскому? Ведь у нас есть и более близкие друзья...»

Но через неделю надежды рухнули. Девятого октября Бунин зашел в комнатку к жене, спокойным голосом, словно речь шла о погоде, произнес:

— Премию присудили шведскому писателю...

Потом они уселись рядышком, говорили о том, как теперь будет трудно жить. Иван Алексеевич, взяв в руки карандаш, написал все ожидающиеся доходы, а рядом — неминуемые расходы. Последних выходило намного больше.

— Ну что ж, Ян! — вздохнула давно ко всему привыкшая Вера Николаевна, — если быть очень аккуратными, никуда не ездить, сократить расходы на еду (а куда их еще сокращать?), как-нибудь, возможно, и проживем.

Но ни разу никто из них не предложил сократить «колонию». Бунин оставался единственным кормильцем всех домочадцев.

* * *

Из дневника Веры Николаевны: «...Встали все рано. Ян в хорошем настроении, уже работает. В доме приятная тишина. Может быть, хорошо, что премия «мяукнула» — все сосредоточатся и станут серьезно работать без всяких надежд» (11 октября 1931 года).

— Терпенье, талант, труд — вот что такое счастье, вот что такое настоящее творчество, — наставлял Бунин. Он часами не выходил из своей комнаты. Ежедневной нормой было четыре, чаще — пять страничек. Сначала он писал от руки, затем давал перепечатать текст на машинке Вере Николаевне. Потом правил, исправлял, сокращал — и теперь давал перепечатать уже Гале — набело.

Много читал — Флобера, Пьера Лоти, Чехова и Льва Николаевича — без перерывов почти всю жизнь, Тургенева, восхищался Алексеем Константиновичем Толстым, очень высоко ценил талант «Алеши» — Алексея Николаевича Толстого. Как раз в начале тридцатых годов всем домом читали «Петра I». Иван Алексеевич особо отметил фигуру Меншикова, верность и точность в изображении эпохи.

Приятно был поражен первыми книгами Михаила Шолохова — «очень талантливо!», хотя и нашел, что много излишней «грубости».

Часто вспоминали Валентина Катаева, его первые визиты к Бунину в Одессе. Бунин отмечал в нем незаурядные задатки, а Вера Николаевна потеплевшим голосом добавляла: «Какой красивый он был!»

Вечером все надолго собирались за чаем. Иван Алексеевич вспоминал друзей молодости, телешовские «Среды», литературные вечера.

Зуров и Галина настойчиво просили рассказать о встречах с Горьким.

— Ну это были не просто встречи, это была двадцатилетняя дружба, — проговорил Бунин и долго-долго молчал, то ли вспоминал, то ли выбирал нужный тон.

— Познакомил нас Чехов. Это было весной девяносто девятого в Ялте. Это был человек высокого роста, несколько сутулый, рыжеватый и зеленоглазый. Был одет он в крылатку, под ней — шелковая желтая рубашка, вышитая по подолу и вороту. Он много курил, говорил громко, в наиболее сильных местах для убедительности взмахивая руками.

Бунин посмотрел на слушателей и, убедившись, что они — само внимание, продолжал:

— Чуть не в тот же день между нами возникли приятельские отношения. Мне польстили его слова:

— Ведь вы последний от той старой культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого! У вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат писатель должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас! — В его голосе звучала неподдельная искренность.

Горький в то время гремел по всей Руси. И слава его все время только росла. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Это была пора революционных брожений, и каждое произведение Горького, едва выйдя из типографии, тотчас делалось всероссийским событием.

Он уже писал для МХТ, а Книппер дарил книги с такими, например, надписями: «Эту книгу я переплел бы для Вас в кожу моего сердца!» *

Он любил помогать другим. Так, вывел в люди Леонида Андреева, разглядев в нем талант.

...Иван Алексеевич рассказывал о своих встречах с Горьким в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Крыму, о совместной работе в журнале «Новая жизнь» и горьковском издательстве «Знание».

— Мы очень тогда дружили. Пять лет подряд я приезжал к нему с Верой Николаевной на Капри... Вера, — обратился он к жене, — расскажи на досуге молодежи про Капри, о том, как все вечера мы проводили вместе, стали по-настоящему друзьями.

Я диву давался: сколько в нем энергии, прямо-таки чертовщина какая-то! Он постоянно — с утра до ночи, чем-то занимался, с кем-то встречался, кого-то принимал, многим помогал, выступал на различных собрани-

* Из Парижа я получил экземпляр «Темных аллей» 1946 года издания. Бунин надписал книгу: «Декамерон» написан был во время чумы. «Темные аллеи» в годы Гитлера... Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца! Ив. Бунин.

P. S. Впрочем, извините: я украл эту надпись, — это Горький так надписал одну из своих книг актрисе Книппер-Чеховой! 29.3.1950. Париж». Надпись сделана для писательницы З. Н. Шаховской.

Рассказ о «коже сердца» Бунин включил в свои «Воспоминания» (Париж, 1950).

ях. В день он выкуривал не менее сотни папирос. И успевал писать — много писать своим круглым, крепким почерком: роман за романом, пьесу за пьесой.

— Нет, Вера, — вновь обратился Бунин к жене, — ты непременно расскажи молодежи, как мы с тобой лет пять подряд приезжали к Горькому на Капри. Чуть не все вечера проводили с ним вместе. Тогда он очень мне был приятен. Нравилась мне в нем какая-то размашистость натуры, широта характера. Сошлись мы очень близко.

Последняя встреча была в апреле семнадцатого года в Петербурге. В Михайловском театре собралась громадная аудитория. Горький вытащил на сцену меня и Шаляпина, провозгласил:

— Товарищи, среди нас...

Собрание бурно нас приветствовало. К нам троим, уже поздним вечером, присоединился Александр Бенуа. Мы отправились в ресторан «Медведь». Шампанское, ведерко с икрой... Когда я уходил, Горький вышел за мной, много раз обнял, крепко поцеловал. Тогда же я уехал в Москву.

Разве мог я думать, что это последняя наша встреча? Правда, вскоре после Октябрьской революции он пригласил меня к себе. Я отвечал, что говорить нам больше не о чем: он стал ярым большевиком, а я человек беспартийный...

В голосе Бунина звучала глубокая печаль. Прошлое в его сердце еще не отжило. Какие бы несправедливые слова ни сказал потом.

* * *

Домашние восторгались рассказами Ивана Алексеевича, его великолепным голосом, его непередаваемыми интонациями. В одной из дневниковых записей Кузнецова отметила, что Бунин рассказывает столь точно, что впечатление, будто «читает с написанного».

Порой Галина Николаевна вела почти стенографическую фиксацию бесед в доме. Вот две из них:

«У И. А. есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды, когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот, достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться

к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70—80 франков, которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грасе, которым он писал 7 лет, написал «Митину любовь» и «Дело корнета Елагина», но теперь он уронил его и перо разбилось.

Вчера Леня, зная страсть И. А. продавать вещи хотя бы за бесценок, предложил ему купить у него одну из его ручек с золотыми перьями за 10 франков. Пошли в кабинет, И. А. достал, разложил свои коробки с перьями и стал на листе бумаги пробовать их, давая затем попробовать мне, и Н. Рощин, пристроившийся у другого стола, подле В. Н., тоже стал выпрашивать какую-нибудь ручку. Разговоры были в таком роде:

— И. А., дайте мне какую-нибудь... Ей-богу...

— Погоди, погоди, я тебя завяжу вот по ушам! Так узнаешь! Зуров, а вот попробуйте, как это...

— Как вы их запаиваете И. А., на огонь, на спичку! Прямо странно!

— А где было другое перо, четырехгранное?

— Да это не перо, а какая-то пушка!

— Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! Отдайте, капитан!

— И. А., отдайте, ей-богу, рыженькое вот это... Стыдно прямо! Ну, смотрите, В. Н., отнял!

— Ну отдай ему, Ян, — лениво говорит В. Н., лежащая с книгой на постели, — подари ему. Оно же испорченное.

— Да как это так подарить? Так?

— Да ведь всегда дарят так! И. А., ей-богу, подарите, ведь это дело профессиональное...

— Иди-иди, не проедайся.

— Эхе-хе-хе, ей-богу!

— Эх, писатели! — говорит В. Н. — Возьмите мое, капитан.

— И. А., это мне от В. Н., а от вас что будет?

И. А. шутя замахивается на него.

В конце концов он дает две ручки Лене и одну Р. без всяких, конечно, денег. Через четверть часа Леня приносит одну назад, — не годится».

* * *

«Тридцать лет назад.

Уездный город. Гостиница. Номер первый, как всегда самый лучший. Я, конечно, занимаю его. Пообедал, потребовал бутылку удельного 18-й номер. Сладко слегка захмелел, спать рано, куда деваться? Выхожу. Месяц, мороз такой, что извозчики, уткнув руки в рукава и голову в грудь, спят. Окликаю одного. Сажусь в насквозь промерзшие узенькие санки. Он дико оглядывается, спрашивает: куда?

Отвечаю: Не знаю куда.

— Ну, так я знаю...

И он мчит меня по спящему глубоким сном городу. Над собором блестит месяц, мы едем мимо спящих усадеб, каких-то занесенных снегом домов, пустошей... выезжаем за город, наконец он останавливается перед каким-то низким домом, извозчик слезает, звонит в колокольчик. Долго не отворяют, наконец слышим чьи-то шаги.

— Кто там?

— Да уж отворяй! Мы приехали...

Дверь отворяется, старуха впускает нас, входим в «зало», где фикусы и горит перед образом лампадка. Извозчик лезет за мной.

— Ты куда?

— Да я здесь, барин... погреюсь, посижу, покуда вы там управитесь...

Я понимаю, куда он привез меня. «Управляться» я, конечно, не собираюсь, но все же хозяйка говорит мне: «Пожалуйте наверх, они там...» И я иду. Иду по скрипучей тонкой лестнице, пахнет уборной, кошками... вхожу в комнату, где при прикрученной керосиновой лампочке в нестерпимой вони и духоте спят две девки: одна в черном шелковом корсете и в красной из ломающегося шелка юбке; другая в запашной серой рубахе — какое-то большое бебе... Та, что в корсете, тотчас просыпается, садится и, громко зевая, любезно обращается ко мне: «Приехали, значит... Не угостите ли пивом?..» (По голосу слышу — сифилис!)

— Отчего же, можно и пива, — говорю я.

Она предлагает «разделить с ней ложе». Я отказываюсь. Она удивляется: Отчего же? Вы, значит, так? Вы больны или так?

— Так, говорю я.

Приносят пиво. Она берет, отрывает кусочек газеты, скручивает сигаретку, наклоняется над лампой. Огонь бросается вверх, вспыхивает, газета загорается зеленым огнем... Сидим разговариваем. Потом я выхожу, извозчик опять мчит меня по спящему городу, месяц уже высоко, стал бледный, маленький...

И это называется «веселый дом»!»

* * *

Жизнь текла ровно, тихо, в размышлениях и литературной работе. Вполне монастырский уклад! Тем более монастырский, если вспомнить о почти не прерываемых постах и келейном одиночестве, не так уж часто нарушавшимся приездом гостей.

31 октября Бунин сделал одну из немногочисленных, дошедших до нас дневниковых записей за 1931 год:

«Без четверти пять, мой любимый час и вид из окна (на закат, туда, к Марселю). Лежал, читал «Письма» Мансфильд, потом закрыл глаза и не то подумал (совершенно неизвестно, почему) о кукованье кукушки, о дали какого-то весеннего вечера, поля, леса, не то услыхал это кукованье и тотчас-же стал действительно слышать где-то в далекой и глухой глубине души, вспомнил вечер нынешней весной, похожий на русский, когда возвращались с Фондаминскими из С. Валье, вспомнил его, этот вечер, уже как бесконечно-давний молодой и счастливо-грустный, и все это связалось с какими-то воспоминаньями и чувствами моей действительной молодости... Есть-ли вообще голос птицы прелестней, грустней, нежней и юней голоса кукушки!»

Полили осенние дожди. Потоки мутной, холодной воды сбегали с холма, на котором стоял «Бельведер». Стужа гуляла по его комнатам.

— Ян, — то и дело приступала с надоевшей просьбой к мужу Вера Николаевна, — давай уедем в Париж! Все мы уже устали от этой дачной жизни...

Уезжать было нельзя по простой причине: Бунин задолжал за дачу немалую толику денег — четыре тысячи франков! Отвечал жене потешно:

— Поп на Киев собирался, да в дороге...

Но выхода из положения не видел. Оставалось положиться лишь на выручающее во всех затруднениях жизни — русское «авось». Помогло оно и на этот раз, хотя и

отчасти: второго ноября получили пакет от Олейникова, а в нем — три тысячи франков! И записка: «Прихожу на помощь ослабевшим чехам!» Намек ясен: с начала 20-х годов из Чехии шла помощь, но теперь она иссякла.

Поскольку за «Бельведер» рассчитаться — мало денег, решили устроить пир. Иван Алексеевич самолично спустился вниз, в город. Здесь он обходил магазинчики и лавки, покупал коньяк, вино, фрукты. Все это складывал в сумку Зуров, который тенью сопровождал патрона.

— Леня, не гремите бутылками! «Мартель» разобьете, — наставлял его Бунин.

В тот же день пришло два добрых известия: в Англии собрались печатать «Жизнь Арсеньева», а в одном из влиятельных немецких литературных журналов появилась весьма хвалебная статья «Божьему древу».

Веселились до полуночи, потом была раздача денег. Галя получила на туфли, Вера Николаевна — на платье, а Леня — на костюм и ботинки, ибо крепко поизносился.

На следующий день подсчитали расходы — они оказались велики.

— Куда деньги деваются? — с искренним удивлением спрашивал Бунин, а Вера Николаевна третьего ноября записала в дневник: «Живем мы теперь скромно, даю на расход 30 франков».

Бунин сел за продолжение «Жизни Арсеньева». Отметили 25-летие совместной жизни. 31 декабря Вера Николаевна писала в дневнике: «Последние часы старого года. Мы решили на этот раз не встречать Новый. Может быть, это и лучше — прошлый год мало радостей принес... Много стало хуже в денежном отношении, хотя, вероятно, в будущем будет еще хуже. Личные мои дела очень плохи. С апреля ничего не напечатала. Мои воспоминания двигаются медленно...»

Несколькими днями раньше Иван Алексеевич сжег семнадцать только что написанных страниц продолжения «Жизни Арсеньева».

— Я устал, — сказал он жене. — Я бы поехал в Авиньон и написал бы о Лауре и Петрарке... Но денег нет! Будущее меня страшит. Душа изболелась. Как будем жить?

Наступил новый, 1932 год. Газеты больше не писали о скором свержении большевиков.

ГЛАВА XXI

Журнал «Современные записки» (№ 33) поместил мнение Бунина о Дон-Аминадо. Иван Алексеевич писал: это не просто популярный и блестящий газетный работник. Это один «из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение».

Со слезами на потемневших от дурного питания и безнадежного существования глазах, русские люди читали новогодние стихи Дон-Аминадо в «Последних новостях»:

В ПРАЗДНИЧНОМ ТУМАНЕ

Запрягу я тройку борзу,
Свистну, душу веселя,
И помчу по Малой Бронной
В Елисейские поля!
Ежель зелием упиться,
Ничего тогда не жаль —
Можно даже Божедомку
Врезать клином в Этуаль!..
Захочу, да пожелаю,
Все кругом переверну,
Шпильку Эйфелевой башни
Прямо в Сретенку воткну.
. . . .

По Арбату на Плющиху,
Через ихнюю Пигаль,
В тот ли малый, Криво-Клинный,
Крив-Коленный тупичок,
Где с дворянской половиной
Приютился кабачок,
Где навзрыд машина воет,
Фикус чахнет у окна,
И душа в дыму табачном
Одинока и пьяна, —
Где, чтоб нам опохмелиться
Нет ни зелья, ни питья...
Только к стойке притулиться,
Да поплакать в три ручья!

И в этом же номере газеты рассказ «в письмах» Михаила Осоргина. Письма написаны персонажем рассказа, живущим в Москве, и отправлены в Париж.

«...Едем на праздник отдохнуть в Переяславль. Стучат колеса, в окнах мелькают елки. Снегу нынче выпало ужасно много, и уж как он бел, и уж как он пушист. Вас вспоминаем: в Париже-то, вероятно, слякотно?

Пробудем там дня два. А в сочельник решили съездить ни больше ни меньше, как в Новгород Великий. На-

до и там побродить-посмотреть. Хочется жить дольше, чтобы перевидеть побольше. Пожалуй, даже хорошо, что трудно поехать сейчас за границу; благодаря этому лучше Россию узнаешь...

С утра уезжаем в лес, часа на два с половиной — кататься на своих санках... Снег хрустит, искрится на солнце. И становится на душе так хорошо и радостно. Наша русская зима — прелесть! А ты не забыл зиму русскую?!

А Москва-то наша! Небо голубое-голубое. Снег на солнце горит искрами и под ногами скрипит. Сегодня утром 26 градусов. Солнце такое яркое, что и холода не чувствуешь. И уж как красиво!

Вот вы пишете, что лет пять снегу не видели. Да, это печально. Я даже не понимаю, как без него жить. Он душу очищает...»

* * *

Вера Николаевна устроила «бунт на корабле». Несколько дней она ходила непривычно мрачная, неразговорчивая.

Иван Алексеевич сначала не замечал ее настроения, затем стал расспрашивать о причинах «сей кручины». Она не отвечала, затем прорвало:

— Когда Толстой уезжал, я говорила тебе — едем с ними в Россию! Ты и слушать не хотел. Почему ты никогда меня не слушаешь? Теперь как он живет? В полном довольстве и среди своих. Сейчас, я слыхала, в Германию собирается туристом. А у нас разве жизнь? Собаки лучше живут! Каждое су экономлю, за жилье платить нечем. Одеваемся так, что перед соседями стыдно. Господи, чем тебя прогневали? За что такая мука?

И она, повалившись на кушетку и обхватив голову руками, по-бабьи разрыдалась.

Иван Алексеевич стоял смущенный, не зная что сказать. Ему было и досадно («задним умом все крепки!»), и жалко ее. Он присел на край кушетки, погладил жену по голове и сказал ласково:

— Бабе доро́га — от печи до порога! Ну ладно, не плачь. Вот получим премию от Нобеля и заживем по-царски! До конца жизни хватит, да еще останется. Горько проглотишь, да сладко выплюнешь. Будешь ходить в манто от Солдатского, обеды станем на дом получать от Кузьмичева *.

* Парижский ресторатор.

Второго января 1932 года они оба сидели за письменными столами. Она заполняла дневник: «...Думала поехать завтра в церковь, но рассчитала — не хватит денег... При бедности самое тяжелое — праздники».

Бунин, готовый провалиться от стыда, торопился написать письмо Марии Самойловне: на днях она должна отбыть в Англию, и тогда не будет даже надежд расплатиться за «Бельведер». А впереди — Париж, его дорогая жизнь и плата за квартиру.

За «Бельведер» они внесли две тысячи и столько же остались должны. Зуров, поскрипывая новыми штиблетами, прошел на кухню: «что-нибудь перехватить до обеда!». Вера Николаевна платье покупать не стала: «На хлеб денег нет, не до обнов!» Галина туфли решила выбрать в Париже: «Там можно найти модные и недорого!»

Седьмого января, на «русское рождество», на елке свечей не зажигали — на них не нашлось денег. Вера Николаевна писала в дневник: «Такого безденежного Рождества... не было. Еще вчера, слава Богу, Ян наткнулся на конверт с 200 франками, и это нас вывело из отчаянного положения, так как сегодня уже не было бы денег на базар...

Днем гуляла с Яном. Много молчали. Он грустен. Жаловался на старость, говорил, что «ничего не радует. Раньше, бывало, вспомнишь, что к обеду жиго и красное вино, обрадуешься, а теперь полное безразличие...»

«10 января. Таких грустных праздников еще никогда не проводили. Все в дурном настроении, и каждый на другого влияет дурно. А денег ниоткуда не присылают — просто горе!

Жаль мне Галю да Леню. Оба они страдают. Много дала бы, чтобы у них была удача. Яну тоже тяжело. Сегодня он сказал мне: «Было бы лучше нам вдвоем, скучнее, может быть, но лучше». Я ответила, что теперь уж поздно об этом думать».

* * *

Еще в середине двадцатых годов Иван Алексеевич начал составлять печальный список — он заносил в него своих знакомых, умерших в эмиграции. Список — страшно подумать! — пополнялся почти каждую неделю. Вот и теперь, открыв газету, прочитал некролог, и у него по-

темнело в глазах — умер Евгений Николаевич Чириков, старый друг, с которым было связано столько воспоминаний молодых счастливых дней! Они вместе бывали на «Средах», встречались у Юлия — с ним Чириков был в приятельских отношениях. Когда-то пьесы его шли даже в самых захолустных городках России, а про культурные центры и говорить не приходится. Он писал про провинциальную жизнь так увлекательно, как никто другой! Когда-то издательство «Пробуждение» издало сборник рассказов Чирикова, Бунина, Куприна. И вот теперь его прах лежит в чужой земле. Не такая ли судьба ждет и его самого? Страшно представить...

В те же дни из Ниццы пришла телеграмма: скончался писатель Владимир Ладыженский, старый друг Чехова и... Юлия. Удивительно, что Чириков и Ладыженский долгие годы дружили друг с другом. Литературная эмиграция вымирала...

Другие явно пережили свою славу. Газеты потешались скандалом, произошедшим с Керенским. Когда он выступал перед пятитысячной аудиторией, какая-то женщина букетом роз отхлестала его по щекам, приговаривая: «Это за Россию!» Зал освистал бывшего премьера.

В Париже устроили выставку Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Французская публика валом валила, ахала и охала, глядя на картины. В классики был произведен Марк Шагал, блистал Стравинский, на двух роялях сразу умудрялся играть великий Сергей Прокофьев. Кто-то из журналистов взял интервью у Нестора Ивановича Махно. Батька жил в Париже мирно, на тачанках больше не ездил, писал (чай не обсевок какой, не плоше других!) мемуары. Просил о предисловии Алданова, тот отказал.

Шаляпин пел «Жили 12 разбойников» и хор Афонского, словно литургию служил, подхватывал на низких регистрах припев... Когда Федор Иванович умрет, то вновь будет петь хор Афонского, и поплывет многотысячная толпа к зданию Большой Оперы. Хор будет петь, стоя лицом к катафалку, утопающему в цветах. И как напишет очевидец, «французы, которые никакой родины не покидали, плакали так, как будто они были настоящими русскими, у которых уже не было ни родины, ни молодости, а только одни воспоминания о том, что было и невозвратимо прошло». Литургия и отпевание транслировались по радио на всю Францию.

* * *

Первого апреля Бунин, проведший в тоске всю зиму на «Бельведере», вдруг решил отправить на некоторое время в Париж Веру Николаевну и Галю — «проветриться». 3 апреля вагоном третьего класса они отбыли во французскую столицу. Галина сказала:

— Знаете, Вера Николаевна, почему Иван Алексеевич отправил вас в эту поездку? Он мне сказал: «Меня трогает ее кротость, смирение. Ей и в голову не приходит мысль, что она тоже может захотеть поехать...»

В тот же день они узнали новость, поразившую многих: поэтесса, автор талантливых «Скифских черепков», обративших когда-то на себя внимание метра поэзии — Николая Гумилева, Елизавета Кузьмина-Караваева приняла монашеский постриг. Вспомнили, что она была левой эсеркой. Погибнет она как героиня Сопротивления и имя ее — Мать Мария.

Вслед за «девчатами», приехал в Париж 21 апреля Иван Алексеевич. Взял с собой и Зурова. «Жаль оставлять одного», — сказал он Вере Николаевне.

Побывал Иван Алексеевич в Лувре, в издательстве «Современных записок», устроили «праздничный чай» и пригласили Рощина.

— Вера, — шутливо наставлял он жену, — накорми «детей» до отвалу.

«Современные записки» выплатили Бунину гонорар. Вот по этой причине и был устроен пир.

Они уже собирались возвращаться в Грас, как шестого мая произошло трагическое событие: монархист Горгулов стрелял в президента Поля Думера, который через несколько часов от раны скончался. Французские газеты подняли шум. Лавочники предлагали «этих русских» если не повесить, то, по крайней мере, куда-нибудь выслать. Но и более высокопоставленные лица заявляли: конечно, русские не обязаны отвечать за убийцу, но случись все это, скажем, в Германии, «от русских осталось бы мокрое пятно».

Через несколько недель голова Горгулова скатилась в корзину — машина доктора Гильетена сработала безотказно. Авторитет эмиграции, и без того не великий, таял на глазах.

Впрочем, и русским мало что нравилось в характерах их хозяев. Персонаж рассказа Бориса Зайцева «Дом в Пасси» (опубликован в Париже в 1928 году), бывший

генерал по имени Михаил Михайлович, в доверительном разговоре произносит: «Почему я, нищий, чувствую себя здесь таким барином и судьей? Мне все кажутся лавочниками. Знаете, бистро... бистрошниками. Сытые лица за кассой, красные щеки, раскормленные лица, эти су, су... аперетивы, автомобильчики, вся, знаете, эта воскресная пошлость, мещанство... Я в России не так чувствовал.

...Иногда едешь в метро, смотришь на разных..., старух жирных с бородавками, на грязные руки, обкусанные ногти, на какого-нибудь храпящего приказчика... Я только думаю: «Господи, как они мне противны...»

...В мае бунинская колония вновь осела в Грасе. У Ивана Алексеевича открылись сильные кровотечения. Первого июля Вера Николаевна записала в дневник: «Мы стали очень мало есть». Следующая запись — 15 июля: «Две недели не записывала. Чувствовала себя дурно. Был вызван к Яну Маан (доктор. — *В. Л.)* и заодно меня осмотрел. Оказывается, я очень истощена. Нельзя даже по саду вверх ходить. Ян уже больше трех недель теряет кровь. Похудел, побледнел. Все чаще приходит мысль, что без второй операции дело не обойдется. Жаль его ужасно и страшно за него... Мне «детей» жаль. Им очень хочется куда-нибудь проехаться. Но они кротко проводят целые дни за работой...»

Бунин мало спал, подолгу лежа на постели, постоянно обдумывая литературную работу. Даже навалившаяся вдруг на него бессонница стала в какой-то степени добром: теперь он дописывал «Жизнь Арсеньева», пятую книгу. Писалось почему-то трудно. И в эти ночные часы, когда в доме наступала тишина, он сочинял сцены, повороты сюжета. Иногда вставал, начинал делать наброски на листке бумаги — чтобы не заспать.

От бессонницы, потери крови, недоедания он вконец отощал, ослаб так, что ему трудно было спускаться в город. «Неужели это конец? — с ужасом он спрашивал себя порой. — Да нет, не может быть! Надо только немного разжиться деньгами, подкормиться, сделать операцию». Он успокаивал себя, но темное тоскливое чувство страха — липкое и безысходное, все чаще ввергало Бунина в меланхолию. И он, пересиливая слабость, садился за стол: утром писал «Арсеньева», днем отдыхал, затем читал литературу о Льве Николаевиче Толстом, делал выписки и наброски воспоминаний. Он спешил — «на всякий случай». И еще у него было большое и важное дело — Бунин готовил свое Собрание сочинений —

томов на десять-одиннадцать. Принципиальная договоренность была с издательством «Петрополис». Следовало вычитать все прежде написанное, отобрать лучшее, отредактировать заново — это был колоссальный труд!

Третьего октября он записал в дневник: «В городе ярмарка St. Michel *, слышно, как ревут коровы. И вдруг страшное чувство России, тоже ярмарка, рев, народ — и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особой силой в России? Ни на что не похожая страна!

Потом представилось ни с того ни с сего: в Париж приехал англичанин, разумный, деловой, очень будничный человек. Отель, номер, умылся, переоделся, вышел, пошел завтракать. Во всем что-то такое, что сам не узнает себя — чувство молодости, беспричинного счастья... Напился так восхитительно, что, выйдя из ресторана, стал бить всех встречных... Везли в полицию совершенно окровавленного».

25 октября был получен чек за издание «Чаши жизни» и других рассказов на шведском языке. Бунин спустился в город. Зуров опять волок за ним сумку, вместимостью с большой мешок. Иван Алексеевич сразу как-то преобразился, выпрямился и стал похож на римского патриция. В магазине он распек владельца за то, что у него отсутствует коньяк хороших марок.

На следующее утро Вера Николаевна, набив кошелек франками, лазила по грасским холмам, разносила долги. Иван Алексеевич отдыхал в саду, покуривая дорогие папиросы.

...После обеда праздник закончился. Бунин вновь уселся за стол. В ту осень он работал как никогда много. Вера Николаевна вся изошлась, поджидая 10 ноября — день присуждения Нобелевских премий. Бунин на эту тему не разговаривал ни с кем, хотя было ясно, что он ждет и очень надеется: его кандидатура считалась одной из главных.

* * *

Из дневника Веры Николаевны от 14 ноября 1932 года: «Четыре дня прошло со дня присуждения Нобелевской премии **. От Шассена письмо, в котором он выра-

---

* Святого Мишеля *(фр.)*.

** Премия была присуждена Дж. Голсуорси, английскому писателю.

зил возмущение академиками и стыд за них. Значит, шансы Яна были велики и только не посмели...

Дом наш принял это известие сдержанно. Все-таки хорошо, что дана настоящему писателю, а не неизвестному. Но только он богат и, кажется, денег себе не возьмет... Сердцем я не очень огорчена, ибо деньги меня пугали. Да и есть у меня, может быть, глупое чувство, что за все приходится расплачиваться. Но всё же, мы так бедны, как, я думаю, очень мало кто из наших знакомых. У меня всего 2 рубашки, наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только 2, остальные — в заплатах. Ян не может купить себе теплого белья. Я большей частью хожу в Галиных вещах...

Ян спасается писанием. Уже много написал из «Жизни Арсеньева»... Работает он, как всегда, по целым дням».

Пытка ожиданием закончилась. Обитатели «Бельведера» почувствовали то облегчение, которое испытывает уставший от неопределенности узник, за которым пришли па рассвете.

— Что ж! — спокойно-упавшим голосом произнес Бунин. — Птицы небесные не сеют, не жнут, а сыты бывают. Вот и мы теперь так жить будем — день минул, и слава Богу. — Да, для нас последние времена наступают. Скоро совсем не на что будет жить, — закончил он просто и горько и отправился дописывать «Жизнь Арсеньева».

Рассказывали Кугушевы, видавшие в Париже Мережковского, что он просто расцвел от удовольствия: «Пусть никому, лишь бы не Бунину. Есть другие, кто достоин не меньше его». И вдруг, словно сговорившись, газеты единодушно стали его, Мережковского, называть «главным и единственным» претендентом на Нобелевскую премию. Даже те, которые прежде писали, что «Бунин в Стокгольме у всех на устах».

20 декабря, изнуренный беспрерывным многомесячным трудом, Бунин отправился в Париж. Вместе с ним поехала Галина. «Ян мне сегодня раза 3 сказал, что ехать ему очень не хочется. Это меня немного волнует», — писала в тот день Вера Николаевна.

Новый год встретил в Париже. Посетил с Галиной фешенебельное кафе «Клозери де лиля», в котором когда-то собирались знаменитые «парнасцы» под предводительством Жака Мореаса, а затем ставшее шумным пристанищем русских поэтов.

Теперь Бунин не нашел здесь поэтов. В зале сидели чинные французы и запивали яичницу виноградным вином. И хотя молодые поэты не признавали его, считали отсталым и старомодным, все же он огорчился. Выпив чашку аскетического черного кофе с рюмкой коньяку, он отправился в редакцию «Современных записок», незадолго перед этим пышно отпраздновавшим (с многоречивыми тостами и хорошим шампанским, взятым в долг) выход пятидесятого номера.

Один из редакторов журнала, Марк Вениаминович Вишняк долго прижимал к сердцу, как он выразился, «грасского отшельника» и обещал дать в его честь ужин в «Медведе». Потом редактор бегал куда-то и, вернувшись, смущенно сообщил, что в долг никто не дает больше, касса журнала пуста и что они могут сепаратно, втроем, отметить встречу у него в кабинете с помощью лимона и бутылки коньяка. Он тут же извлек названное выше из сейфа, и они приятно, в разговорах провели время. На прощание редактор подарил «дорогому автору» автограф стихотворения, написанного Дон-Аминадо по случаю юбилея:

Книжка в шестьсот страниц,
  С историей и географией,
С полной библиографией,
  Со статьями о революции,
Со статьями об эволюции.
  С пророчеством грозным,
С вопросом религиозным...
  И обращением к читателю:
«Кстати ль, не кстати ль,
  А подумал ли друг-читатель,
Который журнал рвет, —
  А на что сей журнал живет?!»

Никто не знал, на что живет журнал, как и вся пишущая братия, не работавшая швейцарами в ресторанах или мойщиками посуды в кафе. Просить аванс под пятую книгу «Жизнь Арсеньева», которую Бунин отдал в редакцию, было непростительной наивностью.

Вернулись они в Грас к прослезившейся от радости Вере Николаевне 12 января уже нового, 1933 года. У Бунина начался жар — температура поднялась до 40. Галя, свернувшись комочком, лежала в своей комнатке — у нее еще в дороге разыгрался плеврит.

Денег, конечно, не было. Жизнь вполне шла по-библейски — как у птиц небесных: с голода не померли, и за то хвала богу.

* * *

10 марта 1933 года Вера Николаевна получила письмо из Москвы от брата Дмитрия. Он сообщил, что умер отец. Спустя месяц пришло новое огорчение: психически заболел любимый брат Павел. Эти известия вконец подкосили Веру Николаевну. Она еще более побледнела, кожа сухим пергаментом натянулась на мертвенном лбу.

В конце апреля Галина получила из «Современных записок» увесистую бандероль: в нее были упакованы экземпляры только что вышедшей книги Кузнецовой «Пролог».

Вечером, в присутствии гостей — Фондаминского и Кугушевых, читали «Пролог» вслух. Галя с каким-то трепетом держала в тонких пальцах зеленоватую обложку, на которой была серебристая наклейка с названием, и читала: «Краснел закат. В монастырях звонили к вечерне. Ближние крепостные валы белыми курганами поднимались в небе, и из-за них червонным золотом блестели купола-маковки Лавры. Разъезженная дорога отлого вела вниз, к домишкам, завалившимся в овраг, по ней скользили, скосившись, розвальни, в которых сидел и правил мужик в темном кожухе. С соседней горы летели на салазках мальчишки, и их крики звонко раздавались в вечернем воздухе...»

— Какие чарующие краски! — восхищался Фондаминский, а князь Кугушев спроста брякнул:

— Ну прям-таки как у Ивана Алексеевича!

Бунин ограничился мелкими замечаниями, книгу одобрил и сказал, что она введет теперь Галину в круг литераторов, сделает ее заметной фигурой. Он наставлял:

— Постоянно надо думать напряженно, не давая себе поблажек. Нельзя себя жалеть в творчестве. Только постоянным напряжением можно достигнуть высокого. Напрягайся ежедневно так, чтобы вены вздувались! «Авось и так сойдет» — это позиция посредственностей.

Себя он просто изводил работой. Едва раннее солнце освещало грасские холмы, как Иван Алексеевич, после короткой прогулки возле дома («далеко гулять недосуг!»), еще не выпив кофе, уже усаживал себя за стол и писал, писал... Он шлифовал фразу за фразой, слово за словом. Вера Николаевна, вынося корзину с мусором, порой расправляла скомканные бумажки, начинала читать и охала:

— Ян, может, по ошибке выбросил? Ведь у любого писателя такая страница была бы лучшей в книге!

Бунин еще более расправлял лист, вчитывался, затем тщательно рвал его и, ни слова не говоря, удалялся в свою комнату — работать. Вера Николаевна и Галина порой по многу раз перепечатывали страницы, про которые еще прежде Бунин говорил, что «это пойдет, это крепко сделано».

— Терпенье — лучшее спасенье! — приговаривал Бунин. — Знать бы, что мой талантишко для России когда сгодится! Вот пишу-пишу, а для чего — сам не знаю. Здесь читателей нет. Иностранцам моя тематика чужда — что им наша Русь! Издадут ли на родине?

...Бедность постепенно делалась невыносимой, нищета глядела во все прорехи.

* * *

Из дневника Веры Николаевны:

«Кризис полный, даже нет чернил — буквально на донышке...» (26 мая).

«Проснулась рано. Ян встал раздраженный... Он в ужасе от своего писания — был в каком-то припадке тихого отчаяния. Он переутомился. Безденежье. Однообразие. Неврастения» (27 мая).

Тихо и безропотно эта русская женщина несла свое бремя.

Из дневника Галины Николаевны:

«Мой рассказ напечатан с выпуском довольно большого куска. Часть денег за него возьмут в кассу за долг, остальное надо послать в Киев бабушке, а я останусь опять надолго без ничего... Хуже всего долги. Их у меня на полторы тысячи. Думала о нашем положении писателей-эмигрантов. Вот еще один не выдержал — недавно покончил с собой Болдырев. С год назад умер от нужды Борис Буткевич. Все талантливые, упорные. Но обстоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без быта, без семьи, издерганные событиями в критическое время молодости, все, лишенные самого необходимого и без надежды на будущее...» (28 мая).

Она кисла в одиночестве, «без быта, без семьи», без надежд на будущее. Порою ей казалась сладким сном та жизнь, которую она вела до двадцать шестого года и которую добровольно поменяла на грасское «заточение». И впереди не виделось ничего отрадного.

Из дневника Ивана Алексеевича:

«Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь!..

Проснулся очень рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин.

Прочел $^{2}/_{3}$ «Воскресения» (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что-ли)...» (1 октября).

За именинным чаем как-то незаметно зашла речь о делах в Советской России.

— Что бы там ни говорили, но Сталин — личность удивительная. У него много врагов, да это и понятно, — произнес Бунин. — Петра I почти вся Россия люто ненавидела. Тайная канцелярия только успевала разбираться в делах, «противных Их Императорскому Величеству». Тот же Лев Николаевич считал Петра величайшим злодеем. Для людей такого типа главное — цель, порой действительно великая, а в средствах они не стесняются. Отсюда — множество обиженных, множество врагов. Но и миллионы приверженцев.

Зуров с некоторым ехидством в голосе прервал этот монолог:

— Вы, Иван Алексеевич, как будто восхищаетесь Иосифом Виссарионовичем?

Тот лишь скосил на него налитые жилками белки и продолжал:

— Только глупец не заметит тех гигантских дел, которые в России происходят. Вы, Леня, хотя бы читайте, что об этом Милюков в своей газете пишет. Про пуск Днепрогэса, к примеру. Пишет с восторгом, а его мнение вы высоко цените.

Вот после такого разговора и приснилась Ивану Алексеевичу «открытка Сталина». Хотя в те дни и более личное лишало порой покоя. Об этом он писал в дневнике:

«Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать (о предстоящем распределении Нобелевских премий. — *В. Л.*). Все таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не может быть! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного *события*, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, например!). Только один раз — Академия (избрание

И. А. Бунина почетным академиком Российской академии наук в ноябре 1909 года. — *В. Л.*). И как *неожиданно!* А их ждешь... Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, *смириться мужественно»* (20 октября).

* * *

Из газетных сообщений:

«*Классики в советских театрах.* И. В. Сталин заявил, что следует почитать классиков, Шекспира, в частности. Никогда шекспировские пьесы не ставились в таком количестве: в «Театре революции» идет «Ромео и Джульетта», в Государственном еврейском театре (на идиш) — «Король Лир», Второй Художественный театр — «Двенадцатая ночь» и много других. Часто исполняются произведения С. В. Рахманинова, прежде запрещенные как эмигранта».

«*Дороговизна во Франции.* Стоимость жизни по сравнению с довоенным временем выросла в 5—6 раз».

«*Помогите* тяжело больной вдове полковника-галиполийца Е. А. Орлова — Наталье Николаевне, не имеющей средств к прокормлению двух малолетних детей. Пожертвования направлять в адрес редакции».

«Один из фашистских лидеров в Германии Геббельс заявил, что либерализм вызвал в мире упадок умственной жизни».

«*Самоубийство русской четы.* Ницца. А. Рудановский из Петрограда и его жена отравились в дешевых номерах на рю де ла Бюффа. Причина — тяжелая нужда и безвыходность положения».

«Девушка из хорошей русской семьи, в совершенстве знающая французский и английский языки, ищет любую работу. Согласна на отъезд».

ГЛАВА XXII

10 ноября 1933 года газеты в Париже вышли с громадными заголовками: «БУНИН — НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ». Поместили его многочисленные портреты — какие нашлись в редакциях. Но самый красочный — Иван Алексеевич в смокинге, с бантом, поместили на первой полосе «Последние новости».

В передовице (писал Милюков) говорилось, что «на долю русской литературы выпала большая радость. Впервые за все время существования Нобелевских премий, премия литературы досталась русскому... Теперь всероссийская известность Бунина превратилась в мировую славу. Это большая моральная победа русской литературы».

Каждый русский в Париже, даже вчерашний крестьянин, теперь работающий грузчиком на заводе «Рено», сроду не читавший Бунина, воспринял это как личный праздник. Ибо — самый лучший, самый талантливый не кто-нибудь, а свой брат, соотечественник! В каждом кафе, в каждом кабачке и ресторане в тот вечер сидели люди, которые пили, порой на последние гроши, «за своего!». У всех был праздник.

«Последние новости» поместили *«Праздничные строчки»* Дон-Аминадо:

Была наша жизнь без истории,
С одной только географией.
Нельзя было даже в теории
Назвать ее биографией.

Тянулась она, как улица,
Молвою жила, злословьями!
Уткнется в тупик, притулится,
И плачет слезами вдовьими.

Не вырваться ей, не вырасти,
Не высказать страстных чаяний,
А кончить во тьме, да в сырости
Свой век на чужой окраине.

...Кому мы могли рассказывать
О нашей печальной повести?
И что, и кому доказывать,
И к чьей обращаться совести?

И вдруг из пучин незнания,
Равнодушья... — в окошко узкое,
На пятнадцатый год изгнания
Улыбнулось нам солнце русское!

Дата присуждения премии — 9 ноября — словно стала паролем. Встречаясь на улицах, русские люди говорили: «С 9 вас ноября!» И его понимали. Под таким заголовком в тех же «Последних новостях» даже появилась заметка. «От радостей мы давно уже отвыкли. Жизнь нас не баловала. В эмиграции создался даже какой-то своеобразный «вкус к горю», какая-то мода на

пессимизм. Наиболее вероятным признается не самое возможное, а самое худшее. «То ли еще будет!» — при каждой новой неудаче говорим мы...

Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы.

А праздники бывают все-таки и «на нашей улице». Был такой праздник в четверг 9-го ноября. Мы счастливы за Бунина, одного из сильнейших и тончайших художников, какие были в России...»

Русские испытали сладчайшее из чувств — благородное чувство национальной гордости. Они ходили с высоко поднятой головой, и их переполняла радость.

И еще долго газетные полосы были заполнены материалами, посвященными лауреату. Крупнейшие литературоведы утверждали, что Бунин — явление особое, неповторимое по своей внутренней *подлинности* и по совершенству своих проявлений. И самое главное, быть может, в нем — *первозданность* таланта, верность себе. Замечательна та свобода и самостоятельность, с которыми Бунин прошел мимо всех эстетических нарочитостей декадентства и остался верен русской классической литературе, литературе Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого. Бунин пишет точно, предметно, серьезно. Все, что он описывает, он знает так же хорошо, как свое лицо в зеркале, как свою комнату. Как ни вслушивайся в бунинские повествования, никогда не услышишь полого звука — во всем, что выходит из-под пера его, ощущаешь благородную тяжесть. В этом — высокая проба писательской и человеческой честности Бунина, его целомудрия. Больше всего он боится фальшивого звука, нарочитости, риторики и красивости.

Все мысли Бунина проверены собственной жизнью, оплачены собственной кровью. Он созерцает мир умными глазами, и его зрение предельно обострено — он видит многое такое, что скрыто от других.

В отличие от многих собратьев по перу Бунин никогда не заставлял свой талант служить себе, своей личной выгоде; он сам предпочел служить собственному дару. В его творческом облике гармонически сочетались вера в свой творческий путь с полным отсутствием мелкой самоуверенности. Лишь верой в собственную правду и непреложность ее объяснимы многие из известных бунинских оценок инородных ему явлений (Блока, Брюсова и др.). Ему органически ненавистна фальшь,

подделка под творчество, заискивание перед публикой.

Его нападки часто кажутся несправедливыми. Но, возможно, его художественная зоркость позволяет видеть намного дальше, чем современникам. Когда Бунин, повидимому совершенно бессмысленно, называет спичку чертом, он правильно чует, что в аду пахнет серой. Так «слепая злостность» обращается гениальной прозорливостью.

Мир по-новому взглянул и на русского писателя, и на русскую литературу.

* * *

Когда мальчик принес на «Бельведер» телеграмму из Стокгольма о присуждении Бунину Нобелевской премии, Вера Николаевна не могла отыскать в доме несколько су чаевых. К этому времени они уже знали о решении Шведской академии. Швед по национальности и филолог по образованию, возглавлявший крупнейшую демократическую газету «Даденс Нихитер», Антон Карлгрен годами не уставал ратовать за присуждение Бунину Нобелевской премии. До объявления официального сообщения ему позвонили из академии и спросили адрес Ивана Алексеевича. Все стало ясно! Карлгрен тут же связался с Грасом. Ивана Алексеевича не было дома.

Случилось это 9 ноября. Бунин, чтобы хоть немного рассеяться, ушел в синема — так звали тогда кинематограф. Он глядел «веселую глупость», по его собственному выражению, и по названию «Бэби». Одну из ролей исполняла хорошенькая Киса Куприна — дочь писателя.

Но темноту зала вдруг нарушил узкий луч фонарика — это запыхавшийся Зуров разыскивал Бунина.

— Телефон из Стокгольма... — с волненьем выдохнул в ухо Ивану Алексеевичу. «И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грасом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...»

* * *

Наступает перелом жизни. Десятки, сотни поздравительных телеграмм. Блицы магниевых вспышек — снимки «для истории». Интервью, толпы журналистов, сотни вопросов. Приемы в редакциях, издательствах, объединениях, союзах. «Дом книги», что на рю Лэперон, известил читающую публику, что предлагаются книги лауреата:

«Божье древо» — 25 фр.
«Грамматика любви» — 15 фр.
«Жизнь Арсеньева» — 30 фр.
«Избранные стихи» — 24 фр.
«Крик» — 12 фр. 50 с.
«Митина любовь» — 25 фр.
«Начальная любовь» — 12 фр. —

и другие книги, которые магазин не мог распродать, иные даже лет семь-восемь. Теперь, в связи с мировой славой, магазин рассчитывал выгодно сбыть произведения лауреата.

Выкроив время между двумя приемами и тремя интервью, Бунин отправился к Мережковским — засвидетельствовать почтение и ради вежливости. Далее предоставим слово самому Ивану Алексеевичу (как застенографировал его один из слушателей):

— Прихожу... (три крепких слова). Войти в квартиру — страх одолевает — я ведь знаю, как они меня всю жизнь ненавидели. А ведь они люди страшные: еще могут какую-нибудь порчу наслать. Наконец решился, позвонил. Встретила меня Зинаида Николаевна. Лорнетка, прищуренные глаза. Голос капризной кокотки:

— Что это вы, Иван Алексеевич, снизошли до нас?

А я сдерживаюсь и так спокойно отвечаю:

— Просто пришел по-товарищески вас проведать...

Но она продолжала в том же тоне, пока я не попросил ее перестать. Тут вышел сам Мережковский, сунул на ходу руку и шмыгнул в угол, мрачнее тучи... Зависть его точит, весь аж почернел. Будто я виноват, что не ему премию дали. Жуткие люди! С той поры моей ноги у них больше не было.

Бунин отправился в Стокгольм вчетвером — кроме Галины и Веры Николаевны, увязался за ним шустрый корреспондент «Последних новостей» Яков (Янкель) Цвибак.

Уроженец Феодосии, он отличался вполне одесским остроумием. Придя в роскошный номер Буниных в отеле «Мажестик», в котором останавливались миллионеры, Яков Моисеевич поцеловал Вере Николаевне руку, преподнес букетик гвоздик и произнес тоном эстрадного комика:

— Вы мне можете сказать, что украшает личную жизнь, но портит семейную?

Бесхитростная Вера Николаевна бросила было взгляд на Галину, да вовремя спохватилась. Цвибак продолжал:

— Семейную жизнь портит... секретарша. Поэтому секретарем Ивана Алексеевича я назначаю себя. Заодно я буду корреспондировать «Последние новости» во время поездки в Стокгольм. Так что едем вместе.

Ивану Алексеевичу было сейчас не до пустяков, он уезжал на авто, дожидавшемся у отеля, давать интервью французскому радио. Поэтому он махнул рукой:

— Ладно!

Так Цвибак, писавший под псевдонимом Андрей Седых, остался возле Бунина.

...Резкая перемена судьбы привела Веру Николаевну в замешательство, ей казалось, что это — всего лишь сладостный сон. Иван же Алексеевич в роль мировой знаменитости вошел без всяких усилий. Его остроумные ответы журналистам заполняли газеты. Изящный, полный непринужденности и собственного достоинства поклон окрестили «бунинским». В синема крутили хронику: «Бунин на Лионском вокзале», «Бунин в редакции «Современных записок», «Бунин в ресторане «Тройка».

Его стали узнавать прохожие. Надвигая шляпу на лоб, он ворчливо произносил:

— Ну чем не итальянский тенор!

Пришло поздравление «местоблюстителя» престола великого князя Кирилла Владимировича. Бунин вежливо ответил.

Третьего декабря Иван Алексеевич, смолоду любивший комфортабельные путешествия, голубые экспрессы, быструю дорогу, занял отдельное купе международного вагона. Приятно пахло кожей и дорогими сигарами. Носильщики, поблескивая на груди желтыми бляхами и краснея от натуги, волокли за важными господами и дамами тяжеленные чемоданы.

Вера Николаевна, смущаясь собственной роскоши, сняла шикарное манто — сдержал-таки слово муж! — от

Солдатского. Изящно выглядела и Галина Николаевна в горностаевом палантине на плечах и короткой шубке из каракульчи. Она бросала потеплевший взор «фиалковых» глаз на друга и благодетеля. Монастырская убогость Граса казалась вчерашним дурным сном.

Путь в Стокгольм лежал через Германию, в которой ребята в коричневых рубахах стремительно внедряли «новый порядок». Штурмовики деловито прохаживались по перронам, а маленькие детишки, завидев поезд, вскидывали ручонки в фашистском приветствии.

В Гамбурге пришлось заночевать. «Герр обер» в ресторане предложил им лишь сосиски с капустой, зато на каждом столике — флажки со свастикой. Недалеко от вокзала Бунин увидал человека в приличном черном пальто с барашковым воротником. Он продавал тощие букетики хризантем. На носу жалко дрожало золотое пенсне.

— Вы еврей?

Вопрос заставил человечка вздрогнуть. Но, увидав, что перед ним иностранцы, он ответил на французском языке: «Бывший профессор права...» Бунин положил в корзину крупную купюру.

...В Стокгольм приехали на рассвете. Возле вагона — толпа фотографов, киношников, журналистов. Зажглись «юпитеры»: съемки, вопросы, поздравления. Из вагона вылезали корреспонденты газет, встретившие Бунина еще на пограничной станции.

Через час, обремененные охапками цветов, прибывшие входили в особняк Г. Л. Нобеля. Из высоченных окон роскошного дома были видны громада королевского дворца и канал с медленно текущей темной водой.

Когда на следующий день Бунина увезли в Академию, Яков Моисеевич принял журналистов, прибывших к лауреату. Цвибак, напустив на себя важный вид и поигрывая новым «паркером», отвечал на вопросы.

Когда кто-то из журналистов спросил, кто представит Бунина королю (согласно традиции это делали послы того государства, чьим гражданином был лауреат), Цвибак категорически отверг возможную кандидатуру А. М. Коллонтай, посла СССР. Более того, он позволил себе грубые выпады в ее адрес.

Газеты тут же поспешили опубликовать это безответственное заявление.

* * *

В Стокгольме Бунин пользовался исключительным успехом, каким, по заверениям журналистов, не пользовался еще ни один лауреат. Повсюду — в витринах магазинов, газетных киосках и даже окнах домов виднелись его портреты. В синема шли фильмы, рассказывавшие о «писателе из России, покорившем мир». Он умел вызывать симпатии в людских сердцах, сочетая в себе подлинную красоту с естественной приветливостью.

И вот, 10 декабря 1933 года, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в присутствии короля Густава V — необыкновенно высокого и худощавого человека, состоялась церемония награждения. Бунин получил светло-коричневую папку с дипломом и большую золотую медаль. Кроме того, лауреату был передан чек на сумму 715 тысяч французских франков.

Не обошлось без анекдотического происшествия. Получив папку и медаль, Бунин передал их Цвибаку. Тот неловко выронил медаль. Она покатилась по полу. Бросив папку, в которой лежал чек, на кресло, Цвибак полез на коленях между рядов. Медаль он поднял, но забыл про папку. Торжество закончилось, и Бунин осведомился:

— Папка где? Что вы сделали с чеком, дорогой?

— С каким чеком?

— Да с этой самой премией! Чек в папке лежал.

Цвибак стремглав бросился к креслу. К счастью, папка мирно лежала на месте.

— И послал же мне бог помощничка! — облегченно вздохнул Иван Алексеевич, которого едва удар не хватил.

...Из Швеции в Германию плыли на немецком пароходе. В ресторане почти нечего было есть. Бунин допрашивал официанта:

— Угорь копченый есть?

— Простите, герр, нет.

— А сельдь маринованная, королевская?

— Тоже нет.

Бунин даже развеселился.

— Это как в захудалом, разорившемся дворянском доме. Подходит дворецкий, этакий старичок с растопыренными пальцами в заштопанных нитяных перчатках. Кричит на ухо гостю:

— Вам супу или ухи-с?

— Ухи, пожалуйста.

— Ухи нет-с!

...Порой пустяковое событие вызывает серьезные последствия. Так случилось и на этот раз. В дороге Кузнецова простудилась. Ее пришлось оставить в Дрездене на попечении знакомого писателя и философа Федора Степуна. У него была сестра Марга: не очень внешне привлекательная, страдавшая экземами, но начитанная и далеко не глупая. При желании она умела нравиться. Галина от новой знакомой была без ума. Впрочем, симпатия была взаимной — они уже никогда не расставались.

* * *

Ивану Алексеевичу исполнилось шестьдесят три года, но он ощущал могучий прилив творческих сил. Слава его теперь была всемирной. С бедностью, столь угнетавшей его, казалось, покончено навсегда. Из самых трудных житейских обстоятельств он вышел победителем. Будущее уже не пугало его. Оно виделось заманчивым, оно сулило новый успех.

КНИГА ВТОРАЯ

ГОЛГОФА



ГЛАВА I

Прошло два с лишним года. И с Буниным случилось то, что ни тогда, ни позже никто толком объяснить не умел — он вновь остался у разбитого корыта.

Девятого мая 1936 года он записал в дневник: «...Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни».

На следующий день: «...Да, что я наделал за эти 2 года... Агенты, которые *вечно* будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость, выход в тираж».

Вернувшись после своего стокгольмского триумфа в Грас, Иван Алексеевич решил приобрести «в вечное пользование» «Бельведер». Хозяин запросил за него сумму, которая была лишь чуть больше десятой части премии.

— Хватит платить посезонно, — рассуждал Бунин в кругу домочадцев. — Себе дороже станет! Вот купим «Бельведер» и заживем как душа пожелает.

Но вскоре его настроение переменилось:

— Негоже русскому писателю быть... домовладельцем. Может, еще откроем москательную лавку? Или укрепим вывеску «Торговля колониальными товарами»? За виллу — налог плати, ремонт делай: забот — полон рот! Нет уж, пусть у самого Рукье * голова болит за его развалюху. Будет с нас, не дети у нас, а дети будут — сами добудут!

Так и не стал Бунин «домовладельцем».

А деньги между тем быстро таяли. Сразу же после получения премии в Париже был создан комитет помощи нуждающимся литераторам, которому лауреат сразу передал сто тысяч франков, затем еще двадцать тысяч.

Кроме того, не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не обращался к лауреату с просьбой о помощи. И он почти никому не отказывал. Заходила старая писательница. Усиленно шамкая и метая земные поклоны, произносила:

---

* Владелец «Бельведера». Он просил за виллу 78 тысяч франков.

— Вы уш прошштите меня, рот штыдно открыть — шубы выпали, а новые вштавить не на што.

Затем являлась молодая пара, собиравшаяся под венец. Из их слов выяснялось, что они «земляки», родились в Воронеже, как и Иван Алексеевич. Теперь у них нет денег на свадебное путешествие.

Бунину всех было жалко. Он давал писательнице «на шубы», молодым — на путешествие. Год спустя встречал эту же писательницу, и она также шамкала, а Куприн как-то рассказывал про «молодую чету», которая была его земляками — «пензенскими» и которая пыталась у него, бедняка, выпросить деньги.

— Вы, дорогой Иван Алексеевич, так быстро вылетите в трубу, — увещевала его Цетлин. — Вы должны жить на проценты с капитала, который следует вложить в солидное, прибыльное предприятие.

Деловой авторитет Цетлин для Бунина был великим. Он готов был жить «на проценты». Приняв вид бизнесмена, осведомлялся:

— Вы можете мне рекомендовать предприятие с хорошими дивидендами?

— Я пришлю к вам братьев Мендельсонов. Это деловые люди. Они вам помогут.

И вот на рю Жак Оффенбах появились братья с музыкальной фамилией — симпатичные, рослые, с веселыми темными глазами на крупных лицах. Вскоре выяснилось, что они родились в начале века в Одессе, и это еще больше расположило к ним Бунина, любившего этот город и его обитателей.

Выпив по второй рюмке анисовой и закусывая зернистой икрой, братья осведомились:

— Скажите, мы очень похожи на идиотов? Если мы похожи не очень, так вкладываем ваши деньги в беспроигрышное дело «Бруль и К°» — производство нижнего белья. Вы, простите, без нижнего белья кого-нибудь видели? Нет, не видели, потому что нижнее белье нужно всем. Так что, заметано! Мы себе немножечко нальем? Спасибо! За то, чтобы ваши дети имели родителей-миллионеров!

Ни веселых братьев, ни своих денег Бунин больше уже не увидел. Мария Самойловна тяжело вздыхала:

— Виновата, ошиблась! Может, заявим в полицию?

Бунин махнул рукой: «Ищи ветра в поле!»

Зинаида Шаховская, хорошо знавшая Ивана Алексеевича, писала в своих воспоминаниях: «Бедность Буниных

была удивительна. При умении и малой доли практичности денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них. Все письма Бунина в эту эпоху вопиют о бедности и нужде, об обмане издателей, о нерадивых адвокатах...

Немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча новых почитателей, появились и опекуны. В денежных делах Бунины были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны...

Что книги Бунина на иностранных языках продавались плохо — это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям проза в чужом мире оказались неприбыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами».

...Тем временем продолжали поступать письма с просьбами о помощи. Надежда Тэффи пустила по городу остроту: «Нам теперь не хватает еще одной организации — «Объединения людей, обиженных И. А. Буниным» *. Так что Бунин не только вновь остался бедняком, но и нажил себе еще и кучу недоброжелателей.

* * *

Не все ладно было и дома. Если прежде общая бедность сплачивала семью, то нынешнее богатство ввергало ее в распад. В обход лауреата многие обращались за помощью к Вере Николаевне. Та пыталась помогать, но Иван Алексеевич был против сего сепаратизма.

— Ты, Вера, бросаешь деньги на ветер — за неделю раздала неизвестно кому две тысячи. Больше от меня ничего не получишь! — выговаривал ей Бунин.

Еще 10 марта 1934 года Вера Николаевна жаловалась в письме Цетлин: «Дорогая Мария Самойловна, каждый день хочу писать Вам и каждый день проходит зря. И все от нездоровья... Здешний доктор определяет у меня от

---

* Автору этой книги довелось разговаривать с дочерью А. И. Куприна — Ксенией Александровной. Она сказала: «Мы очень обиделись на Бунина. Когда он получил Нобелевскую премию, то нам выделил всего пять тысяч франков». Замечу, что хороший автомобиль фирмы «Рено» стоил в то время менее семи тысяч.

всего пережитого (сегодня год, как я узнала о смерти папы) полное расстройство всех внутренних секреций... Вообще я чувствую к Вам настоящую благодарность за все Ваше отношение к нам, а в особенности к Яну. Действительно, нужно особенно ценить друзей «в счастье», ибо они реже даже, чем в несчастье... Вы очень всем нам помогали в очень нелегкое время. Я очень ценю людей, которые умеют понимать, что нужно в данное время человеку, и у Вас это редкое качество есть.

Огорчения у меня не проходят и большие и меньшие. Последний брат мой серьезно болен. Всякий исход возможен, как он мне сообщает в последнем письме.

Меньшие — это то, что предвидела я, когда просила Комитет (помощи от Бунина. — *В. Л.)* устроить так, чтобы хоть немного денег было в моем распоряжении... Ведь всякую сумму можно распределить так или иначе, и распределить так, что несколько самых близких людей оказались «за бортом». И кроме того, внушили Яну, что он Бог знает что натворил... Он в последнее время послал еще 1700 франков. И мне это очень тяжело, так как порой я знаю, что «творить» и можно и нужно. Приходится иногда мне исхищряться очень, что тоже утомительно. Собирать по сантимам, что не в моем характере, так как личных сумм я не имею, а Ян только дает мне лишь на что-нибудь и лишь на меня. И жаловаться на это нельзя. Рассказываю это Вам лишь потому, что Вы были «скромным наблюдателем» в начале всей этой затеи и, как мне кажется, сочувствовали моей просьбе к Комитету дать в распоряжение мое некоторую сумму, чего Комитет не сделал, а устранив меня, еще укрепил в сознании Яна, что я только о том и думаю, чтобы пустить его по миру.

Ну, да на нет и суда нет. Простите, что я об этом пишу Вам.

Но новость у нас одна: радио, чудесный. Это вносит большое развлечение в нашу тихую однообразную жизнь, правда, несколько улучшенную по сравнению с прошлой.

Сейчас у нас гостит Кирилл Осипович Зайцев *. Он написал очень интересную книгу о творчестве Яна. Мы слушали ее четыре вечера... Ян очень поправился. Опять стал прежним, даже лучше. От радио его трудно бывает оторвать, особенно по вечерам, когда уже все в постели, и я

---

* Правильнее: Кирилл Иосифович Зайцев, автор упоминавшейся книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество», вышедшей в свет в начале сентября 1934 г. в издательстве «Парабола».

слышу, что он один приплясывает, слушая какой-нибудь фокстрот или шансонетку... Ваша Вера Бунина».

Как видим, ничего удивительного не было в том, что уже очень скоро Бунин «разорился от этой страшной и гадкой жизни». И если даже русские не могли взять в толк подобное разорение, то французов оно повергало в шок.

Приведу пример, относящийся к послевоенному времени — концу 1949 года. Русские писатели, знавшие об ужасном положении Ивана Алексеевича, обратились к французским собратьям по перу с просьбой помочь ему. Те собрали приличную сумму для писателя с мировым именем. Деньги передали известному французскому литератору Анри Мембре.

И вот тот появился в доме номер один по улице Жака Оффенбаха. То, что увидел француз, потрясло его воображение. Вот как он сам рассказывает об увиденном: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал: ведь на такое количество гостей этих денег хватит ненадолго, а второй раз собирать нельзя». И правда, эта помощь стала каплей в океане нужды.

Но иностранец, видимо, не знал обычая русских людей: пригласить всякого к столу, кто в дом пришел. Иначе разве можно чувствовать к самому себе уважение?

Когда Бунину приходилось отвечать на вопрос, как он растратил «почти миллион», то он искренне удивлялся:

— Разве русский интеллигент умел когда-либо деньги считать? Увы, и я такой же!

* * *

Оставалось еще нечто такое, что продолжало колебать устои бунинского дома. Речь идет про «удочерение» (так официально назывался этот акт при поездке в Стокгольм) Галины Кузнецовой.

Вопрос этот весьма деликатен, но, пиша биографию Бунина, обойти его нет возможности — уж слишком вошла она в жизнь писателя. Более того, прослеживая отношения Ивана Алексеевича к Галине, отчетливо выявляешь важную черту его характера — доброе отношение к людям. Хотя пристрастие к одним больно переживается другими... Однако из песни слова не выкинешь!

Вот что писала Вера Николаевна в начале 1940 года А. В. Бахраху: «...Ведь вот уже скоро 33 года, как я от-

казалась от жизни по своему вкусу, связав свою жизнь с жизнью Ивана Алексеевича, человека очень оригинального. *Двадцать* лет я прожила с ним в большой душевной близости, силясь слить наши желания, стремления — все воедино, а затем поняв, что это невозможно, стала искать иных путей.

Почему невозможно? Если вы читали Лику, там есть ответ. Я, конечно не Лика, и он — не вполне Арсеньев, но если женщина не живет честолюбием и другими приятными сторонами творческого человека и хочет отклика на свою внутреннюю жизнь, хочет внимания к своей личности, то от творческого человека она никогда этого не получит. Такой человек жаден, ему все мало, он любит брать от всех, а дает себя только в творчестве, а не в жизни.

И вот тринадцать лет я уже ищу и, пожалуй, нашла, нашла Бога и очень рада той свободе, которая (я говорю о внутренней) особенно легко приобретается рядом с творческим человеком. Это мое освобождение ничуть не нарушает дружбу — мои уши всегда готовы выслушать, но я уже не страдаю от того, что есть области жизни, которые интересны *только мне...*»

Это письмо многое вместило между строчек: оно ясно говорит о том, точнее, о той, которая, по мнению Веры Николаевны, мешала ей «слить желания» с мужем. Богоискательство ее продолжалось тринадцать лет — ровно столько, сколько лет назад волевым решением Бунина в дом была введена Кузнецова. Можно представить, как ущемлено было самолюбие Веры Николаевны!

Что она могла сделать? Порвать с мужем? Но от этого ее удерживала не только материальная безвыходность, но в еще большей степени тщеславное сознание, что она — жена самого Бунина. И потом, слишком сильна была надежда, что этот семейный треугольник рано или поздно распадется.

Как показала жизнь, Вера Николаевна в своих надеждах оказалась права. Хотя случилось то, что предполагать ни она, ни кто другой не мог. События разворачивались самым удивительным образом.

* * *

Итак, в нашем повествовании появляется новое лицо — Марга Степун, личность незаурядная. Она была профессиональной певицей, пела в опере, позже подви-

залась на незавидных ролях эстрадной танцовщицы. По определению Веры Николаевны, обладала самолюбивым и честолюбивым характером, была высокого мнения о себе.

Галину она сумела быстро подчинить своей воле, и из-под ее влияния та уже никогда не вышла.

На «Бельведере» Кузнецова появилась лишь весною 1934 года, а в середине мая — и Марга. Самое удивительное в этой истории — Бунин принял их обеих.

8 июня 1934 года Вера Николаевна писала в дневник: «...Марга у нас третью неделю... С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении и ревниво оберегает ее ото всех нас...»

Внешне в отношениях Ивана Алексеевича и Галины вроде бы ничего не переменилось. По-прежнему он был с ней шутливо-вежлив, но с какой-то вдруг появившейся сдержанностью. Они встречались взглядами, и Бунин почти впадал в столбняк, жадно впитывая в себя всю ее будоражащую душу прелесть, все то, что составляет нерушимую и неразгаданную тайну женственности. С жуткой ясностью он понимал: она его коварно и бесстыдно обманула, и прошлое уже никогда не вернуть. Но порой его озаряла надежда: а вдруг все поправимо, вдруг все эти муки разрешатся самым простым и счастливым образом, и что всю эту размолвку он выдумал для себя? Он искал с ней случайных встреч и, натолкнувшись на нее на одной из нижних террас, лежавших под «Бельведером», прогуливающуюся с Маргой под ручку, что-то говорящей ей бодрым самоуверенным голосом, он сгорал от стыда за свою слабость и, стиснув зубы, спешил мимо них, делая вид, что куда-то торопится и что никто ему на свете не нужен...

22 апреля 1936 года ездил в Канны. Вернувшись домой, записал: «...Шел по набережной, вдруг остановился: «да к чему-же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? Все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Щастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное...»

7 июня: «Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения...» Затем — 16 августа: «Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть не каждый шаг был глупостью, унижением! И все время полное безделие, безволие — чудо-

вищно бездарное существование! Опомниться, опомниться!»

В этом самобичевании не все точно. «Безделия» не было — Бунин все это время работал до седьмого пота, собирал материалы для «Освобождения Толстого». Известны его письма в Тургеневскую библиотеку в Париже с просьбами книг о Льве Николаевиче.

Вот одно из таких писем: «Очень прошу правление Тургеневской Библиотеки выслать мне недели на две:

1. Биографию Толстого, составленную Бирюковым.
2. Книгу Мережковского: «Достоевский и Толстой».
3. «Исповедь» Толстого.
4. Жизнь Будды Ольденберга.

Заранее благодарю за исполнение этой просьбы и прошу сообщить, сколько я должен буду выслать Библиотеке за расходы по пересылке и пр.

Ив. Бунин... 24.VI.35».

Впрочем, в бунинских самообличениях много толстовского, того, в частности, что мы находим в той же «Исповеди». Вспомним хотя бы вот это: «Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как я мог не понимать этого в самом начале. Все это так давно известно всем. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман и глупый обман!... Просто — жестоко и глупо!»

И как Толстой призывает очистить душу от скверны, просветлиться, стремиться к чистой и возвышенной жизни, так и Бунин, словно вторя своему кумиру, записывает в дневник первого декабря 1936 года: «Светлая погода. И опять — решение жить здоровее, достойнее...»

На следующий год — 1937-й, вышло «Освобождение Толстого». В книге есть строки, мимо которых проходить не следует: «По всему свету еще держится убеждение, что, невзирая на все свои «опрощения», несмотря на все свои отказы от всякого барства и богатства, жил Толстой все-таки всегда в барстве, в богатстве. Но в легенде об этом барстве и богатстве, равно как и в легенде о великой

греховности Толстого, повинен прежде всего он сам: чего только не наговаривал он на себя! Никто не помнит этих скромных слов: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; но жесток я не был». Но как не помнить того страшного, что говорил он о годах своей молодости и средней поре жизни?

— Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспоминать об этих годах... Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал...»

Это из «Исповеди» Толстого. И тут же плоды работы с другой книгой, которую просил прислать из Тургеневской библиотеки: «Надо сделать еще одну поправку — насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым... Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не видавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильником...»

Так что, уважаемый читатель, не будем называть пилу напильником, рассуждая об особой греховности Бунина. Как святые были склонны рядиться в вериги и власяницы, так многие русские писатели — Толстой, Достоевский, тот же Бунин — стремились к духовной чистоте, целомудрию и бичевали в себе недостатки с такой яростью, которая смущала слабые умы.

* * *

В середине тридцатых годов Иван Алексеевич совершает несколько поездок по Европе. В ноябре 1935 года был в Бельгии и оттуда писал Н. Я. Рощину: «Меня очень чествуют. На вокзале встреча: представители русской колонии, журналисты, фотографы (это 16-го вече-

ром). После сего (вечером же) обед в Русском клубе. Речи, приветствия. 17-го, в 5 часов, было мое выступление — народу пушкой не пробьешь. Читал не плохо! Овации».

Весною 1938 года совершил турне по Прибалтике. 30 апреля Бунин писал Вере Николаевне из Риги: «Труднее *этого* заработка — чтениями — кажется, *ничего нет*.

Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком...

После чтения был банкет. Множество речей, — искренно восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я по крайней мере Шекспир...»

А вот как описывает знакомая Бунина Вера Шмидт, бывшая в 1938 году студенткой, чтение им своих рассказов в Тарту, в театре «Ванемуйне»: «Народу было полно. Нам пришлось тесниться и стоять у стен, молодежи было много — русской, эстонской, немецкой. Бунин вышел с книгой в руках, сдержанно ответил на приветствия, сел к столу. Первым прочел он «Кавказ»... Всего три страницы. Взволнованно и стремительно пишет Бунин здесь о любви, но разве только о любви? Здесь вся Россия, все, что он больше всего любил в ней, — Москва, дорога на юг, степь... Бунин читал при полной тишине и напряженном внимании слушателей... Для нас, кто еще не видел России, это и была она — с ее запахами и голосами, дорогами и селами, горами и морем. Читал он прекрасно. На сцене казался выше своего роста».

В антракте Шмидт увидала Ивана Алексеевича за кулисами. Он сидел за зеркальным столиком, откинув бледное и смертельно усталое лицо на спинку резного стула. Закрытые веки нервно подрагивали. Трудным был этот заработок. Дома в ящике письменного стола он хранил счета гостиниц Лозанны, Милана, Генуи, Загреба, Любляны, Венеции, Белграда, Монтре, Сплита, Гертенштейна, Дубровника...

И везде, повсюду были русские, бедные русские. Они с жадностью внимали его словам, запечатлевали в памяти каждый его жест, клали на край сцены к его ногам цветы. Он казался им лучом родного солнца, на мгновенье согревшего остывающую от разлуки с Россией душу.

Но однажды в Венеции он столкнулся с другими соотечественниками. Это были крепкие мужички, одетые в полувоенную форму, в высокие хромовые сапоги и со свастиками на рукавах. Вытянув по проходу ноги, они развалились на первом ряду. Бунина они почти не слушали, громко переговариваясь между собой. Лишь один из них, с острым птичьим лицом и жесткими усиками «а-ля фюрер», был навязчиво внимателен, постоянно приставая с одним и тем же вопросом:

— Господин Бунин! Вы так и не ответили: какие стихи вы посвятили нам, истинным русским, распятым большевиками?

Бунин сверкнул глазами, желваки напряглись на его лице:

— Распятым, говорите? Да, *вам* я посвящу стихи. Самые свежие, последней выпечки. Прямо сейчас и сочиню.

Зал замер. Даже на первом ряду подобрали ноги в сапогах.

Бунин минуту-другую стоял молча, потом поднял лицо и, глядя в упор на незваных любителей поэзии, чеканя каждое слово, прочитал:

Голгофа не всегда свята —
И воры ведь распяты были,
Но ни Голгофы, ни креста
Они ничуть не освятили.

...Блестя отличной работы кожей, люди в сапогах направились к выходу.

Вечер продолжался.

И снова — вагоны, отели, сцены, публика. У русского поэта была своя Голгофа.

* * *

Дневник Веры Николаевны: «Беспокоюсь о Лёне. С 16 августа ни строки. Ноет сердце за Галю — проедают последние 250 франков» (25 августа 1938 года).

Поди, разберись в человеческом сердце!

ГЛАВА II

Время неумолимо бежало к своей роковой черте. Первого сентября 1939 года согласно «приказу № 1» — первому из бесчисленных военных приказов Гитлера,

немецкие войска перешли границу Польши. Так началась вторая мировая война.

Бунину был ненавистен фашизм, и эта ненависть имела историю. Осенью 1936 года газеты облетело сообщение о возмутительном «деле в Линдау». А произошло следующее.

В начале октября Бунин решил совершить поездку по маршруту Париж — Лейпциг — Берлин — Прага — Мюнхен — Женева — Рим — Париж. Цель была отчасти туристическая, но в большей степени деловая — надо было встретиться с издателями.

Купил в парижском отделении Кука круговой билет и отправился в путешествие. В Праге выступал с чтениями. Затем направился в Швейцарию. Путь лежал через Германию. Вечером 26 октября прибыл в пограничный городок со Швейцарией — Линдау. Пароход, перевозящий путешественников по Боденскому озеру в швейцарский Романсгорн отплывал лишь в полдень следующего дня. Пришлось заночевать.

Утром не подозревавший беды писатель явился к пристани. Здесь находилась таможня. Бунин предъявил властям все, что полагается в таком случае: документы, валюту.

Немецкий чиновник унес паспорт и с полчаса не возвращался. Наконец появился «молодой человек преступного вида». Он схватил старого писателя за руку и куда-то потащил в каменный сарай таможни, в котором во все щели и раскрытые окна дул холодный осенний ветер. А дальше... Дальше Бунина втолкнули в какую-то камеру и, ни слова не говоря, стали срывать одежду.

Бунин был изумлен и напуган:

— Что такое? За что? Почему?

От подобного неслыханного оскорбления кровь хлынула в голову, он едва не потерял сознание.

«Господин» с какой-то озверелой жестокостью продолжал раздевать и разувать нобелевского лауреата, обшаривать его вещи, залез в подкладку шляпы, местами оборвав ее. Пытался оторвать даже подошвы ботинок.

Бунин стоял перед ним раздетый и босой на холодном каменном полу. Пароход тем временем отошел.

Затем его потащили через весь город под проливным дождем в какое-то громадное здание, которое он принял за тюремный дом. Затем обыск был продолжен — он шел ровно три часа. У писателя осматривали каждую вещицу, каждую бумажку, носки просмотрели даже на свет. Из-

влекая из портфеля бумаги или книги, фашисты злобно орали:

— Что это такое? Что здесь написано? Кем? Кто это писал? Ты — большевик?

Обнаружив в портфеле книги о Толстом с его портретами, они просто остервенели, плевали и топали ногами:

— А, Толстой! Толстой!

Потом появилась женщина с какими-то «прозрачными и сверлящими» глазами, задавала разные бесстыдные вопросы, и наконец Бунину заявили, что он свободен.

Приехав в Женеву, писатель разболелся, у него начался после издевательства в Линдау кашель и сильный жар. Поездку пришлось прервать и вернуться домой.

В ответ на бурю негодования, поднятую европейской печатью, немецкие фашисты ответили со свойственной им наглостью (заявление официального агентства): «Контроль носил чрезвычайно вежливую форму, и г. Бунин не подвергался ни плохому обращению, ни аресту».

Это «заявление» «Последние новости» опубликовали под жирным заголовком: «После издевательства над И. А. Буниным».

...Линдау он запомнил навсегда!

* * *

Итак, в 5 часов 45 минут первого сентября 1939 года 44 немецкие дивизии, включая все механизированные и моторизованные силы Германии, пересекли немецко-польскую границу. В тот же день, нервно выкрикивая и энергично жестикулируя, Гитлер в своей речи в рейхстаге поклялся, что вернется победителем или не вернется вовсе.

Когда третьего сентября Геринг узнал, что Англия и Франция объявили войну Германии, он проревел в микрофоны: «Да поможет нам Бог, если нам суждено проиграть эту войну!»

Как утверждал фашистский генерал Зигфрид Вестфаль, «если бы французская армия предприняла крупное наступление на широком фронте против слабых немецких войск, прикрывавших границу (их трудно назвать более мягко, чем силы охранения), то почти не подлежит сомнению, что она прорвала бы немецкую оборону, особенно в первые десять дней сентября. Такое наступление, начатое до переброски значительных сил немецких войск

из Польши на Запад, почти наверняка дало бы французам возможность легко дойти до Рейна и, может быть, даже форсировать его. Это могло существенно изменить дальнейший ход войны.

Однако, к изумлению многих немецких генералов, французы, которые не могли не знать о нашей временной слабости, ничего не предприняли... Гитлер, утверждавший, что французы не сумеют использовать эту превосходную возможность, снова оказался прав... А теперь на повестке дня стоял разгром Франции».

А в самой Франции... В ресторанах веселились «как в мирное время» — до зари. В опере шла «Медея» с участием Сергея Лифаря. Первого мая французские газеты опубликовали любопытный проект победоносного завершения войны. Американский миллионер Самуэль Гарден Черч, директор Института Карнеги в Питсбурге, объявил премию в миллион долларов за поимку Гитлера живым и невредимым. И тут же, под проектом, остроумная карикатура: Риббентроп спрашивает Геббельса, показывая на портрет Гитлера: «Скажи, ты не знаешь, этому самому Черчу можно верить на слово?»

Престарелый и выживший из ума норвежец Кнут Гамсун публично упрекал соотечественников за сопротивление германцам. Газеты припомнили, что еще в 1935 году он яростно выступал против присуждения Нобелевской премии мира немецкому писателю Карлу фон Осецкому, находившемуся в концлагере за осуждение гитлеровского режима. В 1936 году премия была присуждена, а через год по приказу Геббельса Осецкий был убит.

Русский писатель Михаил Осоргин назвал «гнусной» позицию Гамсуна, выразив общую точку зрения своих соотечественников.

Павел Николаевич Милюков публиковал статьи, в которых писал, что Гитлер — «неврастеник в крайней степени, одержимый манией величия, влюбленный в себя и считающий других своими орудиями, не терпящий и просто не слушающий возражений, умеющий только вещать — до фальцета, до хриплого крика — или погружающийся в загадочное молчание. «Сверхчеловек, божество»! Или антихрист? Люди этого типа часто обладают гипнотической силой, которая легко покоряет толпу — тем легче, чем толпа больше... Как ненормальные люди «одной идеи», Гитлер хитер» («Последние новости», 23 января 1940 года).

«Гитлер — тщеславный ремесленник, старающийся

пробиться в культурную среду... Гитлер не читает книг» (там же, 2 февраля).

Честные русские, как и честные французы, пытались вдохнуть отвагу в остывающую кровь 84-летнего премьер-министра маршала Анри Филиппа Петена.

Дон-Аминадо публиковал свои стихотворные фельетоны, напоенные ядом сатиры и горечью разочарования:

Бьют барабаны, играет труба,
В ногу с солдатом шагает Судьба.
В небе штандарт переливом горит,
Фюрер с балкона слова говорит.

Немцы становятся все на носки.
Немки кидают ему васильки.
Пенится пиво в тяжелых ковшах.
Марши звучат в музыкальных ушах.

Матери спешно рожают детей.
Дети нужны для великих затей.
Каждый ребенок вольет ручеек
В общий великий германский поток.

Судьба заготовила незавидную участь Франции, которая расплачивалась за трусость и предательство своего правительства. 5 июня войска вермахта форсировали Сену. 14 июня они заняли Париж. 17 июня Петен наивно предложил Гитлеру перемирие, но фашистские войска продолжали захват Франции. Их армии вышли к Атлантическому океану в районе Бордо. 10 июня в войну вступила Италия — на стороне Германии. Франция оказалась поверженной.

Фашисты маршировали по Елисейским полям и галантно скалили зубы француженкам. Популярной стала песенка:

Жизнь быстрее всякой пули:
Жили. Были. Драпанули.
С гордо поднятым забралом
Отправляемся по шпалам.

Бунин тоже пытался убежать от оккупации, но только не по шпалам, а по забитым беженцами дорогам. Но скоро выяснилось, что бежать некуда.

С «великими слезами и муками» Бунин 24 мая сумел вернуться вместе с солдатами, с их мешками и беженцами, не знавшими, в какую сторону бежать, где искать спасения — с одной стороны немцы, с другой — итальянцы, до Граса через Лион и Канны.

Дома ждала новая напасть — местные французские власти (Грас еще не был оккупирован) вспомнили, что у Марги Степун немецкий паспорт. Напрасно она пыталась доказывать, что ей как еврейке возвращаться в Германию — все равно что в петлю самой залезть.

— Мы обязаны отправить вас в концлагерь! — заявил жандарм. — Военные законы выше наших личных желаний.

— Сколько у Бога дней, столько у бедного Макарки напастей! — воскликнул Иван Алексеевич и поспешил к начальству с посулами, просьбами, подарками.

Вспоминая о своих злоключениях, Бунин записал в дневник 25 июля: «По приезде домой с неделю мучились, хлопотали, отбивая Маргу от концентрационного лагеря (у нее немецкий паспорт).

10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал до часу. В час открыл окно, высунулся — один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде не единого огня.

Дальше — неделя тревожных сборов к выезду из Граса — думали, что, может быть, на несколько месяцев — я убрал все наше жалкое имущество. Боялся ехать — кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит вся Франция, вшестером, с 30 местами багажа... Уехали больше всего из-за Марги — ей в жандармерии приказали уехать из Alpes Maritimes* «в 24 часа!». Помогли и алерты, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алерт был у нас в воскресенье 2-го июня, в 9-м часу утра.)

3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: «Страшный налет на Париж, сброшено больше 1000 бомб». 5-го июня прочитал в «Eclair»**, что убитых в Париже оказалось 254 человека, раненых 652. Утром узнал и по радио, что началось огромное сражение... 6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александровной Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина — крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал — что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Ниццу — барьеры, баррикады...

Выехали мы (я, Вера, Марга, Галя, Ляля и Оля)

---

* Приморские Альпы *(фр.)*, департамент.

** «Eclaireur du Soir» — французская буржуазная газета.

16-го июня, в 10 ч. утра, на наемном, из Нима, автомобиле (2000 франков до Нима)... 17-го выехали опять в такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом опять на Lafrançaise *, возле которого ферма Жирова **. Остановки по дороге военными стражами, проверки документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка..., подошел крестьянин лет 50 и со слезами сказал: «Вы можете ехать назад — армистис!» *** Но назад ехать было нельзя, не имея проходного свидетельства. Завтрак под с. Этьен (?). Опять виноградники, виноградная степь. За Нарбоном — Иудея, камни, опять виноградники, ряды кипарисов, насаженные от ветра... Мерзкая Тулуза, огромная, вульгарная, множество польских офицеров... (По всему пути — сотни мчащихся в автомобилях беженцев). В Монтобане — ни единого места. В сумерки — Lafrançaise — тоже...»

* * *

Бунин вернулся в Грас 9 июля 1940 года. Он его теперь не покинет до светлых весенних дней конца апреля 1945-го. Ему предстояло прожить здесь (на вилле «Жаннет», куда он переехал еще 27 сентября 1939 года — хозяйка спешно бежала на родину, в Англию и сдала ее весьма недорого) самые жуткие годы в его жизни. Были голод и — что особенно тяжело переносил Иван Алексеевич, — «арктический холод». Все это так. Но эти беды, как звук в мембране, усиливались до страшных размеров тревогой за самое, как уяснил себе Бунин, дорогое, что может быть у русского человека — за судьбу отечества.

Время трагических событий близилось.

---

* Правильнее: La francaise — «Француженка» *(фр.)*. Возможно, название старого замка (шато).

** И. А. Бунин дружил с семьей Жировых. Их дочь Оля с четырехлетнего возраста жила в доме Буниных. Иван Алексеевич изливал на нее свои отцовские чувства, даже следил за ее школьными успехами, посвящал ей шутливые стихотворения. До самой смерти Бунина она называла его Ваней. С ее матерью Еленой Николаевной (Лялей) у Ивана Алексеевича были вполне приятельские отношения.

*** От armistice — перемирие *(фр.)*.

ГЛАВА III

Крупный советский писатель* говорил: «Чувство меры, спокойная умеренность, профессиональная честь, здравомыслие — предпосылки всех истин, всех оценок, и в первую очередь самоуважения. Но вот они, сверхизлишества, кричащие на многих страницах одной крупной литературоведческой работы: «несносность характера Бунина...», «поразительная его злобность», «эта назойливая кичливость». ...В дневнике за 1915 год Бунин записал: «плакал, пиша конец». Речь идет о рассказе «Господин из Сан-Франциско». И тут литературовед спрашивает с грозной злорадностью: «Над чем плакал писатель — над неожиданной гибелью своего безымянного американского миллионера?» ...Что ж, поистине — в лавровом венке всегда есть терновые иглы, жалящие даже мертвого».

Сколько ошибочного и откровенно лживого наплетено вокруг имени чистейшего русского писателя! В чем его только не обвиняли — от «антипатриотизма» до «холодной жестокости» и «эротизма».

Конечно, можно утешиться афоризмом: «Истина так ценна, что ее обязательно должен сопровождать огромный кортеж лжи». Но лучше противопоставить этому «кортежу» факты. И что может быть доказательней документов — дневниковых записей Бунина, его писем, свидетельства тех, кто его знал лично?

* * *

Бунин недоумевал, с какой легкостью немцам удалось подмять под себя Францию. «Скучно — и все дивишься: в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция!» — записал он в дневник.

Вот от этого позора и от прочих напастей некоторые друзья Бунина решили перебраться за океан — в США. Седьмого августа сорокового года Иван Алексеевич отправился в Ниццу — на свидание с Цетлиными. Они уже поджидали писателя в кафе «Казино».

— Что вы сидите? — начала его сразу убеждать Мария Самойловна. — Во Франции оставаться нельзя. Гитлер шутить не любит. В концлагерь хотите? А если не это, так легко погибнуть от бомбежек или голода.

---

* Ю. Бондарев. Речь на VII съезде писателей СССР. См.: «Литературная Россия», 1986, 4 июля.

Посмотрите, вы стали настоящим скелетом! Смотреть страшно. А в Америке вам будут рады — лауреат Нобелевской премии! Там это умеют ценить.

Бунин молчал.

Тогда Цетлин начала перечислять тех, кто едет в США — Яша Цвибак, Марк Алданов...

Он никак не хотел ссориться с могущественной Цетлин. И, поддавшись вроде на ее уговоры, они вместе прямо из кафе направились в американское консульство. Консул принял их радушно, угостил вкусным кофе и хорошим коньяком. Он объяснил Бунину, какие нужны документы для получения въездной визы. Тот согласно кивал головой, но, вернувшись домой, уже перед самым сном, вдруг — как бы ни к месту — сказал жене:

— Черта с два! У меня совсем другие планы. Поедем, но в противоположном направлении.

Она не поняла — о чем речь? Но переспрашивать не стала. Знала — не ответит.

Он старательно заносил в дневник:

«9.VIII.40. Пятница.

...Алданов с самого приезда своего все твердит, что будет «гражданская война». Твердо решил уехать в Америку...

Цетлины тоже собираются...

Ни риса, ни макарон, ни huile *, ни мыла для стирки.

10.VIII.40.

Продолжается разграбление Румынии — румыны должны дать что-то еще и Венгрии.

8-го была огромная битва немецких и английских авионов над берегами Англии...

Все растет юдофобство — в Румынии новые меры против евреев. Начинает юдофобствовать и Франция...

15.VIII.40.

Немцы стреляют по Англии из тяжелых орудий. Англичане бомбардировали Милан и Турин. Болгарские и венгерские требования к Румынии. Румынский король будто-бы намерен отречься и скрыться в Турции...

17.VIII.40.

Проснулся в $6^1/_2$ (значит, по настоящему в $5^1/_2$). Выпил кофе, прочитал в «Вестнике Европы» (за 1881 г., взял в библиотеке канской церкви) «Липяги» Эртеля **.

---

* Масла *(фр.)*.

** Ранний рассказ писателя А. И. Эртеля (1855—1908), вошедший в его сборник «Записки Степняка».

Ужасно. Люба должна выйти за «*господина* Карамышева», камер-юнкера, богача, пошляка, проповедующего «верховенство» дворянства в России надо всем, его опеку над народом — «на благо народу». Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна...

Все утро все долины и горы в светлом пару. Неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышный горьковатый запах воздуха — уже осенний.

...Огромный налет немцев... на Лондон, на берега Темзы — «все в дыму, в пламени...» Кажется, и впрямь начинается.

Погода разгулялась, тишина, зной, торопливо, без устали, без перерыва точат-точат цикады у нас в саду.

Сейчас около 7 вечера. Были в городе за покупками... Магазины почти пусты — все раскупалось последний месяц бешено. Уже исчезло и сало (масла нет давным-давно). Мыло для стирки выдают по карточкам маленькими кусочками, весят, как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего».

Июньское бегство нанесло непоправимый удар по его бюджету. Он потратил — по сути на ветер! — все, что у него оставалось от «добрых времен». Он отлично понимал — впереди ждут его трудные, а может быть, страшные времена. И он, стиснув зубы, повторял:

— Поеду, поеду... Но не в США!

И он продолжал следить за военными событиями с некоторым любопытством, но словно несколько отстраненно — дескать, события серьезные, но... Но ведь это не Россия, слава богу, воюет!

И вновь дневники:

«20.VIII.40.

...Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) — он виден далеко внизу — Божьей Матери и Маленькой Терезе (Божьей Матери над порталом, Терезе в соборе, недалеко от входа, справа). Развернул Библию — погадать, что выйдет; вышло: «Вот Я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф; ибо наступит день твой, время, когда Я посещу тебя...»

На следующий день, 21 августа перед вечерним чаем отправились гулять — необыкновенный случай! — «всем семейством». Солнце только-только скрылось за лесистым холмом. В воздухе сухо пахло елью. Внизу, в старом городе, в домах начали зажигать огни. Зуров и Магда стали обсуждать последнюю новость — убийство Троцкого.

— Кто только не владел Россией! — грустно усмехнулся Бунин. — Был бледный офицер, любивший поглаживать свои красивые усы...

— «Малообразованный офицер» — так его назвал Толстой, — вставила Галина. — И какая ужасная смерть!

— Разве он мог думать, какой смертью погибнет сам и вся его семья? И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после трагедии опять в Данию. — Бунин остановился, разглядывая сизую дымку, заволакивавшую долины. — Велико безобразие мира. И лишь природа вечно утешает нас.

Вера Николаевна посмотрела на мужа:

— А разве Троцкий, добравшийся до вершин власти, мог предвидеть?..

— До Троцкого был еще наш друг — этот неврастенический Онегин с моноклем в глазу — Керенский. «Мне отмщенье и аз воздам»: почему никто не хочет думать об этом? Бог дал человеку разум для добрых дел: прощать ближних, увеличивать добро в мире. А о чем думал в свою последнюю минуту этот сын колониста Херсонской губернии Лейба Бронштейн-Троцкий? Хоть раз вспомнил о душе и совести, когда разорял чужие гнезда, когда миллионы людей делал несчастными? Подумал ли о том, что должны были испытать в свой последний миг дети «бледного офицера»? Зло всегда возвращается на голову того, кто его выпустил в мир! — убежденно закончил Иван Алексеевич.

Вечером, когда полная луна мертвенно заглядывала в окно его комнаты, Бунин писал в дневнике:

«21.VIII.

...В вечерней газете: Рузвельт опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду в Англию; известие, что Троцкий умирает — кто-то проломил ему череп железным бруском в его собственном доме в Мексике. Прежде был-бы потрясен злым восторгом, что наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично...

23.VIII.40.

Некролог Троцкого (Лейба Бронштейн) писал кто-то очень осведомленный — кем? немцами?

...Да, да, а прежней Франции, которую я знал 20 лет, свободной, богатой, с Палатой, с Президентом Республики, уже нет! То и дело мелькает это в голове и в сердце — с болью, страхом — и удивлением: да как-же это

рушилось все в 2 недели! И немцы — хозяева в Париже!»

Бунин, с глубоким уважением всегда относившийся к Франции и ее удивительному народу, все же много раз в семейном кругу говорил:

— Нет, подобного с Россией не могло бы произойти! Сейчас много говорят, что Гитлер полезет на нас, на русских... Трудно в это поверить! Но, в случае чего, мы этому припадочному холку намнем. Уж это как пить дать!

24 августа пришло письмо от Алданова: «Я получил вызов к американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С. Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем (Татьяна Марковна * — буквально), что есть...»

Вечером того же дня на «Жаннете» появился мальчишка-почтальон. Тяжело дыша от быстрой ходьбы, он вручил телеграмму — от Цетлин: «Двадцать пятого жду Каннах двенадцать часов кафе... Приезжайте обязательно».

— Не было печали, черти накачали! — раздраженно сказал Иван Алексеевич. — Опять небось будет уговаривать...

Он не ошибся. Мария Самойловна в самых страшных красках рисовала Бунину его будущее, если он не уедет в США. «За подъемными дело не станет!» — заверила она.

Бунин записал в дневник, вернувшись с этого свидания:

«25.VIII.40. Воскресенье.

...Поехал в Cannes. Нашел Цетлин в кафе... Уговаривала, чтобы я серьезно подумал об Америке — «жить тут вы все равно не сможете». Сказала, что Авксентьев уже уехал, Вишняк и Руднев ** тоже уже получили визы. «Почему так скоро?» — «Американские социалисты ходили к самому Рузвельту, просили за социалистов во Франции...» Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!»

Бунин был в щекотливом положении. В его планы никак не входил отъезд за океан.

Он отвечал туманно:

— Поживем — увидим...

---

* Жена Алданова.

** Все — руководители бывшей российской партии эсеров.

Но она не снимала осады. Ее настойчивость настораживала, но доверчивый Иван Алексеевич готов был приписать все «человеколюбию» Марии Самойловны — так, по крайней мере, она сама об этом говорила.

Она уже почти перестала расставаться с ним. Вот дневниковая запись Бунина 27 августа:

«Вчера завтракал в Cannes с Цетлиными и Алдановым. Цетлины и Алданов приехали к нам со мною к вечеру на обед и ночевку. Нынче у нас завтракали Адамович, Кантор, Цетлины и Алдановы...»

Кантор, крупный человек, постоянно вытиравший потную шею носовым платком, одну за другой откупоривал привезенные с собой бутылки. Весь стол заставили такими деликатесами, которые Бунин не видал с «нобелевских дней» — анчоусы в банках, корнишоны, эскарго (съедобные улитки), сыр дю Бри, буден (кровяная колбаса)...

— Вновь расстаемся с вами, — говорил Михаил Осипович Цетлин. — Кто бы думал, что дважды бежать придется? Тогда от большевиков, теперь от немцев...

— Вам шабли или сотерна? — мятным голосом осведомился у Бунина Кантор. — Выпьем за то, чтобы наша разлука была недолгой. Александр Федорович Керенский тоже сомневался, а теперь очень рад. Америка — богатая и культурная страна. Первое время поживете под Нью-Йорком, там зарезервировано для вас удобное место — комфортабельная вилла, зеленый уголок. О вас будут беспокоиться, обслуживание отличное!

— За что такие нежности?

— В Америке любят нобелевских лауреатов — разве и это надо объяснять?

Бунин видел прежде Кантора раз или два у Цетлиных.

Мария Самойловна, у которой Бунин спрашивал о Канторе, загадочно ответила: «О, это большой человек!» И все.

Теперь Цетлин, весь вечер не поднимавшая в разговорах тему отъезда Буниных, вдруг встала из-за стола с бокалом вина:

— Мы с Михаилом Осиповичем решили: в Европу больше не вернемся, разве только туристами. Итак, за свидание с дорогими Буниными... в Нью-Йорке! — И она пригубила вино.

* * *

Цетлины и Алданов покинули Францию в начале второй декады сентября сорокового года. До отъезда они уже не увидели Бунина. В Лиссабоне дождались американских виз и 29 декабря благополучно завершили морское путешествие в Нью-Йорк.

Но Цетлины успели получить письмо, которое Бунин пометил 9 сентября: «Милые друзья, если не вернетесь в наши края, нам будет, конечно, это грустно, но что-ж делать? Храни вас Бог...

Я получил письмо от писателя Гребенщикова (он уже чуть не 20 лет живет в Америке). Пишет, что американцы народ грубый, материальный до крайности, что даже большому писателю там легко умереть с голоду. Как-то (насколько понимаю, совсем недавно) русское общество помощи писателям в Нью-Йорке устроило вечер в пользу Тэффи: собрано было 60 центов! После этого, что-же я должен думать?

Горячо вас прошу — попомните обо мне... Найдите добрых и богатых людей, которые могли-бы прислать мне что-нибудь: месяца через 2, через 3 средства мои совершенно иссякнут — и что тогда? Ужели нобелевскому лауреату погибать?..» *

В тот же день записал в дневник: «...Вечернее радио: немцы *продолжают* свое дело (бомбят Лондон. — *В. Л.*). Англичане три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то американской газете говорят: «Это истинный ад на земле!»

Опять думал о том *необыкновенном* одиночестве, в котором я живу уже столько лет. *Достойно написания»*.

Накануне Бунин отметил в дневнике: «...9 часов вечера. Восьмичасовое радио: ...«гигантская битва» немцев с англичанами. ...Уже два часа идет дождь, и через каждые пять секунд тяжко, со стуком потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на «фраме» Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок — очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить?»

---

* Письмо хранится вместе с другими, адресованными Буниным Цетлиным, в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (фонд 429.4.14). О Г. Д. Гребенщикове см. в «Примечаниях».

Но тревога за будущее не заглушала в Бунине мыслей о творчестве: «...Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людовигу Моро — между прочим, в качестве скульптора и живописца: «во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, — *по сравнению с кем угодно»*. Вот это я понимаю!

Пушкин незадолго до смерти писал: «Моя душа расширилась: я чувствую, что могу творить!»

Крепка тайна творчества! Именно в эти сентябрьские дни бунинское вдохновенье расправило крылья — вроде бы без всяких внешних причин, в трудные, ненадежные времена! 20 сентября он начал «Русю», а закончил ее 27-го, через неделю *.

Затем последовали «Красавица», «Дурочка», «Антигона», «Смарагд», «Волки», «Визитные карточки», «Зойка и Валерия», «Таня» и один из трогательнейших рассказов в русской литературе — о любви — «В Париже». Он помечен 26 октября — чуть больше месяца после написания «Руси». Все они войдут в сборник «Темные аллеи».

С рассказом «В Париже» связана примечательная история.

... — Ба, да тут уже вся «фамилия» в сборе, — шутливо произнес Иван Алексеевич, 26 октября усаживаясь за ужин. — Та птица голосисто поет, что хорошо ест да пьет.

Вера Николаевна суетилась у плиты. Галина тонкими ломтиками резала хлеб. Зуров, что-то пережевывая, упершись локтями о стол, дочитывал какую-то книгу. Появился и новый жилец, знакомый нам Бахрах — историю его появления на «Жаннет» мы расскажем чуть позже, а пока что он долго вылавливал большим черпаком что-то в кастрюле с супом. Наконец, зацепив изрядную кость с мясом, которое он самолично выменял на базаре на свои армейские сапоги, положил ее в тарелку патрона и благодетеля.

— Целый оковалок! — с приятным удивлением проговорил Бунин. — Вера, возьми себе кусочек...

— Я уже ела, Ян, — говорила Вера Николаевна, то-

---

* Художница Т. Д. Муравьева-Логинова в своих воспоминаниях «Живое прошлое» («Литературное наследство», т. 84, кн. II) пишет о том, как Вера Николаевна сказала ей: «Вас «князь» (прозвище Бунина. — *В. Л.*) описал. Все вас узнали! — Где? — В рассказе «Руся». Вы — художница «Руся»...»

ропливо вытирая руки о передник. — А вот ты обедал кое-как, на лету.

И впрямь в тот день он даже не спускался к обеду, а поел у себя — не хотел прерывать работу. Теперь он был оживленно-весел. Это означало — сегодня поработал на славу.

— Иван Алексеевич, — произнесла Марга, по своей привычке смешно, по-птичьи, наклоняя голову чуть набок, — можно полюбопытствовать: о чем сегодня писали?

Марга была сообразительной. Она уже твердо усвоила: когда Бунин в хорошем настроении, ему можно задавать любые вопросы, в том числе и о «тайнах творчества».

Иван Алексеевич охотно отозвался:

— Как всегда — о любви. Действие — не удивляйтесь! — происходит не в России, как обычно в моих рассказах, а в Париже. Но это любовь русских...

— И как вы назвали рассказ? — не унималась Марга.

Бунин с удовольствием расправлялся с картофельным супом и, казалось, не слыхал этого вопроса. Потом вдруг произнес:

— Пока заголовок не придумал...

Он вновь надолго умолк, что-то обдумывая и сосредоточенно расправляясь с костью. Затем остановился и широко улыбнулся:

— Так и назову — «В Париже». Заголовок ничего не должен говорить читателю о содержании, хорошо, когда он несколько даже отвлечен от темы. Это интригует, это заставляет читателя думать.

Выпив чай, никто не расходился. Иван Алексеевич принес рукопись, приготовил «вечное перо», залитое любимыми черными чернилами, — для поправок и начал:

«Когда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью, и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни...»

Уже начало всех захватило. Даже Вера Николаевна присела на краешек стула, не пошла мыть посуду.

Бунин продолжал, порой на минуту-другую прерываясь и внося поправки:

«Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — неприятно шутил, если разговор касался женщин:

— Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину...»

Бунин остановился, подумал и произнес:

— Пожалуй, эту фразу герой должен говорить так, как сам слыхал ее — по-французски...

Он сделал пометку и возобновил чтение. Речь шла о том, как однажды поздней осенью, в сырой парижский вечер герой рассказа забрел в небольшую русскую столовую, каких в темных переулках возле улицы Пасси великое множество. И тут он знакомится с тридцатилетней официанткой. Между бывшим генералом и этой женщиной вспыхивает горячее чувство, полное зрелой нежности и вполне юного романтизма. Кажется, что эти несчастные люди, судьбы которых исковеркала гражданская война, теперь наконец-то обретут счастье. Но...

Иван Алексеевич читал финальную сцену:

«Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

— Предосторожность никогда не мешает, — говорил он. — Любовь заставляет даже ослов танцевать, и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченой.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к

лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде».

Бунин закрыл папку с рукописью. Никто не проронил ни слова — так были потрясены.

...Все последние дни погода вела себя вполне капризно: солнечное небо вдруг заволакивалось тяжелыми набухшими облаками, наползшими откуда-то из-за Альп. Проливался обильный дождь, и вновь голубело небо.

В ясный безветренный вечер Бунин позвал Бахраха: «На прогулку!»

Бахраху, еще не успевшему хорошо обжиться в бунинском доме, такая прогулка по грасским окрестностям была внове. Бунин привычно-легко шел по каменистой дороге, по-мальчишески размахивая прутом и обсуждая со спутником неудачные военные события последних месяцев.

Выждав паузу, Бахрах ловко перевел разговор на более интересную для него тему — литературную.

— Я был потрясен, Иван Алексеевич, вашим рассказом «В Париже». Думаю, что ему суждено стать одним из шедевров вашего творчества, — искренне признался Александр Васильевич.

— Наперед никогда не угадаешь, как сложится судьба того или иного произведения, — просто ответил Бунин. — Когда я писал «Деревню», то даже и думать не мог, что она произведет столько шума. Ну а тут — всего лишь небольшой рассказ. Да и вовсе неизвестно, как сложатся события дальше: пока что печататься негде. Пишу про запас. Да и время такое, что не только от рукописей, от нас неизвестно что остаться может...

Он остановился, широко вздохнул сырой, напоенный осенней сырой прелью воздух. Снизу, из долины, медленно поднимался, сгущаясь вдали, белый молочный пар. Протяжно ревели коровы, трогательно и жалко детский голос выводил старинную французскую песенку, хлопали двери и ставни, хозяева этих древних лачуг лениво перекрикивались, готовясь отойти к раннему провинциальному сну. Темнота внизу, среди этих древних камней, все более набирала силу, и в маленьких окошках то и дело зажигались розовые и желтые огни.

— Вот эта горная дикость все переживет, — задумчиво проговорил Бунин. — Как стояла она недвижимо тысячу лет назад, так и будет стоять твердо, нерушимо, с этим белесым туманом, со звоном колокольцев овечьего

стада, с торопливым ручьем, неиссякаемо бегущим вниз по отшлифованным столетиями белым камням...

— Скажите, Иван Алексеевич, а сюжет «В Париже» тоже выдуман вами?

Бунин ответил не сразу, залюбовавшись какой-то тучкой над Эстерелем. Тучка была фиолетово-синей, а снизу и особенно сбоку ее как-то по-особенному освещал яркий запоздалый луч уходящего за горизонт солнца.

— Господи, в какой красоте живем! Как страшно, что придет день, и наши глаза не смогут наслаждаться этой первозданной прелестью, которая была миллионы лет до нас... — Его голос дрогнул, но он быстро взял себя в руки и сказал:

— Сюжет, конечно, выдумал... Но была со мной история, которая крепко запала в душу. Когда-то, еще в двадцатые годы, когда я был еще совсем молодой или, по крайней мере, чувствовал себя таким, пришел однажды на улицу Тюрбиго, в редакцию «Последних новостей». Редакция, вы помните, размещалась на втором этаже, а на первом — кафе Дюпона, куда все мы любили захаживать.

Вот и в тот памятный день, после встречи с Милюковым, я заскочил туда выпить рюмку коньяку и чашечку кофе. В зале было довольно оживленно, и я не без труда отыскал себе свободный столик.

Не разглядывая публику, опустился на стул и достал из кармана пиджака верстку рассказа, который шел в воскресном номере «Последних новостей» и которую получил от Павла Николаевича, и стал эту самую верстку вычитывать. Вдруг я уловил — вы ведь знаете какой у меня острый слух! — обрывок фразы, произнесенный на русском языке:

— Терпение — медицина бедных!

Я поднял от верстки глаза и увидал любопытную пару. Ему было лет под пятьдесят, но выглядел он очень моложаво — весь какой-то подтянутый, прямой — отличная гвардейская осанка, ежик коротких седеющих волос, очень спокойное и доброжелательное лицо, умные пронизывающие глаза.

Его спутнице — шатенке с красивыми густыми волосами, мягкими волнами спадавшими на плотные, чуть широковатые плечи, было немногим больше тридцати. Вся она светилась каким-то необыкновенным счастьем,

любовью к своему спутнику. Она не отрывала нежного взгляда больших, чуть навыкате, серых глаз от его лица и громко, от души хохотала над каждой его шуткой.

Признаюсь, я невольно залюбовался этой парой и... немного позавидовал. Разве есть на свете большее счастье — любить и быть любимым? Конечно, нет...

Некоторое время спустя я вновь встретил их у Дюпона. Они сидели за угловым столиком, он, как и прошлый раз, был подчеркнуто-спокоен и заботливо-предупредителен к ней. Она — нежна, весела и непринужденна. Он что-то сказал, она расхохоталась, привстала и вполне по-парижски сочно поцеловала его в губы.

Допив кофе, я бросил на них прощальный взгляд и вышел на улицу. Больше я их не встречал, но порой вспоминал с некоторой грустью: как редка такая любовь и как они должны быть счастливы друг другом...

И вдруг, спустя год или два, я куда-то опаздывал, выскочил на улицу Моцарта и прямо-таки налетел на женщину, одетую в глубокий траур. Она молча взглянула на меня крупными серыми и до боли знакомыми глазами. У меня внутри даже что-то дрогнуло от какого-то мистического ужаса. Я остолбенело взглянул на ее красивое, бледное лицо, застывшее в каком-то смертельном отчаянии, и тут же вспомнил — это та самая незнакомка, которую встречал я у Дюпона!

Она даже, кажется, не услыхав моих извинений, заспешила прочь.

Какая трагедия произошла? Что заставило эту женщину, которую я видел прежде такой счастливой и беззаботной и спутнику которой я позавидовал, что заставило ее облечься в траурные одежды? Никогда мне этого уже не узнать.

Все это с необыкновенной остротой и даже болью я припомнил совсем недавно, когда, отпраздновав мой день рождения, я долго не мог уснуть. Лежал в постели и выдумывал события вокруг истории, невольным свидетелем которой я некогда стал.

Фантазия работала вовсю. Я легко представил себе сцену их первой встречи, по-молодому вспыхнувшей любви, согревшей их души, столько видевшие и перенесшие и уже не рассчитывавшие на счастье. Но вот внезапно умирает ее друг, бывший генерал. И она вновь остается в одиночестве, в пустой квартире чужого города, среди

равнодушных и чужих людей... И она точно теперь знает, что счастья и любви ей больше не видать.

Утром я долго спал, а проснувшись, тут же сел за стол... Написал одним духом, но дня три шлифовал. Так и появился рассказ «В Париже». Ваше профессиональное любопытство, Александр Васильевич, удовлетворено?

...Когда они возвращались на «Жаннет», звезд уже не было — вновь небо заволокли тяжелые тучи, брызнул мелкий теплый дождик. Где-то рядом сильнее зашумел горный ручей.

* * *

Ну а теперь о самом дне рождения.

Незаметно, за работой, подошел юбилей — 70-летие. Иван Алексеевич записал: «23.X.40. (10.X.40 по старому стилю), $11^1/_2$ часов вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукивание капель. Иногда все сотрясающие раскаты грома. Лежал, читал «Несмертельного Голована» Лескова, потом выпил полстаканчика водки.

70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже на Дворянской улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного, и пройдут они очень быстро...

Проснулся поздно (в 9 часов), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь. Все-таки мое рождение немного праздновалось — баранье плечо, вино (Марга подарила Понте-Канэ). Галина переписывала «Таню», которую я кончил вчера в 5 часов вечера».

Вера Николаевна сделала подарок — преподнесла пакетик кофе, который давно хранила для дорогого дня.

Когда «барышни» и Зуров, за неделю перед этим вернувшийся из психиатрической лечебницы — в очередной раз! — разошлись по своим комнатам, они долго-долго сидели вдвоем.

Бунин вспоминал Орел, Елец, Полтаву, годы молодости, свои первые влюбленности, страдания, бедность.

— Всю жизнь — бесконечная работа, напряженные размышления, честное отношение к собственному дару, — голос Бунина задрожал, — и сколько обид я познал, сколько испытал воистину трагических часов! Неужели, чтобы жить благополучно, надо стать подлецом?

Они помолчали. В окна часто стучал мелкий дождь,

и было слышно, как порывы ветра раскачивают под окнами деревья.

— Нет, лгут только лакеи! — с какой-то жуткой убедительностью произнес он вдруг. — Подлецом не стану. Да и не нужно мне почти ничего уже, стар я и убог, и желания скудны. Только одного хочу... Хоть последние годы пожить среди своих.

* * *

Конец сорокового года прошел однообразно и невесело: голодали, мерзли, ели бурду со сладковатой мороженой картошкой. Бунин спасался работой — целыми днями не вылезал из «фонаря», так прозвали комнату, где он разместился. Его дневник пополнялся новыми записями:

«С месяц почти пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед сном» (30 октября).

«Семь лет тому назад весть о Нобелевской премии. Был счастлив — и, как ни странно сказать, молод. Все прошло, невозвратимо (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами)» (9 ноября).

«Генриха» перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось — помоги и спаси, Господи.

За прошлую неделю очень много потерял крови, слабость и боль в темени» (11 ноября).

«Перечитываю Чехова. Очень хороша «Жена». Какая была всяческая опытность у него уже в те годы! Всегда этому дивился, и опять дивлюсь. Удивительны и «Скучная история» и «Дуэль» (13 декабря).

«Позавчера поразила ночь, — очень мало звезд, на юге невысоко лучистый, не очень ясно видный голубыми бриллиантами играющий (только он один) Сириус, луна очень высоко почти над головой как золотое солнце (шаром), высоко на западе (очень высоко) золотой Юпитер, каменная неподвижность вершин деревьев.

Вчера завтракал в Carlton'е у Гукасова (нефтяной магнат в старой России. — *В. Л.*). Богатство вестибюля, ресторанный зал, много богатых американцев и англичан. Меню — как будто нет войны...» (15 декабря).

«Серо, очень холодно. В доме от холода просто невыносимо. Все утро сидел, не отдергивая занавеса в фонаре, при электричестве.

Едим очень скудно. Весь день хочется есть. И нечего — что кажется очень странно: никогда еще не переживал этого. Разве только в июне, в июле 19 года в Одессе, при большевиках» (20 декабря).

«Было солнце и облака. Прочел «Исполнение желаний» Каверина («советский»). *В общем* плохо. Письмо от Алданова из Лиссабона...» (22 декабря).

«Почти все время солнечно и морозно. Дня три лежал снег (с полвершка), в тени до сих пор не совсем стаял. В доме страшный холод, несмотря на горячее солнце (особенно у меня в фонаре). Голодно... Ничего не могу писать...

Рождество было нищее, грустное, — несчастная Франция!..» (30 декабря).

«Встречали» Новый год: по кусочку колбаски, серо-сиреневой, мерзкой, блюдечко слюнявых грибков с луком, по два кусочка жареного, страшно жесткого мяса, немножко жареного картофеля (привез от N. N.), две бутылки красного вина и бутылка самого дешевого асти. Слушали московское радио...

Нынче в газетах вчерашнее новогоднее послание Гитлера: «Провидение за нас..., накажем преступников, вызвавших и длящих войну... Поразим в 41-м году весь мир нашими победами...» (1 января 1941 года).

Новогоднее пиршество истребило последние запасы. Вера Николаевна давно распродала все свои драгоценности (не ахти какие, приобретенные после Нобелевской премии), деньги все были проедены.

Все источники, приносившие прежде доходы, прекратили свое действие. С приходом фашистов закрылись и «Последние новости», и «Современные записки», и другие эмигрантские издания. Ни литературных вечеров, ни субсидий...

Осталось одно — писать в Америку, попытаться напечатать цикл рассказов... Но надо все сделать деликатно!

8 января 1941 года Иван Алексеевич писал Алданову:

«...У меня теперь готова новая книга в 25 новых рассказов (все о любви!), из коих только 9 было напечатано в газете*, называется по первому рассказу, чудесно — «Темные аллеи». Но куда, куда их девать! Надеюсь пере-

---

* До оккупации Франции фашистами.

слать Вам копии их — для хранения (ибо Бог ведает — буду-ли жив, здоров). Получил письмо, очень, очень дружеское, от Альтшулера *. Пишет, что мне будут посылать немного на мою нищету от Комитета Толстой **, но пока еще ничего нет, а холодно, *страшно* холодно и голодно, а Вера Николаевна бледна, как полотно. Познакомьтесь *непременно* с Александром Ивановичем Назаровым, сотрудником «New Jork Times»...»

Это послание было вызвано отчаянным положением Бунина, ибо он отлично понимал, что Алданову, уехавшему без денег, лишь с рукописью новой книги — товаром в США неходким, сейчас самому придется туго.

Так и случилось. Алданов, еще не получив бунинского письма, по своей инициативе писал Назарову — сыну того самого одесского врача, который прежде всех уехал в Константинополь и имел своей медицинской практикой успех даже при дворе шаха: «19 января 1941 года. Многоуважаемый коллега. Я приехал 10 дней назад из Франции в Нью-Йорк. Собираюсь в 54 года «начать новую жизнь» — опять! — и начинаю ее в трудных условиях...»

Далее он писал, что все его добро осталось во Франции, а ему «необходимо в самом спешном порядке продать «Начало конца» американцам».

Алданов еще не знал, что «добра» никакого у него не осталось — немцы реквизировали его парижскую квартиру со всем имуществом, вывезли все, даже библиотеку — в Германию. А познакомил его (заочно) с Назаровым Бунин. Назаров, по просьбе Ивана Алексеевича, писал на романы Марка Александровича хвалебные рецензии, устраивал издания книг в США.

В своих письмах Алданов даже не помянул о Бунине, о его нужде ***.

Предвидя подобный ход событий, Бунин сам писал Назарову:

«...16.I.41. Дорогой Александр Иванович. Я и больная печенью и резким малокровием Вера Николаевна в совершенно *отчаянном* денежном положении, вполне разорены (не по своей вине), живем в полном голоде и диком холоде и не можем иметь тут ни откуда ни малейшей помощи. Может быть, добрые и богатые люди в

---

* И. А. Альтшулер (1870—1943) — автор мемуаров о Л. Н. Толстом.

** Дочь Л. Н. Толстого, Александра Львовна (1884—1979).

*** Письма М. А. Алданова к А. И. Назарову находятся в личном собрании автора.

Америке помогут? Горячо прошу Вас — если можете, сделайте что-нибудь в этом смысле, напишите обо мне в Вашей газете...»

Хотя Бунин наклеил на открытку марок на целых 14 франков, путь она совершала весьма и весьма неспешно. И виновата, очень может быть, тут вовсе не почтовая служба, а какая-нибудь другая... Прямо на текстовой стороне открытки стоит нью-йоркский штемпель — 6 февраля 1941 года. Зато на обороте — штемпель иной конфигурации и дата... 2 мая! Задержка случайная?

Вот почему Бунин напрасно ждал помощь из-за океана, с надеждой поглядывая на почтальона — вестей не было.

— Да, никому не нужны мы, несчастные русские! — качал поседевшей головой Иван Алексеевич.

Ах, тут он был не прав. За океаном о нем помнили.

ГЛАВА IV

Помнили о нобелевском лауреате в доме 122 Ист 42 Стрит Нью-Йорка. Здесь размещался «Чрезвычайный региональный комитет», ведавший эмиграционными делами. Сотрудница комитета, некая Лотта Ларб, 19 марта 1941 года выслала Бунину официальное извещение: «Дорогой мистер Бунин! Мистер Керман Кестен просил меня сообщить Вам приятную новость. Ваша просьба о специальной визе направлена в Вашингтон 6 марта 1941 года. Мы уверены, что Вы получите Вашу визу очень скоро».

— Да не хочу я ехать в Америку! — кричал Бунин на всю «Жаннет», швырнув на пол это письмо с «приятной новостью». — Это все проделки Цетлин! Теперь еще Керенского подключила, тот тоже за меня «ходатайствует»! Лучше бы продуктовую посылку прислали. Одну брюкву всю зиму ел, а от них — ни шиша, ни гроша. Алданов тоже хорош! Ему-то я сто раз говорил: в США я ни за что не поеду.

Вернем события немного назад. Вот что писал Иван Алексеевич Алданову еще 1 декабря минувшего, сорокового года:

«Дорогие друзья, где вы? Неужели уже уехали совсем? И на кого же это все меня покидают? Серьезно, —

я без ужаса не могу думать о своем будущем, без истинного ужаса.

Нынче получил от Гребенщикова (писателя, живущего в Америке уже чуть не 20 лет) ответ на свои вопросы о жизни в этой самой Америке: «16 мая вышел наконец мой английский роман. Из прилагаемых отзывов можете видеть, как блестяще принят он печатью. Даже самый выпуск ознаменовался приемом в Колумбийском университете. И все таки до сих пор (до 31 июля) разошлось 300 экземпляров. Страна наша в смысле интереса к литературе крайне бедна. Вы и не представляете себе ее рабской зависимости от сугубого материализма. В результате всех наших с женой всяческих страшных трудов у нас нет теперь ни здоровья, ни свободы, ни денег, ни читателей. Если бы в Европе был заключен прочный мир, мы бы устремились во Францию. Я боюсь, что жизнь здесь покажется вам настолько ускоренной, грубой и в смысле заработка безнадежной, что вы затоскуете даже о теперешней Европе. Все эти мечты о лекциях, об издании книг здесь — одна цепь разочарований... В нашем литературном фонде — беспомощность, а вопли со всех сторон. Спектакль в пользу Тэффи дал прибыли 29 сентов — не долларов, а сентов. Кошмар».

Вот, мои милые, вот Вам Америка...»

Как и в сентябрьском письме к Цетлиным, Бунин пытается объяснить свое нежелание ехать в США трудностями, ждущими эмигранта в этой стране. Но сам-то он знал, чего хочет!

«6 мая 41 г., Грас, А. М.

Дорогой Марк Александрович, получил Ваше письмо от 15 апреля, очень благодарю Вас за его сердечность. Телеграфного перевода от Александры Львовны, о котором Вы сообщаете, еще до сих пор нет. Живем мы все хуже и хуже, истинно на пище Св. Антония, но и эта пища становится уже до смешного дорога. Кроме того, пропадаю от налогов — плачу taxe de séjour * за всех своих домочадцев, — не выгнать же их на улицу без гроша в кармане! — выплачиваю квартирный налог (почти 2 тысячи) и должен, оказывается, заплатить еще около *четырех* тысяч налога, причитающегося с хозяйки нашей виллы, уехавшей из Граса еще 30 сент. 39 года: раз, говорят, она уехала и не может платить, платите Вы, Monsieur Bunin **, из той суммы, которую вы должны ей запла-

* Налог *(фр.)*.

** Господин Бунин *(фр.)*.

тить за виллу; я отвечаю, что я ей за первый год уже все заплатил и имею на это расписки, а за второй не плачу и не буду платить до окончания войны, не имея на это никакой возможности; но меня не слушают, — мы, говорят, ничего этого знать не хотим и, если не заплатите, будем вас «преследовать». Написал в Виши министру финансов, но навряд ли он меня помилует. Но оставим это — равно как и все то прочее, что я переживаю. На днях умер в Париже В. В. Баратинский * — думаю, что от подобных переживаний.

«Темные аллеи» Вы теперь, верно, уже получили от Сергея Николаевича Барсукова, русского американца, известного пианиста, жившего в Cannes (хорошего знакомого Рахманинова) — он уже около двух недель тому назад вылетел из Лиссабона в Нью-Йорк. Второй отдел этой книги кончается рассказом «Натали», но тот текст его, что повез Барсуков, никуда не годится, он почти черновой, и потому я послал Вам 18-го апреля заказным пакетом *исправленный* текст — с просьбой *уничтожить,* по получении этого исправленного текста, *барсуковский.*

Повторяю: эту книгу я послал Вам прежде всего потому, что мне часто приходит в голову: «мало-ли что может со мной случиться, пусть будет один экземпляр моей новой (и, верно, последней) книги в сохранности, в надежных дружеских руках — для потомства!» А на печатание ее теперь, даже частично, я мало надеюсь: ведь Вы и сами еще не уверены, будет ли журнал и сколько времени он просуществует; это раз, а второе то, что опять-таки я Вам уже писал: если журнал и будет, возможно ли мое участие в нем? Вы говорите об этом, как о возможном. Но не ошибаетесь ли Вы, подумали ли об этом серьезно, т. е. не упуская из виду мои обстоятельства? Ведь журнал не альманах.

Словом, я послал Вам книгу и в этом смысле *на всякий случай. На всякий случай* посылаю Вам и список тех поправок и сокращений, смягчений (ежели окажется в них *крайняя* необходимость), кои, будьте добры, внести в мои рассказы, если им будет суждено «появиться в свет». (Вы мне писали о строгости нравов у вас, — уже ли они, правда, так строги? И даже среди русских читателей? Как же тогда читали у вас «Любовника ле-

* Правильно: Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), драматург, журналист.

ди Ч» *?) *Если* что-нибудь напечатаете, *молю* Вас о редакторской смелости, — если кто будет *меня* ругать, черт с ним. Но за всем тем поступайте как хотите, *не запрашивая меня,* если эта смелость будет для Вас *невозможна* и ответственность будет падать *на Вас.*

Теперь о нашей поездке. Недели 2 тому назад я получил письмо от 19 марта...»

И дальше Бунин привел текст письма «регионального комитета». И он задавал вопрос: «Что же мне теперь делать? Очень, очень благодарю Вас за Ваши заботы и прошу передать благодарность Александру Федоровичу. Но — как решиться ехать? Доехать, как Вы говорите, мы можем. Но опять, опять: что дальше? Вы пишете: «погибнуть с голоду Вам не дадут». Да, в буквальном смысле слова «погибнуть с голода», может быть, не дадут. Но от нищеты, всяческого мизера, унижений, вечной неопределенности? *Месяца два-три* будут помогать, заботиться, *а дальше бросят, забудут* — в этом я твердо уверен. Что-же до заработков, то Вы сами говорите: «будут случайные и небольшие — чтение, продажа книги, рассказа...» Но сколько-же раз буду я читать? В первый год, один раз..., может быть, и во второй еще раз..., а дальше конец. И рассказы, книги я не могу печь без конца — главное-же продавать их. И самое главное: очень уж не молод я, дорогой друг, и Вера Николаевна то же, *очень больная и слабая В. Н.* Вот даже частность: Вы пишете, что «на первое время предоставят нам комнаты в имении, в 45 милях от Нью-Йорка». А каково в наши годы жить даже «первое время» где-то у чужих людей, из милости, подлаживаясь к чужой жизни — и т. д.!

Короче сказать — ни на что *сейчас* я не могу решиться... Вчера в газетах «Secrétaire d'Etat au ravitaillement déclare: Pour mai et juin, la situation sera tragique ** даже насчет хлеба».

Да, требуют еще за парижскую квартиру 2900 франков!»

Журнал, о котором спрашивает Бунин, был организован Алдановым и Цетлиным. Он начал выходить в

---

* «Любовник леди Чаттерлей» — роман Д. Г. Лоуренса, изобразивший войну 1914—1918 годов. Роман получил широкую известность на Западе.

** «Министр продовольствия заявляет: «В мае и июне положение станет трагичным» *(фр.)*.

США с 1942 года и получил название «Нового журнала». Сокращенный вариант «Темных аллей» выйдет лишь в 43-м.

И еще: «ни на что сейчас не могу решиться...» Нет, уже решился!

* * *

Не зря все-таки мемуаристы дружно утверждают, что «душа нараспашку у него никогда не была».

Если бы Алданов знал, кому отправил Бунин письмо четырьмя днями прежде!

Все началось со случайной встречи ноябрьским вечером тридцать шестого года в Париже. Бунин сидел в большом людном кафе. Вдруг гарсон положил перед ним записку: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой».

Они встретились посреди зала, обнялись, расцеловались. Алексей Николаевич горячо заговорил:

— До каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России... Ты что же, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Иван Алексеевич занес на бумагу эту встречу лишь в сорок девятом году, когда готовил свои «Воспоминания», увидавшие свет на следующий год в Париже.

Бунин писал: «...Он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней».

Как Бунин жалел, что не было этого звонка, что не было встречи! Она очень была нужна — и не только для того, чтобы вспомнить «дни золотые» и выпить под пенье «московских цыган» шампанского. Именно тогда, когда мировая слава подняла его на высший гребень, удобнее всего было вернуться на родину.

И вот теперь, 2 мая 1941 года он писал Толстому:

«Вилла Жаннет, Грас*.

Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, — стал совершенно нищ

---

* И. А. Бунин употреблял другое правописание: Жаннетт.

(не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной.

У вас издавали немало моих книг — помоги, пожалуйста, — не лично, конечно: может быть, Ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений, я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей, — отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно.

Желаю тебе всего доброго. 2 мая 1941 г. Ив. Бунин.

Я написал целую книгу рассказов, но где ж ее теперь издать?»

Это послание долгие годы считалось утерянным. Западные литературоведы дружно высказывали сомнения в его существовании. «Разве это возможно, — говорили они, — чтобы Бунин обратился с письмом к писателю-коммунисту, с которым давно порвал отношения?»

Как видим, послание это — факт *.

Пока открытка шла к адресату, Иван Алексеевич, верный своей привычке не откладывать важное дело в дальний ящик, отправляет в Москву еще одно письмо — своему давнему другу с Покровки, Н. Д. Телешову. В нем он уже без обиняков, во весь голос заявляет о желании вернуться домой, на Родину:

«...8.V.41.

Дорогой Митрич, довольно давно не писал тебе — лет 20. Ты, верно, теперь очень старенький, — здоров ли? И что Елена Андреевна (жена Телешова. — *В. Л.*)? Целую ее руку — и тебя — с неизменной любовью. А мы сидим в Grase'e (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередуя его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру! Вера Николаевна очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

---

* Открытка, которую Бунин отправил Толстому, была обнаружена в архиве вдовы писателя — Л. И. Толстой. Вместе с другими материалами открытка поступила в Институт мировой литературы имени А. М. Горького (фонд 43).

Твой Ив. Бунин. Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой».

Решительный шаг был сделан. Бунинская жизнь могла резко измениться, если бы...

* * *

В начале июня 1941 года открытка из Граса была получена Толстым.

Понимая важность вопроса, Толстой решил обратиться непосредственно к И. В. Сталину. Долго и тщательно, с черновиками, писал Алексей Николаевич. И вот послание готово:

«17 июня 1941 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи.

Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: «Хочу домой».

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил Нобелевскую премию. В 1937 г. (ошибка. Правильно — 1936. — *В. Л.*) я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему матерьяльную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом.

С глубоким уважением и с любовью
Алексей *Толстой*».

...На следующий день Алексей Николаевич сдал свое послание в Кремлевскую экспедицию. А еще через три дня фашисты напали на нашу родину.

Все, что не имело отношение к войне, отодвинулось на задний план. Наступило великое время проверки характеров на прочность.

ГЛАВА V

— Подъем! Выходи на построение!

Уставшие, невыспавшиеся летчики 1-го минно-торпедного авиационного полка вылезали, подтягивая широкие кожаные ремни и оправляя амуницию, на построение. Они увидали генерал-майора Елисеева, коменданта береговой обороны Балтийского района. Вид у генерала был праздничный — и неспроста. Густым, срывающимся от волнения голосом он зачитал перед строем:

— Правительственная телеграмма! «Москва. Кремль. 8 августа 1941 года.

Поздравляю летчиков Краснознаменной Балтики с успешным выполнением задания Верховного Командования по нанесению ответного бомбового удара по военным объектам Берлина. Своим беспримерным полетом вы доказали всему миру мощь советской авиации, способной громить захватчиков на их собственной территории. Уверен, вы и впредь будете достойно бить немецко-фашистских оккупантов как на нашей, советской земле, та и на земле агрессора. Желаю летчикам новых боевых успехов в деле окончательного разгрома врага.

И. Сталин».

Громкое «ура!» раздалось над пустынными окрестностями военного аэродрома. Сон как рукой сняло. Летчики вновь и вновь вспоминали налет на Берлин, о том, как вдруг появился — это была неожиданность! — в сиянии огней Берлин. Немцы настолько были уверены, что в их логово авиация противника не проникнет, что пренебрегали светомаскировкой. Наши ребята спокойно вышли на заранее намеченные цели, отбомбились и без потерь вернулись на базу. Берлин тут же погрузился в темноту, а Германия в траур.

9 августа бомбардировка Берлина была с успехом повторена.

* * *

Бунин первым услыхал эту новость по Московскому радио. Он на радостях готов был расцеловать мощный приемник «Дюкрет», купленный после получения премии и хорошо принимавший сводки Информбюро, передававшиеся Москвой.

Перепрыгивая по-молодому через ступеньки, он сбежал по лестнице на первый этаж в столовую, где собралось все семейство, и радостно крикнул:

— Каково? Наши бомбили Берлин! Намяли русские холку фашистам, еще не то будет — Красная Армия в Берлин еще придет! Я вам прежде говорил, что так оно и будет.

Затем он пошел в чулан, где хранились старые газеты — для растопки печей, долго там рылся и вернулся торжествующий. В руках у него был экземпляр газеты, вышедшей несколько дней назад.

— Вот, слушайте, что заявил Геббельс: Берлин — «это надежно защищенная твердыня нашей нации. Скорее падут столицы всех стран мира, нежели падет Берлин. Ни один камень не содрогнется в Берлине от постороннего взрыва. Советская авиация уничтожена». — Иван Алексеевич с торжеством оглядел присутствующих. — Рейхсмаршал авиации «великой и непобедимой Германии» Геринг тоже болтал, что русский Военно-воздушный флот «разбит».

И он философски закончил:

— Как мартышка ни хитри, а задница все равно голая! Скоро мы их бить начнем. — И отправился к себе наверх записывать в дневник:

«10. VIII. 41. ...Русские уже второй раз бомбардировали Берлин».

Что греха таить, напугался старый писатель 22 июня, когда эти кейтели и фон-браучихи, оснащенные могучей техникой, двинулись на Россию. Обиды, которые числил за кем-то Бунин, враз были забыты. Осталось одно — тревога за Елец, Москву, Орел, за ту землю, о которой он, таясь от всех, тосковал ежедневно, ежечасно.

Теперь эта тревога стократ увеличилась. Чудовищная сила, скрежеща металлом, уничтожая все разумное и живое, неудержимо двигалась по его земле.

Впрочем, уже через день после начала войны, писатель с удовольствием отметил в дневнике: «Утром в га-

зетах первое русское военное сообщение: будто бы русские уже бьют немцев».

Но нет, «непобедимая армада» продолжала стремительное движение на Восток. «Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма... Швейцарские газеты уже неинтересно читать», — записал он утром 30 июня. А в двенадцатом часу внизу раздался грохот: стучали ногами в дверь. Это явилась полиция.

— Русские? Какие русские? Большевики есть? Евреи есть? — вопросы сыпались как из пулемета. — Хальт! (Почему-то уже на немецком, хотя полицаи французские.) — Что в кладовке? Под матрацем?

Ловко перебирали утварь, простукивали стены, следили за выражением лиц — не испугались ли, не побледнели?

У мужчин отобрали документы, скомандовали:

— Одеваться! Вы арестованы!

Вера Николаевна закричала, бросилась на полицейских:

— Куда вы их? Вы что, ослепли? Муж совсем больной и старый! Куда вы их потащите?

Полицейские пошушукались, вынесли решение:

— Старик пусть останется пока. А этот, Зуров, — шнелль! У нас нет времени ждать. А где еще один спрятался? Нету! Найдем — расстреляем!

Зурова повели в полицию, посадили под замок.

Вечером появился еще один домочадец — Александр Васильевич Бахрах, поселившийся на «Жаннете», как вы помните, осенью сорокового года. После разгрома немцами французской армии Бахрах, еще не успев снять военную форму, пришел к Бунину. Ни родственников, ни дома у него не было. Делать было нечего, оставил его Иван Алексеевич у себя. «На полном довольствии», шестым домочадцем.

Бахрах решил, что с полицейскими шутки плохи, сам отправился к ним «сдаваться». Его арестовали, отправили куда-то за город, где из казарм на скорую руку была устроена тюрьма.

Иван Алексеевич продолжал запись: «На душе гадко до тошноты.

Слухи из Парижа, что арестован Маклаков (как и все, думаю).

Радио — немцы сообщают, что взят Львов и что вообще идет *разгром* «красных».

Поздно вечером вернулись Марга и Галина, ходившие в полицию на свидание с Зуровым и Бахрахом, которым отнесли кое-что из еды и для спанья. Оказалось, что всех арестованных русских (вероятно, человек 200—300) отвезли за город в казармы; М. и Г. пошли туда и видели во дворе казармы длинную вереницу несчастных, пришибленных (и в большинстве оборванных) людей под охраной жандармов. Видели Самойлова, Федорова, Тюкова, взятых с их ферм, брошенных у некоторых, несемейных, на полный произвол судьбы со всеми курами, свиньями, со всем хозяйством. Жестокое и, главное, бессмысленное дело.

1. VII. 41. Вторник.

С горя вчера все тянул коньяк, ночь провел скверно, утром кровь. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5, 6 от города туда и назад). Видела Зурова и Бахраха. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих.

Вчера перед вечером и весь вечер грохотал гром. Нынче с утра солнечно, с полудня тучки, редкий дождь изредка. На душе тупая тошнота. Валяюсь и читаю Флобера (его письма 70-го года).

В Эстонии уже горят леса. Думаю, русские будут жечь леса везде.

Вечер, $9^1/_2$, т. е. по настоящему $7^1/_2$. Мутно, серо, мягко, все впадины долины в полосах белесого дыма — очень тихо, дым от вечерних топок не поднялся.

Не запомню такой тупой, тяжкой, гадливой тоски, которая меня давит весь день...

Наши все еще в казарме. Галина и Марга были там вечером, видели Бахраха, Зурова, Самойлова, Федорова — этот о своей собаке: «нынче моего сукина сына еще покормят, а завтра? Издохнет сукин сын!» Город прислал в казармы кровати, будет кормить этих узников. Большое возмущение среди французских обывателей тем, что делается.

Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень, и начало 1871 г.).

Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится...»

Третьего июля Бахрах и Зуров были отпущены на свободу. Они рассказывали Бунину о грязи в камере, о

клопах, о том, как три десятка заключенных спали вповалку, с ужасом ожидая своей судьбы. Но вот приехал какой-то чин, проставил в паспортах о чем-то отметку и распустил их.

«Глупо и безобразно на редкость» — так записал Бунин в дневник.

Через три дня, 6 июля: «Ожидания! Жизнь вообще есть почти постоянное ожидание чего-то... Противно — ничего не знаешь *толком,* как идет война в России.

...Новая мудрая мера: высылают, — вернее, рассылают, куда попало и неизвестно зачем, англичан».

«В газетах о том, как бешено, свирепо бьются русские» (9 июля).

«*Взят Витебск.* Больно... Как взяли Витебск? В каком виде? Ничего не знаем! *Все* сообщения — с обеих сторон — довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде» (13 июля).

«С обеих сторон» — немецкой и оккупационной печати.

«Немцы говорят, что уже совсем разгромили врага, что *взятие Киева* — «вопрос нескольких часов». Идут и на Петербург... Немецкие сообщения оглушительны» (14 июля).

Все эти дни Бунин ходил в подавленном состоянии. Чувствуя собственное раздражение, он, чтобы не взорваться от пустяка, уходил в грустном одиночестве подальше от виллы, подолгу не возвращался. Последние дни из-за каких-то помех он не мог настроиться на московскую волну. И вдруг 10 августа услыхал родной голос: наша авиация второй раз бомбила Берлин!

— Скоро начнется! — убеждал он в тот вечер домочадцев. — Вот-вот русские погонят немцев. Это уж будьте уверены! — и больше всех ему самому хотелось верить в это.

...Он отобрал у Зурова, уже третью неделю державшего у себя два первых тома, «Войну и мир» и — в который раз — начал перечитывать. Но теперь все страшные и героические сцены производили на Бунина новое, особенно острое впечатление.

И здесь русские поначалу отступали, но он хорошо знал, чем обернется впоследствии это отступление. Толстой вдохновил его на деятельность, которую домашние вскоре окрестили «штабной».

ГЛАВА VI

Дребезжавший каждым винтиком, содрогавшийся на каждом повороте и скрипевший всеми своими древними частями, автобус дотащил наконец Бунина из Граса в Ниццу.

Он не пошел любоваться чудным Ле Шато — замком с колоннадой и видом на море, построенным Луи XIV. Не положил, по обыкновению, цветы к могиле Герцена. И даже не зашел в любимое кафе «Клэридж» выпить чашку кофе.

На сей раз он миновал площадь Гарибальди с памятником этому герою и быстрыми, молодыми шагами направился к дому 62 на авеню де ля Гар. Здесь с незапамятных времен помещалась русская читальня.

— Наше почтение гордости отечественной литературы! — обрадовался неожиданному визитеру старенький, весь высохший, как древняя рукопись, служитель читальни.

Иван Алексеевич был с ним на этот раз особенно любезен, спросил про здоровье жены (выяснилось, что она в прошлом году умерла), угостил дорогой сигарой — подарок Гукасова.

Наконец, как опытный дипломат, Бунин перешел к делу:

— Вы когда-то похвалились мне, что у вас хранятся карты нашей терзаемой нынче родины. Нельзя ли взглянуть на них?

Старик поспешно закрыл на задвижку входную дверь и полез за громадный шкаф, набитый изданиями XIX века. Он выволок на свет божий громадный рулон. Он был покрыт слоем пыли толщиной в палец.

Бунин не успел рта открыть, как старик приблизил к нему тонкое костлявое лицо, похожее на лики великомучеников московского письма, и горячо задышал в ухо, предугадав желание гостя:

— Если хотите — забирайте! Боюсь я держать их. Два раза супостаты являлись, книги все рыли — а мне ползай, убирай. Арестовали всего Толстого и Достоевского тоже... Только, в случае чего, не говорите, кто дал вам их.

...На «Жаннет» до глубокой ночи кипела работа. Внизу, в столовой были развешаны карты западных областей СССР (где только старик их раздобыл?). Бахрах, под наблюдением Бунина, изготовлял красные флажки,

которые затем насаживались на булавки. Вера Николаевна отыскала клубок синей пряжи.

Вооружившись последними сводками с фронта, Иван Алексеевич, встав на стул, опасно шатавшийся под ним, проводил линию боевых действий.

Теперь он каждый вечер крутил ручку настройки «Дюкрета»: курсировал в эфире между двух волн — московской (она теперь почему-то не всегда хорошо настраивалась) и лондонской. Увы! Выходил он в столовую чаще всего грустный: «наши сдали то-то», «фашисты, б... («простонародное» выражение), сволочи и подлецы, захватили то-то и то-то».

И вновь поскрипывал стул, вновь переставлял Иван Алексеевич линию фронта — на восток, на восток...

Но порой вести «Дюкрет» приносил утешительные. Бунин спешил занести их в дневник:

«Контрнаступление русских. У немцев дела неважные... В газетах холопство, брехня, жульничество. Япония в полном мизере — всяческом. Довоевались, ... вашу мать!» (5 сентября 1941 года).

«На фронтах все то же — бесполезное дьявольское кровопролитие» (14 сентября).

«Потери немцев вероятно чудовищны. Что-то дальше?» (22 сентября).

«Вчера в газетах речь Гитлера. Говорил, что установит «новую Европу *на тысячи лет»*.

В России уже снег и дожди». (11 ноября).

Постоянно подсчитывал дни войны: «157-й день войны с Россией» (25 ноября).

Но вот однажды Бунин спустился в столовую мрачнее тучи: все поняли, что на фронте плохо...

Ни слова не говоря, он опять взгромоздился на стул, стал двигать флажки на восток. И вдруг, в сердцах, рванул со стены карту, другую.

— Нет, нет! — крикнул он, и глаза его метали молнии. — Не может этого быть...

Успокоившись, он произнес, словно стесняясь своего взрыва:

— Да, конечно, карты лучше снять. Не ровен час, какой-нибудь мордатый фашист заглянет к нам, не поздоровится за эти карты.

Так закончилась «штабная деятельность».

Но продолжал он регулярно записывать в дневник:

«Японцы, как и полагается негодяям, напали до объявления войны, без предупреждений. К вечеру радио:

есть уже тысячи три убитых и раненых. В России 35 градусов мороза (по Цельсию). Русские атакуют и здорово бьют» (8 декабря 1941 года).

«Вечер, 11 часов. Прошли с Верой до монастыря... Вернулись, — Зуров: «швейцарское радио сообщило, что немцы за последние покушения на них расстреляли в Париже 100 евреев и наложили на парижских (?) евреев 2 *миллиарда* контрибуции». Апокалипсис! Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша *мать*!» (13 декабря 1941 года).

Ночь он провел плохо. В левом боку что-то ныло, во рту был вкус какой-то уже привычной гадости, появившийся в последние недели. Врачам он всегда не шибко верил, а нынче и вовсе — на какие шиши к ним обращаться? Когда-то вся жизнь была наполнена счастливым ожиданием чего-то необыкновенного, ради чего он и появился на свет. Но судьба обманула, это «что-то» так и не пришло, лишь порой были его слабые отражения. Теперь же весь его мир наполнился мраком и могильной безнадежностью. И более всего приводила в недоумение какая-то апатия, почти полное равнодушие к тому, что неизбежно должно уже очень скоро случиться. В отличие от толстовского Ивана Ильича, он не задыхался от отчаяния, а словно наблюдал себя со стороны со спокойной иронической улыбкой.

Бунин включил приемник: Москва, на волну которой он был настроен, была слышна удивительно хорошо. Знакомый голос женщины-диктора по фамилии Высоцкая говорил о жестоких боях, которые идут за освобождение города Калинина, противник несет большие потери в живой силе и технике.

На душе почему-то вдруг стало легче. «Тверь освободят вот-вот!» — с этой мыслью он и уснул.

Утро было солнечное и теплое.

— Как в России в начале сентября! — произнес Иван Алексеевич, усаживаясь за завтрак. — «А мир везде исполнен красоты. Мне в нем теперь все дорого и близко». — Это из его раннего стиха.

— Сводку не слушали? — осведомился Зуров.

— Наши, кажется, прилично наклали германцам под Тверью. — И тут же поморщился. — Следует правильно величать, по-советски: под Калинином. Господи, какое бесстыдство — называть старинные города своими

новоявленными именами! Стояла на Руси Тверь — с двенадцатого века стояла. Но вот появляется некто, будь он семи пядей во лбу, и приказывает всему свету: «Величать бывшее княжество моим именем!» И даже не сгорает со стыда. Чудовищно! — он развел руки. И уже другим тоном, к Бахраху:

— Мсье! Позвольте пригласить вас на прогулку по живописным окрестностям парфюмерного центра...

Он писал в дневник:

«Русские бьют» (15 декабря 1941 года).

«Все дни прекрасная погода, к вечеру в комнате очень холодно. Серп молодого месяца и Венера (уже давно) над Марселем с заката.

...Русские (бьют) немцев. Немцы все отступают, теряя очень много людьми и военным материалом.

19-го Хитрел сместил главнокомандующего на русском фронте маршала фон Браухича и взял на себя все верховное командование, обратившись к армии и Германии: *откладываю наступление на Россию до весны...*» (23 декабря 1941 года).

Читаем дневники дальше.

«Все дни хорошая погода, но холодно. Ветер все с Марселя. Неприятно трепещут веерные пальмочки.

Русские взяли Калугу и Белев.

Каждое утро просыпаюсь с чем-то вроде горькой тоски, конченности (для меня) всего. «Чего еще ждать мне, Господи?» Дни мои на исходе. Если бы знать, что еще хоть 10 лет впереди! Но: какие-же будут эти годы? Всяческое бессилие, возможная смерть всех близких, одиночество ужасающее...

На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в некоторый порядок свои записи, напечатанное в разное время... И все с мыслью: а зачем все это? Буду забыт почти тотчас после смерти...» (28 декабря 1941 года).

«Немцы отступают (в России и в Африке), их бьют...» (4 января 1942 года).

Пожалуй, не проходило дня, чтобы под сводами «Жаннеты» не раздавалось проклятий:

— Что эти холуи забыли в России? — задавал грозным тоном вопрос Бунин. И поскольку ответа обитатели виллы не знали, отвечал сам:

— Скотская тупость погнала их туда! Только ненормальный может мечтать завоевать Россию. Этот ненормальный — Хитрел!

Тяжелыми шагами он поднимался по скрипевшим

половицам крутой лестницы к себе в комнату и писал в дневник:

«И озверелые люди продолжают свое дьяволово дело — убийства и разрушение всего, всего! И все это началось по воле одного человека — разрушение жизни всего земного шара — вернее, того, кто воплотил в себе волю своего народа, которому не должно быть прощения до 77 колена.

Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь — вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Верно, полной погибели...

Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное — судьба всего мира зависит от этого» (4 марта 1942 года).

Дикое одиночество разнообразилось бесконечными разговорами с Бахрахом — человеком тонким, многое знавшим и — что особенно располагало к нему Бунина — относившимся к старому писателю с некоторой восторженностью и несомненным уважением.

Они вдвоем уходили далеко от виллы, спустившись по Наполеоновой дороге вниз, в старую часть города. Бунин произносил:

— Пишут, пишут братья писатели, а скольких вещей они и не знают... *

— То есть?

— Ничего не знают о самых простых вещах: о природе, об анатомии человека, свойств его тела. Да что далеко ходить, видите на автобусной остановке спиной к нам женщина стоит, на ногах у нее выделяются синие жилки. А что это значит, никто из нишущей братии не знает, даже не заметит их. А я по этим жилкам, да еще по каким-нибудь едва порой приметным признакам, на которые никто и внимания не привык обращать, опишу вам ее наружность, черты лица, ее характер и жизнь, которая так часто зависит от этого характера.

Помню, зашли мы как-то в Москве с Борисом Зайцевым в ресторан. Я говорю Борису:

— Посмотри, вон в углу сидит лысый господин. Гляди, как он подымает локоть, с каким смаком пережевы-

---

* После смерти А. В. Бахраха некоторые автографы Бунина и другие материалы попали ко мне при содействии А. Я. Полонского. Так он передал мне представляющие большой интерес дневники Бахраха военной поры, которые и послужили мне основой для написания некоторых страниц этой книги. *(Прим. авт.)*

вает, как он низко и жадно склоняется к тарелке и вдыхает запах пищи. Расскажи мне о нем.

Зайцев поглядел, поглядел да рукой махнул:

— Ну его к шуту, давай лучше выпьем!

А я, кажется, готов был тут же всю жизнь этого пожилого, много видавшего человека рассказать: о его полуголодном детстве в разорившейся барской семье, о насмешках над ним богатых и более ловких университетских товарищей, о счастливой встрече и любви к милой девушке — дочери высокопоставленного чиновника. Теперь он сам сенатор, дома три взрослых сына, один из которых дипломат, служит в русском посольстве в Риме. Жена у него недавно скончалась — порок сердца.

Бунин внезапно остановился и, увидав изумленный вид Бахраха, расхохотался:

— Успокойтесь, все это я только что выдумал. Но для писателя это полезнейшая игра.

— Все эти мелочи великолепно знали Толстой, Достоевский или Флобер. Поэтому их герои так отчетливы. Как вроде скупо описана Наташа Ростова, но ее жесты, ощущения, поступки так логичны, слитны — ни единой фальшивой ноты, ни одной погрешности!

А Пушкин... Хоть он многого еще не мог знать, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то небывалое, чудовищное чутье.

И уж совсем необъяснимое для меня чудо — Лермонтов. Не перестаю им восхищаться: в двадцать восемь лет так все хорошо, безошибочно знать!

Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, вроде все верно, талантливо, но как все сухо, неодухотворенно, постоянно чего-то недостает. Или тургеневская Лиза — для меня она все-таки абстракция. Ее образ несфокусирован, что ли, расплывается. Иные черты просто несовместимы между собой. Разве вы сможете ясно представить себе Джемму? Усики над верхней губой, а дальше что? Нет, я ее не вижу. Чтобы ясно представить ее, мне нужно самому дописать этот образ — манеру ходить, одеваться, бросать вроде бы незначащие реплики и так далее...

Я и с Алексеем Максимовичем, помнится, на эту тему спорил. Когда жил у него на Капри, я, прочитав один из последних рассказов Горького, сказал ему:

— Безусловно, талантливо! Но... но вы словно побывали в анатомическом театре и взяли оттуда — то лицо,

а здесь — голову, а вот от этого — туловище. Вот у вашего персонажа и появились несовместимости.

Горький подумал, почесался и добродушно произнес: «Пожалуй, в этом вы правы, Иван Алексеевич».

Дружили мы в те годы крепко. Подкупало меня в нем многое: преданность литературе, внимательное, даже братское отношение к писателям. Ведь нигде не платили нам так хорошо, как в его издательстве «Знание».

— Впрочем, — со вздохом проговорил Бунин, — как бы ни разошлись наши пути после революции, надо признать и талант его, и исключительное влияние на российскую интеллигенцию начала века.

Без конца Иван Алексеевич вспоминал Льва Николаевича Толстого: за столом, на прогулках, в беседах — в любой теме он умел перекинуть мостик к своему кумиру.

Когда наступало теплое время, совместные прогулки с Бахрахом по грасским окрестностям растягивались и по расстоянию, и по времени. Едва начинало темнеть, Иван Алексеевич звал своего «иждивенца», и они отправлялись по излюбленной Наполеоновой дороге. У небольшой поляны, заросшей татарником, на развилке дороги стоял пень от могучего дерева. Иван Алексеевич непременно усаживался на него, чтобы отдохнуть, пожаловаться на скудность жизни и выразить возмущение той медлительностью, с которой, на его взгляд, разворачивались события на фронте.

Побрюзжав, Бунин начинал говорить с откровенностью, на какую не был способен в другой обстановке. Чаще всего касался литературных тем, делился мыслями, которые у него возникали при чтении тех немногочисленных книг, которые он хранил в бельевом шкафу и которые перечитывал, вероятно, десятки раз — Тютчева, Чехова, Флобера, Лермонтова, Пушкина, Алексея Константиновича Толстого и, конечно, Льва Николаевича.

— Кажется, — говорил он Бахраху, — в «Казаках» каждое слово помню, а все-таки всегда тянет перечитывать их. Пусть это произведение еще не вполне зрелое, пропитанное идеями Руссо, но как в нем уже ощущается толстовский размах, его творческий почерк.

А ведь было время, какие-то дураки нашли в свое время в «Казаках» недостатки, объявили, что повесть, мол, неактуальна, архаична, не решает никаких проблем — глобальных, конечно. У дураков все проблемы всегда «глобальны». Пусть эти проблемы решают Боборыкин и Златовратский.

Я бы, кажется, отдал все на свете, лишь бы научиться подражать толстовским «промахам». Помните, хотя бы первое впечатление Оленина от Кавказских гор, его слова, что горы и облака имеют одинаковый вид: что-то серое, белое, курчавое и их красота «такая же выдумка как музыка Баха или *любовь* к женщине». И это слово «любовь» Толстой велел набрать курсивом! Весь Толстой в этом...

Темнота над грасскими холмами сделалась густо-фиолетовой. Тут же появились несметные полчища средиземноморских светляков — «лючиолей». Бунин надолго замолкал, следя за их фантастическим полетом в ореоле фосфорического света.

— Вот и еще одно из чудес света, — произносил он наконец. — Как же потрясающе прекрасен мир божий, и как люди быстро, уже в раннем детстве привыкают ко всем этим чудесам, и почти никто за всю жизнь не восторгается ими так, как они этого стоят.

Потом он вновь обращался к литературным темам.

— Вот вчера на ночь, — произносил Иван Алексеевич, — я перечитывал Тютчева. И наткнулся вот на эти строки:

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

Бунин прочел стихи вполголоса, но у собеседника словно мороз по телу пробежал.

— Знал что-то старик, удивительный умница! — добавил он. — Нет, Толстой ошибся, говоря, что «умнее Фетушки человека нет». Где уж тут Фетушке...

Тютчева я полюбил с гимназических лет, многое знал наизусть. Кстати, в елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем русского языка одно время был Василий Васильевич Розанов. Я его не успел застать, закончив, как вам хорошо известно, свое образование четвертым классом.

Уже будучи довольно известным литератором, я посетил Елец. Меня пригласили на какой-то гимназический вечер. Я был почетным гостем, бывшим питомцем, а теперь окруженный ореолом славы. Старичок директор все еще был на своем посту. Мне захотелось расспросить про такую всемирную известность, как Розанов, который меня всегда интересовал.

Услыхав вопрос, директор замахал на меня руками:

— Ну, что от него хотите — Розанов вполне сумасшедший. Случалось, он обращался к ученикам: «Вы меня понимаете? Нет? Это очень хорошо, это прекрасно! Настоящая мудрость как раз сокрыта в том, чтобы ничего не понимать!»

— Скольких литературных «героев» было на моих глазах свергнуто с пьедесталов, от скольких литературных и прочих «слав», казавшихся незыблемыми, «навечно» вошедших в историю, не оставалось и следа! Носили на руках, называли «великими», при жизни зачисляли в разряд «классиков» — и остался от них только пшик! А ведь их книги казались событиями, из-за них ломали копья, десятками тысяч расходились открытки с их «бессмертным» изображением! Будь я Леонидом Андреевым, я сказал бы, что смерть с чрезмерным тщанием просеивает в свое решето популярность и земную славу.

Вот те же — Боборыкин и Златовратский.

На рубеже веков народник Златовратский был столь знаменит, что его в литературной среде не называли иначе, как «Триумфальными воротами». Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Тогда это было необычно и смело. Недавно я брал из церковной библиотеки в Каннах старинные комплекты «Отечественных записок» и пробовал читать его вещи. Ей-богу, не смог — все плоско, фальшиво, лубочно. Всюду какой-то шаблонный мужик Масей Масеич или Псой Псоич — где он такие имена откапывал? Писал вроде с сочувствием к мужику, но ни мужика, ни деревни не знал. Просо от пшеницы отличить не умел.

Боборыкин был совсем из другого теста. Известный издатель Стасюлевич считал своей приятной обязанностью открывать январскую книжку «Вестника Европы» каким-нибудь новым романом Тургенева. Это был литературный подарок читателю. После смерти Ивана Сергеевича сие почетное место досталость Боборыкину. Вот как он тогда расценивался!

Он подолгу живал за границей, из года в год вел в толстых журналах очень дельные обзоры французской литературы. В совершенстве владел иностранными языками. Близко знавал начинавшего путь в литературе Мопассана, неизменно называл его — Ги. На равной ноге держался с Гонкурами и Флобером.

Боборыкин мне как-то рассказывал:

— Зашел однажды в Большую Оперу, встретил в фойе Флобера. Зашел разговор о Карфагене. Я говорю

Флоберу: «Вы бы, милостивый государь, почитали то-то и то-то, это вам очень пригодится, а то документальная сторона у вас не очень убедительна». Не послушал он меня, вот его Карфаген и вышел театральным.

Одно время Боборыкин жил в Риме и удостоился высокой чести — был принят в личной аудиенции самим папой. Его роман «Вечный город» (вы, конечно, о такой книге даже не слыхали, а ей когда-то зачитывалась вся «передовая интеллигенция»!) — любопытнейшая работа! О Риме конца века Боборыкин был осведомлен не хуже Золя. У них, кстати, много общего между собой. Если вас интересуют модные течения, тенденции у купцов или в буржуазной среде в конце прошлого века, дамские наряды, какие-то там крики моды, вообще любые мелочи восьмидесятых-девяностых годов, обязательно прочитайте Боборыкина. Но среди всех его многочисленных томов, которые на книжную полку не поместятся, есть нашумевший когда-то и лучшее, что им написано — роман «Василий Теркин».

Вел он правильный образ жизни, во всем был чистенький и аккуратный. Одно время мы жили соседями в гостинице «Лоскутная», это в доме три по Тверской, рядом с Охотным рядом. Засиделись мы как-то в «Стрельне» до утренней зари, отмечали выход какой-то — не упомню точно — книги. И вот после бессонной ночи появились мы в «Лоскутной» — Леонид Андреев, Скиталец. Оба в поддевках, в русских рубахах, в мягких полусапожках. Навстречу нам — Боборыкин. Он свежевыбрит, в нарядном утреннем шлафроке, из которого выглядывает большое белое жабо. Обрадовался нам:

— И вы сегодня, значит, встали спозаранку...

— Да мы еще вовсе не ложились! Мы из «Стрельны»...

Он моих слов уяснить не мог. И только тихо, с мягкой интонацией спросил:

— А вот эти, что с вами, неужто и они писатели? — и удивленно покачал головой. Прекрасный был старик!

Или, к примеру, Бальмонт. Он любил публично выступать, и дамы буквально закидывали его цветами, толпами поджидали его у выхода — «чтоб в трепете чувств прикоснуться к одежде»! Его портреты можно было видеть на каждом шагу, знакомством с ним гордились.

И он, кажется, всерьез принимал всю эту чепуху, считал себя «самым главным поэтом русского Парнаса». Как-то Бальмонт встретил меня и выспренно произнес:

— Знаете, Бунин, я все-таки прочел вашего... ну, как это... «Человека из Сан-Франциско».

— «Господина из Сан-Франциско».

— Ну, пусть «Господина»... Неплохо! У вас, Бунин, есть чувство корабля.

Я чуть не умер от смеха и неделю знакомым рассказывал про «чувство корабля» и про «ничего».

Тот же Бальмонт поделился со мною:

— Бунин, вы мне не поверите, но я все-таки заставил себя и прочитал до конца «Войну и мир» графа Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами даже просто хорошо, особенно батальные сцены...

Что там Бальмонт! Как-то в Париже сидел я с Алдановым в кафе. Неожиданно появляется Набоков, который тогда подписывался еще по птичьи — Сириным. Тот тоже сообщил нам:

— Поздравьте меня: впервые в жизни я до конца осилил «Войну и мир».

— Ну и как? — не без ехидства спросил Алданов.

— Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная, белая нога Анатолия. Ничего не скажешь, эта сцена здорово передана.

Алданов покраснел как рак:

— Вы уж этого никому не рассказывайте!

Этой «отличной сценки» Бунин, кажется, так и не простил никогда Набокову. Признавая его формальный талант, он обнаружил в нем лишь «блеск, сверканье и отсутствие полное души», справедливо полагая, что кому многое дано, с того и многое спросится.

В свою очередь, Набоков высоко ценил творчество Ивана Алексеевича...

* * *

«Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит, — писал В. В. Набоков в своей книге «Другие берега». — Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был



И. А. Бунин. Автограф: «16.XII.33».



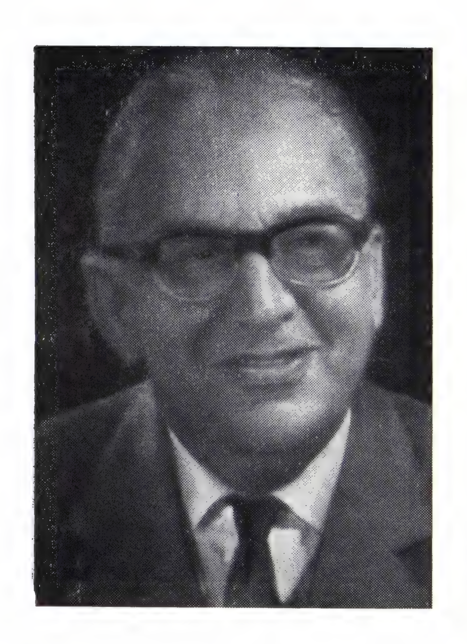
И. А. и В. Н. Бунины на вилле «Бельведер». Середина 1930-х гг.

«Союз молодых писателей и поэтов» в Париже.
Слева направо (сидят): Софья Прегель, Алла Головина, Леонид Зуров (председатель Союза), Лидия Червинская, Анна Присманова; (стоят): В. Л. Емельянов, Б. Закович, Ю. Мандельштам, неизвестный, Вл. Смоленский, Юрий Фельзен, Георгий Адамович, Анатолий Штейгер, Елена Бакунина, Георгий Раевский, Юрий Бек-Софиев, Перикл Ставров. 1930-е гг.

Грас. И. А. Бунин в кругу домочадцев. *Слева* — Г. Н. Кузнецова, *справа* — Вера Николаевна и Л. Ф. Зуров.

И. А. Бунин в редакции журнала «Современные записки». *Слева от него*: неизвестный, Н. А. Тэффи; *справа* — Н. Д. Авксентьев.





А. В. Бахрах,
литератор, секретарь
И. А. Бунина.

«Черная тетрадь» —
дневниковые записи
А. В. Бахраха в годы
пребывания в семье
Буниных. Фрагменты.

ожественной гранатовой пижамой, шоколадом, от ко-
торого пришел в восторг Ив. Ал. и пакетом табаку.
Я нѣмѣю от чувства благодарности и не умѣю его
выразить.

*

О Рахманиновѣ Ив. Ал. сказал, что за все время их
многолѣтнего знакомства, он ни разу не слышал
от него ни умной, ни интересной мысли. Рах-
манинов любит пѣтушковый стиль, Шмелевское
кликушество и по сей день ненавидит Толстого за
то, что будучи когда-то в Хамовническом домѣ и
играя перед Толстым свои произведенія, спросил его
мнѣнія. Толстой с неловкостью сказал: "Нѣт, это что-
то не то..." А Ив. Ал. не может простить ему необ-
думанной фразы: – "Ты-бы, Иван, занялся теперь на
старости лѣт біографіей Чехова!.." – "А ты-бы, Сере-
жа посвятил свои послѣдніе годы жизнеописанію
Танѣева!.." Он ощущает и сейчас какую-то горечь
повѣствуя об этом инцидентѣ.

*

Т. М.[x] вспоминала какой очаровательный человѣк
был Сергѣй Ник. Толстой, котораго она лично помнить
не может, но память о котором живо хранится

В. Б. Сосинский, писатель, герой французского Сопротивления. В 1960 г. вернулся на Родину. Награжден медалью «За боевые заслуги».



Страпички из дневниковых записей З. Н. Гиппиус во время оккупации Парижа немецкими фашистами.

РУССКИЕ — ГЕРОИ ФРАНЦУЗСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ



Вера Оболенская.



Борис Вильде.

Штаб интернационального отряда, сражавшегося с фашистами во Франции. За столом (справа) — «красная княгиня» Тамара Волконская.



Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Мать Мария) с детьми Юрой, Настей и Гаяной.

Собрание эмигрантов в Париже, принявших советское подданство. 1947 г.

23.4.45

Милые друзья, надѣемся быть въ Парижѣ 1-го Мая.
Поздравляю съ Берлиномъ. „Mein Kampf...“
Повоевалъ, такъ его такъ! Ахъ, если бы поймали да провезли по всей Европѣ въ желѣзной клѣткѣ!

Сердечно обнимаю.

Вашъ Ив. Б.

Поздравление семье Я. Б. и Л. А. Полонских с победой Красной Армии над фашизмом.



Послевоенный Париж.



З. А. Шаховская в 1949 г.

Эту книгу (самую лучшую изъ всѣхъ моихъ прочихъ) я переписалъ бы для Васъ, Зинаида Алексѣевна, кровью моего сердца!

Ив. Бунинъ

Темные аллеи

P.S. Впрочемъ, извините: я укралъ эту надпись, — это Горькій такъ надписалъ одну изъ своихъ книгъ актрисѣ Книпперъ-Чеховой!

29. 3. 1950. Парижъ

Сборник рассказов «Темные аллеи» (1946 г.) с дарственной надписью писательнице З. А. Шаховской, передавшей автографы Бунина на Родину.



И. А. Бунин
на отдыхе
в Жуан-ле-Пэне.
1949 г.

Дарственная надпись Бунина З. А. Шаховской на книге «Жизнь Арсеньева» (издательство «Петрополис»). ▶

SALLE CHOPIN-PLEYEL
(252, Rue du Faubourg
St.Honoré)

MARDI 19 JUIN 1945
à 20 heures

Conférence littéraire

IVAN BOUNINE

Invitation
14

Билет
на литературный
вечер Бунина
в парижском зале
Шопена.
19 июля 1945 г.

Не думайте, милая Зина-
ида Алексеевна, что это
одинъ изъ портретовъ моей



молодости: честное слово, я
былъ такой всего лѣтъ
20 тому назадъ. –
29. 3. 50. Ив. Бунинъ

Квартира И. А. Бунина в Париже.

Бунин в конце 1940-х гг.



Фотопортрет И. А. Бунина с дарственной надписью А. И. Назарову. Вместе с другими письмами Бунина, его книгами и автографами вернул на Родину А. Я. Полонский (Париж).

«Митина любовь» на шведском языке, вышедшая в издательстве «Тиден» в серии «Русская классика». На этой книге Бунин сделал последнюю надпись — жене А. В. Бахраха: «Милой, дорогой маленькой Кирсте — Bacherac. От автора. Ivan Bunin. 2.XI.1953 г.».

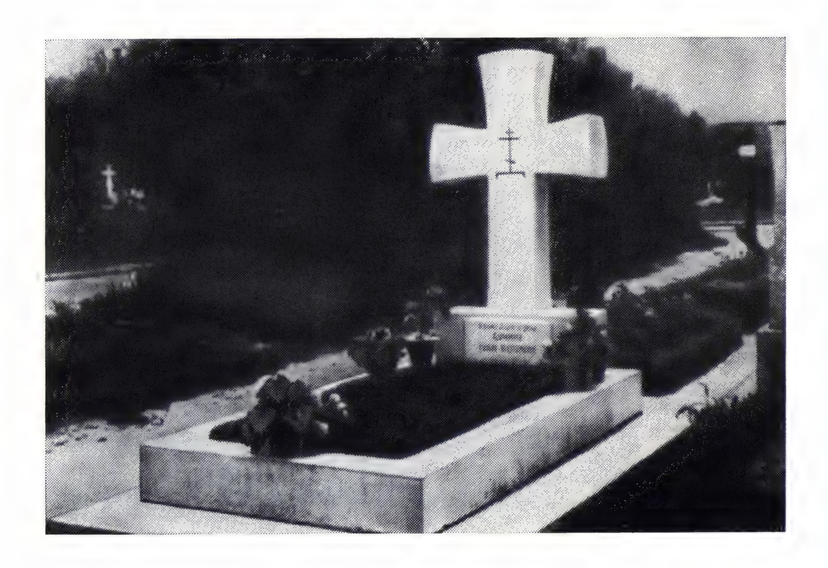


Иллюстрация к рассказу Ив. Бунина «Суета сует». *Худ. Алексей Юпатов.*

Часовня на кладбище Сент-Женевьев де Буа, сооруженная по проекту Александра Бенуа.



Русское кладбище под Парижем Сент-Женевьев де Буа. Могила Ивана Алексеевича Бунина.



Сцена из спектакля «Роза Иерихона» в Московском Художественном академическом театре им. М. Горького. Исполнитель — народный артист РСФСР Николай Пеньков. *Фото Гр. Павловского.*

Советские издания книг И. А. Бунина.

озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направлялись к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятиях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад; и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости отпевают ночь петухи».

В этом ядовито-блестящем отзыве, думается, не все справедливо, не все в характере нашего героя. Но многое искупается метким пародированием прозы Бунина.

Впрочем, Владимир Набоков посвятил ему стихотворение, почти у нас неизвестное и здесь вполне уместное:

И. А. Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист,
алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один

над маревом губительных годин,
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росою ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кощунственном, но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

...Набокову предстояло стать одним из наиболее читаемых писателей в англоязычном мире. Бунин не дожил до самого знаменитого романа Набокова — «Лолиты», но он еще в молодые годы его сказал:

— О, это писатель, который все время набирает высоту и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это — рыжий в цирке. А я, грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов.

ГЛАВА VII

Столовая на первом этаже «Жаннет» стала чем-то вроде клуба: домочадцы собирались здесь не только для того, чтобы поесть, но и для бесед на самые различные темы. Последние, впрочем, крутились возле двух — о войне и о пище. Это было самое злободневное. Про войну, которая хотя и медленно, но все более успешно развивалась для нас, Бунин писал ежедневно. В дневник попадала информация самого различного характера, от конкретного «наши взяли у немцев то-то (название населенного пункта)» до абстрактного и глобального «русские все бьют и наступают».

В столовой читались письма, приходившие порой к Бунину. Чаще всего писала Олечка Жирова. «Дядя Ваня» отвечал шутливо, порой в стихах. 30 марта 1942 года он спустился в столовую и за ужином прочитал письмо, которое приготовил для отправки Олечке. В ответ на ее вопрос, как он «пировал у друзей», Бунин писал:

У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.

Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба *, фарш из блох
И на жареное — мох...

В дневнике он записал: «Все это недалеко от правды. «Новая Европа»!»

Порою в столовой Бунин появлялся с праздничным выражением на лице и хозяйственной сумкой в руке. Это означало, что он вернулся «с боевой операции по добыванию продуктов питания».

В такой день, стараясь не привлекать внимания окружающих, писатель с утра исчезал с «Жаннет», унося с собою какой-то таинственный сверток.

Спустившись по Наполеоновской дороге, Бунин попадал в старый город. Здесь, в кривых и крутых улочках, когда-то — лет за двести до описываемых событий, бродил уроженец Граса Оноре Фрагонар, которому суждено было стать национальной гордостью Франции.

Теперь же другой великий, которому предстояло стать гордостью России, и не художник, а писатель, пытался променять изящный фрак или несколько прижизненных книг Бальзака или Мериме на что-нибудь съедобное.

От книг бакалейщики сразу отказывались («такого, слава Богу, в доме не держим!»), а фрак долго мяли в руках, зачем-то плевали на пальцы и растирали по сукну, пристально рассматривали на свет, кряхтели, но свой товар выложить не спешили.

— Какой французский Бог создал таких болванов! — прорывало наконец долго крепившегося Бунина. — Как ты смеешь плевать на фрак, в котором я вальсировал с принцессой Ингрид, а шведский король пожимал мне руку?! Денег у меня было столько, что я мог скупить все эти паршивые лавчонки вместе с их дурацкими хозяевами!

Упоминание королей благотворно действовало на республиканские души потомков Фрагонара. Они выдавали за «английский товар» несколько яиц и пару килограммов картошки (которая неизменно оказывалась мороженой), а когда крепко везло, добавляли пачку сигарет.

Бунин входил в столовую с выражением на лице, которое, по его замыслу, должно было выражать непроницаемость и спокойствие. Но на нем ясно читалась радость: он гордился своими успехами коммерсанта.

* Набо (от французского — nabot) уродец, карлик. Вероятнее, имеется в виду моющее средство «Nab» (Наб).

— Господи! Вот еще нашелся купец Иголкин! — горестно восклицала Вера Николаевна, уже успевшая обнаружить в шкафу исчезновение еще одной вещи.— Эти жулики-торговцы опять, Ян, тебя облапошили!

В последний день марта 1942 года Галина и Марга спустились на завтрак в столовую в особо приподнятом настроении:

— Мы завтра уезжаем, — тихо проговорила Галина. — Месяца два поживем в Каннах, а там будет видно...

На следующий день Иван Алексеевич записал в дневник:

«I. IV. 42. Среда.

С утра пухлое небо, к полудню солнце, но слегка затуманенное.

В 11-45 ушла с мелкими вещами Галина. Возле лавабо * остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была она не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и грустно. Как молод был и я тогда...

Час дня. Я все еще в халате, без штанов. Все не могу привести себя в порядок. Хотел ехать в Ниццу с утра — раздумал, проснулся в 6, потом опять спал от 9 до 10.

Сейчас в доме пусто — Бахрах в Ницце, Вера и Зуров завтракают в городе — дома нечего. Я съел крутое яйцо и кусочек мортаделлы ** — все «благоприобретенное» (т. е. выменянное самим Буниным. — *В. Л.*).

Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни».

Безусловно, это была с его стороны любовь — с ее «пламенной страстью», терзаниями, наслаждениями, проклятиями, со всеми теми взлетами и падениями духа, какие бывают не только у поэтов — у всех нормальных людей, не тронутых ущербностью чувств или ханжеством.

И, словно подводя итог своим отношениям с Галиной, Бунин записывает в дневник 18 апреля 1942 года:

...«Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль воспоминаний о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — до сих пор еще отравляет! 15 лет! Все еще ничего не делаю — слабость, безволие — очень подорвалось здоровье!...»

---

* От «Lavabo» — туалет *(фр.)*.

** Мортаделла — итальянская колбаса сырого копчения.

Тяжело было жить рядом, наблюдая ее вместе — даже не с другим! — с другой. Еще тяжелее стало, когда она после полутора десятка лет пребывания под одной крышей, ушла навсегда...

Кому, как не поэту, стоило вспомнить собственные строки, написанные еще в 1906 году и словно предсказавшие судьбу:

...Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой...

* * *

«...Я всегда был того мнения, что бунинское дон-жуанство было (о молодых его годах не говорю, я их не знаю) более словесным, чем постельным. Да, поволочиться иногда он был не прочь, обещать поехать в воображаемую Венецию или угостить ужином — да, а дальше... Нет, «нежным» супругом на склоне лет его назвать трудно, разве, что в последний год его жизни, когда он чувствовал, что смерть еженощно подстерегает его, он непременно хотел, чтобы Вера Николаевна укладывалась в подножье его узенькой постели.

Вера Николаевна была в общем человеком довольно тонким, но одновременно во многом наивным, себя «выдумавшим»... Она все-таки много помогала Ивану Алексеевичу, и не только как «домработница» или переписчица. Хоть он с ней в принципе мало считался, но все-таки некоторым ее советам внимал.

...Еще: эту «дружбу» между Галиной и Маргой Бунин всегда переживал как рану, хотя с какого-то времени возобновил с Галиной переписку.

Очевидно, он не забывал ее. Дефекты кузнецовской речи пронзили его... до конца дней». (Из письма А. В. Бахраха автору книги.)

* * *

Минут годы. Галина переберется из разоренной войной Европы в США. Но и там окажется без семьи, без приюта, без денег и работы. При содействии В. Б. Сосинского, с 1947 года работавшего в Отделе стенографии Организации Объединенных Наций, Кузнецова устроится работать в библиотеку ООН.

До чего же в этом мире хитро переплетаются обстоятельства! До встречи с Буниным Галина дружила как

раз с Сосинским — это еще в середине двадцатых годов. Более того: упоминавшийся выше Назаров теперь станет ее начальником.

Именно ему, после получения от Галины письма о ее новой работе 22 марта 1952 года Бунин, ослабший от бесконечных болезней и хронического недоедания, неверной рукой подпишет письмо, отпечатанное на дешевой, почти папиросной бумаге:

«Дорогой Александр Иванович, с радостью узнал, что у Вас работает Галина Николаевна Кузнецова, надеюсь, что это невременно. Она во всех отношениях будет у Вас прекрасной работницей. Я за нее ручаюсь во всех отношениях. Благодарю Вас заранее.

Обнимаю Вас сердечно, с неизменной любовью. Диктую, потому что лежу в постели, только что поправляюсь от очередного воспаления легких. Ваш. Ив. Бунин».

Он ей все давно простил.

В памяти останется лишь самое легкое и светлое, как летучая гряда облаков ясного осеннего заката.

* * *

Уже после смерти Бунина, Сосинский после тринадцати лет работы в ООН, примет решение вернуться на родину. Он скажет Кузнецовой:

— Вы, Галина Николаевна, поступили бы благородно, если бы передали письма Ивана Алексеевича в СССР. Там его чтут, издают книги...

— Нет,— горячо перебила она. — Нет, его письма я никогда и никому не отдам. Лучше сожгу!

По тону Кузнецовой было ясно: уговаривать бесполезно. (Содержание разговора мне передал В. Б. Сосинский.)

С Маргой Степун она не рассталась до самой смерти ее в 1975 году. Кузнецова страшно о ней тосковала. Умерла она на следующий год в Мюнхене — одинокой, никому не нужной.

С той поры много воды утекло. Найдено и опубликовано немало бунинских писем. Но среди них нет ни одного, адресованного Кузнецовой. Неужели свою угрозу она привела в действие?

Впрочем, разве есть в этом мире что-нибудь невозможное? В том мире, где существует всепрощающая любовь? И вместе с ней удивительная душевная черствость, которую даже любовь смягчить не умеет.

ГЛАВА VIII

Из всех развлечений, кроме прогулок по Наполеоновой дороге, Бунину остались лишь поездки в Ниццу, отстоящую от Граса в 27 километрах, да чуть далее лежащие Канны.

Однажды он вновь оказался в Ницце. Бунина сопровождал Адамович. Они не спеша брели вдоль набережной. Белые барашки волн набегали на желтый песок, оставляя после себя темные полосы и вялую зелень водорослей. Бунин, удрученный последними событиями на фронте, был раздражен и мрачен.

Зашли в небольшой русский ресторанчик на бульваре Гамбетта. Несмотря на довольно ранний час, прокуренный зал был полон. В большинстве своем публика состояла из русских, которых в годы войны в Ницце собралось порядочно (временно здесь была «свободная зона»).

Едва Иван Алексеевич показался в дверях, как многие узнали знаменитого соотечественника. «Бунин, Бунин», — словно ветерок пробежало между столиков.

Несмотря на общее внимание, на то, что многие откровенно прислушивались к словам писателя, он, верный привычке, говорил очень громко и почти исключительно о военных событиях.

Его собеседник напрасно пытался увести разговор от этой небезопасной темы, ибо Бунин то и дело к именам Гитлера и Муссолини прибавлял самые крепкие эпитеты, порой просто непечатные.

— Иван Алексеевич, как нынче ваше здоровье? — сделал еще одну отчаянную попытку Адамович. — Перемена погоды не влияет на вас?

— Какая погода! — взревел тот. — И о каком здоровье может идти речь, пока эти два холуя — Гитлер и Муссолини, собираются править миром! При одной этой мысли я не могу жить спокойно. А вы — «здоровье, здоровье»! Вот бы поймать этих фюреров, посадить в клетку как самых кровожадных зверей, да возить их по городам и весям, добрым людям показать этих уродов. Ведь сколько слез и крови пролито по воле этих злодеев!

«Это было до крайности рискованно, — вспоминал Г. В. Адамович. — По счастью, бунинская смелость последствий для него не имела. Но могло бы быть и иначе, так как доносчиков, платных или добровольных, так ска-

зать, «энтузиастов», даже не требовавших за свои услуги вознаграждения, развелось в Ницце достаточно, и некоторые были известны даже по именам.

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил:

— Это вы тихоня, а я не могу молчать. — И, лукаво улыбнувшись, будто сам над собой насмехаясь, добавил:

— Как Лев Николаевич!»

Сколько раз он сам рассказывал о случаях проявления геройства Толстым — будь то на Кавказе или Севастополе, когда тот усиленно испытывал себя, увлекался и военною и всякой другой опасностью, или когда Толстой в глухом лесу вышел с прутиком против своры бросавшихся на него собак. Чувство собственного достоинства у обоих писателей было сильнее чувства животного страха.

В августе 1942 года подпольная французская организация известила местных евреев, что ближайшей ночью будут произведены среди них аресты. Бунин укрыл у себя пианиста Либермана и его семью. Рискуя сам, он несколько дней прятал их. Позже они перебрались (по словам Бахраха) в США, спаслись от фашистов. Уже в 1964 году Либерман писал советскому литератору А. К. Бабореко: «...Иван Алексеевич был стопроцентным русским патриотом, думая только о спасении Родины от нашествия варваров».

Частыми гостями на «Жаннет» бывали и русские люди — солдаты Красной Армии, захваченные фашистами в плен и отправленные на работу во Францию, в частности в Грас. «Когда Бог даст нам свидеться, расскажу о пленных — их у нас бывало в гостях немало (еще при немцах), — писал в одном из писем Бунин 23 ноября 1944 года. — Некоторые в некоторых отношениях были настолько очаровательны, что мы каждый раз целовались с ними как с родными... Они немало плясали, пели — «Москва, любимая, непобедимая»...»

— В своем дому можно поссориться, даже подраться, — внушал Бунин Бахраху. — Но, когда на вас бандиты прут, тут уж, батенька, все склоки свои надо в сторону отложить, да всем миром по чужакам ахнуть, чтоб от них пух и перья полетели.

Вот Толстой проповедовал непротивление злу насилием, писал, что войны нужны лишь власть предержащим. Но, напади враги на Россию, войну продолжал бы

проклинать, а всем сердцем за своих бы болел. Так уж нормальный, здоровый человек устроен и по-другому быть не должно. А русский поражен тоской и любовью к Отечеству сильнее, чем кто-либо...

— Кстати, о Толстом, — вставил свое слово Бахрах. — Ведь он действительно утверждал, что война из патриотических целей — обман и великое зло?

Бунин оторопело посмотрел на собеседника.

— А вы сами это читали? — Иван Алексеевич грустно покачал головой. — Вот, не читали. Я, простите, наслушался всякой болтовни по этому поводу — «Толстой антипатриот»! Вы верите в это? Кто любил Россию больше? Может, Савинков, Керенский или Лейба Бронштейн-Троцкий?

Так вот, если вы согласны, что Лев Николаевич принадлежит России больше, чем кто-либо другой, в том числе и его так называемые критики, то будем рассуждать дальше. Более того, если вы не торопитесь (а торопиться нам теперь некуда), то я пойду отыщу выписку, которую я сделал в канской библиотеке.

Шмыгая шлепанцами, Бунин удалился к себе наверх и долго не возвращался. Наконец он появился, держа в руках несколько исписанных листков.

— Сидите тихо и слушайте! — строго сказал он. — Критики ссылаются чаще всего на слова Толстого из его трактата «В чем моя вера?». Я их выписал из четырнадцатого тома Полного собрания сочинений, изданного Пошей Бирюковым в 1913 году: «...Я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, губящее мое благо, — я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю только, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь все зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству... То, что мне представлялось хорошим и высоким — любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в

ущерб благу других людей, военные подвиги людей, — все это мне показалось отвратительным и жалким».

— Впечатляет? — Бунин в упор посмотрел на Бахраха. — Сильно написано. Так вот, если эту мысль или еще некоторые другие вырвать из контекста, в связи с чем они написаны, тогда действительно может показаться, что все эти горе-критики Льва Николаевича правы. А они именно так и делают: одни как злоумышленники, а другие, вроде бы честные люди, из своей серости, потому что Толстого знают лишь поверхностно, лишь — в лучшем случае! — его романы.

А ведь все эти мысли Толстой прилагает к тому идеальному обществу, которое будет, когда на земле наступит Царство Божие. Более того, он упорно повторяет завет Христа о соблюдении абсолютного целомудрия.

— Но ведь тогда человечество прекратится! — восклицали оппоненты Толстого.

— Не бойтесь! — улыбался Лев Николаевич. — Нам с вами Царство Божие не грозит.

Толстой брал максимальную точку отсчета (как и сам Христос), и иначе быть не могло. Он писал об идеальных, пожалуй, нравственно стерильных отношениях между людьми — и каждое слово его справедливо, и смешно обличать его в антипатриотизме. Действительно, какой патриотизм в Царстве Божьем?

А Лев Николаевич жил среди нас, грешных, и любил Россию так, как дай Бог нам ее любить! — заключил Бунин.

* * *

Вообще делать выписки из книг и подчеркивания в книгах — это было любимым и необходимым занятием Ивана Алексеевича. О России он говорил каждодневно, порой с болью, но всегда с любовью.

Как-то за завтраком зашла речь о том, что эмиграция вымирает. Бунин согласился с этим, но задал вопрос:

— От старости? От бедности и от болезней? Не знаю, думаю — гораздо больше от тоски по Тверской улице или какой-нибудь нищей деревушке Петуховке, затерявшейся среди болот и лесов.

Бунин, перешагивая через ступеньку, поднялся к себе в комнату. Через минуту спустился с листком бумаги:

— Вот выписал из письма Чехова, которое он адресовал сестре своей, Марии Павловне из Ниццы: «...Работаю, к великой досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно»... *

Помолчал, посмотрел в окно на вечернее небо Граса и каким-то тусклым, севшим голосом добавил:

— Что уж хуже — работать на чужой сторонушке...

И он вновь удалился к себе: теперь тяжелыми грузными шагами старого и страдающего человека.

* * *

29 августа 1944 года Вера Николаевна записала в свой дневник:

Ян сказал: — *«Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют... Чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!»*

* * *

Из дневников И. А. Бунина:

«...Часто думаю о возвращении домой. Доживу-ли? И что там встречу?» (2 апреля 1943 года.)

«...Просмотрел свои заметки о прежней России. *Все думаю, если бы дожить, попасть в Россию!..»* (20 января 1944 года.) (Курсив в цитатах мой. — *В. Л.*).

ГЛАВА IX

Но чтобы попасть в Россию, для начала надо было победить в войне. Чуть не каждый день на вилле «Жаннет» раздавались сетования:

— Когда же наконец наши наломают бока Гитлеру! И что они там волынку тянут!

---

* Это письмо И. А. Бунин включил в материалы, опубликованные в его посмертной книге «О Чехове», вышедшей в Нью-Йорке в 1955 году (с. 337).

— Это, Ян, тебя там не хватает, — подавала голос Вера Николаевна. — Ты бы давно победил!

А пока он записывал в дневник: «Война все тянется. И конца этому не видно! Когда-же, Господи, что-нибудь решительное?»

«Лето. Была дурная, неспокойная погода, теперь как будто установилась.

Май был необыкновенный — совершенно чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера) как всегда они заливаются. Удивительно — сколько б........ в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том, и в другом случае — что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут» (3 июня 1942 года).

Удивительное совпадение: почти в эти самые же дни Гитлер тоже занимался проблемой возрождения и обновления «биологического потенциала». В беседе с Борманом Гитлер рекомендовал ввести... двоеженство. Фюрер развивал эту идею перед руководителем партийной канцелярии:

— Солдаты, даже если они победители, не все возвращаются домой. После войны не все наши женщины дождутся мужей и женихов. И таких будет не менее трех, а то и четырех миллионов. Людской потенциал в Германии резко уменьшится. Представьте себе, дорогой Мартин, какая это будет потеря в дивизиях через 20—45 лет!

Но, — радостно воскликнул Гитлер, — я долго думал и выход нашел. При достаточно высоком уровне сознания каждая женщина, родившая всего одного ребенка, должна быть заинтересована в том, чтобы другие женщины имели как можно больше детей... Дети, естественно, не могут появиться сами собой. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы не всякий мужчина имел много детей; для зачатия детей надо привлекать только наиболее здоровых мужчин и в физическом и в психическом отношениях *.

Бунин, воспитанный на лучших гуманистических тра-

* Здесь почти дословно воспроизведена запись М. Бормана.

дициях XIX столетия, кипел ненавистью к насадителям «нового порядка». В его дневнике немало гневных записей:

«Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40 000. Хватают по ночам, 10 минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы — и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют — будет без роду-племени, где-то воспитают по-своему. Молодых евреек — в бардаки, для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700—800...» (1 сентября 1942 года.)

Писателю даже в голову не приходило, что еврейских детей фашисты и не собирались «воспитывать». Их ожидали газовые камеры, как и их сестер и матерей. Еще 30 марта 1941 года Гитлер на совещании с генералами заявил, что «жестокость является благом на будущее». К старому принципу захватчиков «разделяй и властвуй» было добавлено требование — «уничтожай».

«Немцы к Царицыну все «продвигаются», и все атаки русских неизменно «отбиты». День и ночь идут уже с полмесяца чудовищные бои — и, конечно, чудовищные потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Ну, Царицын — а дальше? Только сумасшедший кретин может думать, что он будет царствовать над Америкой, Бразилией, Норвегией, Францией, Бельгией, Голландией, Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией, Албанией, Россией, Китаем — 16 странами, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут ее ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие. Но какая сказочная сила — пока» (16 сентября 1942 года).

«Паулис, произведенный вчера Хитлером в маршалы, сдался в Царицыне, с ним еще 17 генералов. Царицын почти полностью свободен. Погибло в нем будто-бы тысяч 300. Но в Берлине речи — 10-летие власти Хитлера» (1 февраля 1943 года).

«...Итальянский король принял отставку Муссолини! Пока еще ничего не понимаю. Но событие гигантское! Конец «цезаря», которому уже чуть не ставили золотые статуи!» (25 июля 1943 года.)

«Был в Ницце. ...Множество немцев, много мальчишек; одеты все тяжело и неопрятно, сапоги пудовые» (5 августа 1943 года).

* * *

Затем пошли счастливые дни. То и дело Бунин отмечает в дневнике города, отобранные назад у немцев: Рославль, Смоленск, Екатеринославль, Перекоп, Киев, Знаменка — это осенью и зимой сорок третьего. В январе нового, сорок четвертого — Новгород, Волынск, Белую Церковь, «перешли в нескольких местах польскую границу».

«Да, хорошо я выдумал слова мужика в «Весеннем вечере»: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина...» * (31 января 1944 года).

«С 8 на 9.V.44.

Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать несколько строк «Чистого Понедельника». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейшего движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!

14.5.44.

$2^1/_2$ часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал «Пароход Саратов». Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутные звезды, сырая свежесть.

23.5.44.

Вечером написал «Камарг». Очень холодная ночь, хоть бы зимой».

Это была удивительная весна — весна блистательных побед Красной Армии. И еще — весна необычного подъема духа, творческого парения. Лишь за две недели, начиная с 26 апреля, Бунин пишет большой цикл рассказов, проникнутых тоской к чистой и разрушающей жизнь любви, сквозь которые, словно через тонкую кисею, видна во всех прелестных и чарующих мелочах Русь с ее храмом Христа Спасителя, Красными воротами, «Лоскутной», стремительным бегом саней, пасьянсом «Наполеон», «Стрельной», первым в жизни сомлением в нежном холоде девичьих губ в сказочный морозный вечер: «Дубки», «Мадрид», «Второй кофейник», «Холодная осень», «Ворон», а затем — чуть позже, «Сто рупий» и «Месть». Все они вошли в сборник «Темные аллеи».

---

* Не совсем точная цитата из рассказа, вошедшего в сборник «Чаша жизни».

То и дело начинали щемяще реветь сирены: алерт — «воздушная тревога». Самолеты союзников показывались на горизонте. Сначала они были похожи на маленькие точки, которые с каждой минутой увеличивались. Раздавалось дружное гудение моторов на низких регистрах. Часто и дробно стучали немецкие зенитки. Гулко ухали взрывы тяжелых бомб.

Накинув свой потрепанный серый халат, Иван Алексеевич отправлялся в сад. Здесь он с простодушием сугубо штатского человека облюбовал себе «бункер» (как он сам его называл) — будку для инструментов местного садовника. Она была крыта соломенным навесом, прилеплялась к скале и была малоприметна. Этого, по мнению писателя, было вполне достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Когда раздавался отбой, Иван Алексеевич выходил из-под соломенного укрытия, на ходу перечитывая написанные за время алерта странички — фрагменты нового рассказа.

— Назовите мне другого, кто писал в подобной смертельной опасности? — спрашивал он семейных. И хотя глаза его хитро и весело блестели, но он все же гордился своей неустрашимостью. Впрочем, в «бункер» он ходил только под давлением жены. В тех случаях, когда алерт заставал его в отсутствие Веры Николаевны, он даже не выходил из кабинета *.

* * *

Из писем Веры Николаевны Буниной в Москву:

«Иван Алексеевич был бы доволен, что вы больше всего цените книгу «Темные аллеи». Он считал, что там каждый рассказ написан «своим ритмом», в своем ключе, а про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник»...

Он говорил даже перед смертью, что у него vie monqueé ** и что он не сделал того, что мог бы сделать... Сжа-

---

* «Бунинская храбрость мне поначалу казалась бравадой, рассчитанной на окружающих. Но уже скоро я убедился, что он действительно к опасности относится с искренной бесшабашностью. В этом отношении он вполне, наверное, мог бы составить компанию Толстому на севастопольских редутах, тоже уважавшего «всяческую опасность». (Из письма А. В. Бахраха.)

** Потерянная жизнь *(фр.)*.

тость он любил, и вы правы, что многие рассказы — настоящие романы. Правильно, что он сближается с Пушкиным, которого он обожал и превосходно изображал его, каким он ему казался» (30 января 1959 года).

«...Я прожила 46, даже 47 лет в близком общении с творческим человеком и пришла к заключению, что творчество — тайна. И объяснить его — попытка с негодными средствами. И на творческих людей влияют больше жизненные явления, чем те или иные идеи».

И еще несколько строк, за которыми скрывается так много! «Может быть, нужно жить в России, в центре ее, чтобы понимать по-настоящему его творчество...» (8 марта 1959 года). Это горькое признание равнодушия западного читателя к творчеству Бунина. Сколько талантов не раскрылось от этого непонимания, у скольких сложились крылья! Лишь исключительность бунинского характера, его удивительная жизнеспособность позволили ему все более и более набирать с годами творческую высоту.

* * *

Безмерно велика власть воспоминаний! Стоило Бунину выйти из ограниченного пространства, на котором стояла «Жаннет» (не столь уж и «роскошная», как вспоминалось Вере Николаевне, но все-таки достаточно удобная), как память его обращалась к прошлому. У его постоянного собеседника (и единственного в этих прогулках!) Бахраха временами возникало ощущение, что его присутствие — лишь повод, чтобы Иван Алексеевич вслух высказывал свои мысли. Мысли о тщетности и кратковременности земного существования все сильнее тяготили его, все ближе он видел то «освобождение», отвратить которое никому из смертных невозможно.

Омерзительность разложения — что может быть ужасней! Но еще тяжелей ему было потерять весенние теплые ночи, когда звездная бесконечность дрожит в легком мареве, несравненную красоту южных закатов с одетыми в пурпур легкими облаками на горизонте, особую синеву векового, остро пахнущего старой хвоей и янтарной смолой соснового леса в яркий зимний день, когда лишь он мог смотреть на всю эту прелесть не зажмуриваясь, не отводя глаз. (Да, была у него такая особенность — даже на солнце, по признанию Бунина, он мог смотреть спокойно, не ослепляясь.) А женская красота, наслаждение умной книгой и собственной литературной работой... Да ма-

ло ли чего неповторимо прекрасного приходится оставлять на этой грешной и милой земле!

«К старости, да еще холостой, мечтательной становишься, вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости... Ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое...» — так он писал в то время в «Речном трактире». Разве это и не о себе?

— Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой дон-жуанский список? — спросил однажды во время прогулки Бахрах.

— Тогда лучше было бы составлять список неиспользованных возможностей, — ответил тот. — Но ваш бестактный вопрос разбудил во мне рой воспоминаний. Какое удивительное время — молодость! Сколько было счастливых встреч, незабываемых мгновений! Жизнь уходит быстро, и мы начинаем ценить ее лишь тогда, когда все осталось позади.

Давно это было. Случился у меня головокружительный роман с некой Любой Р. Никогда после я не встречал ни таких глаз, ни таких изумительных точеных рук.

Представьте только зимнюю Москву начала века; молодость, льстящая самолюбию известность, рестораны, литературные кружки, публичные чтения, громкие овации, цветы, легкость и беззаботность жизни...

Я был в упоении от жизни. Свои отношения с Любой воспринимал как должное. И вот однажды, незадолго перед сочельником, я устроил Любе скандал — так, из-за какого-то незначащего пустяка, из неловкого слова.

— Раз так — прощайте! — крикнул я ей, и словно в то мгновение бес вошел в меня. Я стал делать одну глупость за другой. Бросил все дела, взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва — Вена и ни с того ни с сего покатил почему-то в Ниццу. (Отдаленные реминисценции этой поездки можно найти в «Генрихе», включенном в «Темные аллеи».)

Вдруг нежданная встреча — на моем пути попался старый друг, известный в то время драматург Найденов, автор нашумевшей пьесы «Дети Ванюшина». Тот тоже толком не знал, зачем его занесло в «Европы». Дальнейшее путешествие мы продолжали, понятно, вместе. Проезжая через Тироль, при виде старинных замков он все время отплевывался и недовольно бормотал:

— Тьфу, пропади... И кому это нужно! А наши-то не-

бось у Телешова сидят, чай пьют. Кой черт меня сюда занес! — и так всю дорогу.

Хотя в Ницце остановились мы в лучшей гостинице (давно заметил, что наши соотечественники предпочитают дорогие гостиницы, пусть даже не по средствам, а иностранцы, даже богатые, все высчитывают — как экономней!), стояла великолепная солнечная погода, нарядная праздничная толпа, море — ничего Найденова не утешало. Хотел познакомиться с пленившей его сердце француженкой, да, кроме «силь ву пле», ничего сказать он не умел. Это окончательно повергло его в отчаяние.

— Едем домой! — начал он звать меня. — Хоть бы борщ с пирожком на границе откушать, — все твердил Найденов.

Честно говоря, и мне безумно хотелось домой. Разлука с Любой терзала меня. Скачки по Европе меня отрезвили. Вернулись так же нелепо, как отправились в путь. Чуть не с вокзала я помчался к Любе.

Она приняла меня холодно, с оттенком презрения. Моей эскапады она так и не простила. Как долго я страдал, да и нынче, поверьте, испытываю что-то вроде огорчения.

— Всю жизнь я повторяю слова блаженного Августина: «Господи, пошли мне целомудрие, но только не сейчас...» Эта фраза меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна, — закончил Иван Алексеевич.

В другой раз он признался, что записывать виденное или использовать какие-то реальные события в сюжетах рассказов противно его природе.

— Я умею только выдумывать, — убеждал Бунин собеседника. — Как-то на «Жаннет» приехала родная внучка Толстого — Татьяна Львовна. Она сумела меня упросить: я прочитал для нее рассказ «Баллада».

— Иван Алексеевич, — удивилась та, — где вы выкапываете такие истории? Ведь придумать этакое немыслимо...

Бунин кисло усмехнулся, вспоминая об этом; он очень не любил подобные вопросы, считая их «залезанием в его душу».

— Постоянно меня спрашивают об этом! Точно я где-то что-то подслушал и потом взял перо и занес на бумагу. Нет, все, о чем я пишу, я выдумываю сам. Всю фабулу той же «Баллады» я сочинил, сидя у себя дома на Оффенбаховой улице. Деньги были дозарезу нужны. Я и заставил себя написать рассказ. Дело простое, обычное. Но ведь в этом рассказе все в пределах вероятного.

Иное — «Дело корнета Елагина». Это один из моих не-

многих рассказов, заимствованных из газетной хроники. Я много по-своему переделал, но в основе сюжета лежит нашумевший некогда процесс артистки Весновской. Он слушался в варшавском окружном суде. Убийцу защищал «сам» Плевако. Знаменит этот адвокат был необыкновенно. Один из первых русских полнометражных фильмов назывался «А защищал ее Плевако», причем главную роль исполняла знаменитая Вера Холодная. Процесс был шумный, прогремел на всю Россию. Вот, видите, я покаялся... Зато все остальное, в том числе «Жизнь Арсеньева», в основном выдумал.

* * *

— Я когда-то усердно собирал частушки, прибаутки, народные пословицы, — рассказывал как-то Бунин. — Это сущий клад для писателя. И сколько их ни записывай, все равно всего не запишешь.

Был у меня один деревенский паренек, обучил его искусству записывать. Обещал, что за каждую новую запись он станет получать по копейке. У меня была почти уверенность, что этот талантливый самородок многое сочинял сам, очень талантлив был...

Как-то он приехал в Москву, ночевал у меня. Я его спросил: «Москва понравилась?»

— Ничего, только ветвей нету...

Дал я ему на прочтение «Смерть Ивана Ильича». Спрашиваю:

— Прочел?

— Прочел.

— Ну, понравилось?

— Очен-но понравилось, там буфетный мужик большие деньги загребал...

Что касается частушек и прибауток, собрал я их около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли они, в Москве остались с моими бумагами.

Позже Бунин протянул тетрадь Бахраху:

— Вот для вас, обучайтесь прибауткам...

Бахрах назвал их «остроумными и выразительными», но, добавил он, «напечатать их неудобно».

* * *

— Терпеть не могу букву «ф»! — признался как-то Иван Алексеевич. — Мне даже выводить на бумаге ее неприятно и трудно. В моих писаниях вы не найдете ни

одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. Почему? Сам не знаю.

Кстати, меня при крещении чуть не нарекли Филиппом. В последнее мгновенье спасла меня нянька. Священник уже стоял у купели, нянька прибежала к матери:

— Это что делают! Разве для барчука это имя? У нас плотник пропойца тоже Филипп!

Думать было некогда. Второпях назвали меня первым пришедшим в голову именем — Иваном, хотя это тоже не слишком изысканно. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, и живу я без своего святого... Но, прости Господи, по сей день недоумеваю: каким образом рука Иоанна Крестителя, которую — вернее мощи которой, тогда переносили, могла вдруг оказаться в Гатчине?

Представляете, если бы это случилось — я назывался бы «Филипп Бунин». Тьфу, как «филипповская булочная»! Из-за такого гнусного созвучия я, вероятно, и печататься никогда бы не стал.

Да, чуть не забыл — еще об именах. Наш древний род значится в шестой родословной книге дворянства. Но както гулял я по Одессе и наткнулся на вывеску «Пекарня Сруля Бунина». Каково!

* * *

Кто-то заметил Бунину: «Даже трудно поверить, что среди нас человек, переписывавшийся с Толстым, друживший с Чеховым... Ведь это кажется совсем другим веком, другой эпохой!»

Иван Алексеевич рассмеялся:

— Это еще что! Помню действительно потрясающую встречу. Я только-только был избран в академики и новичком приехал на заседание. Сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Около меня осталось пустовать место.

Заседание началось, и тогда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну, истинно живые мощи! Я не знал, кто это, но, кажется, это был знаменитый физик и химик Николай Николаевич Бекетов, родившийся во времена, когда Пушкин был еще молодой. Я поразился его одеянием — какой-то странный белый балахон, похожий на ночную сорочку.

Впрочем, сей странный туалет никого не смутил: почет ему был оказан чрезвычайный. Все приветствовали его стоя.

Проковыляв по конференц-залу, академик уселся со мною рядом.

Надо сказать, что в Академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны, иначе, как «ваше превосходительство», друг друга не называли.

Старичок мой прищурился, кашлянул и наклонился ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок тогда я и простудился... А вы?»

Можете представить мое состояние: Бекетов говорил о похоронах Крылова, а они состоялись в 1844 году.

* * *

Над Грасом разразилась снежная буря, выпал необычно глубокий снег. Дует пронизывающий ветер. Вдоль дороги, по канаве, обычно чуть влажной на дне, на сей раз шумит поток тающего снега.

Иван Алексеевич, забиравшийся на гору, где стоит его жилище, продрогший, тяжело дышащий, вдруг распрямляется и начинает декламировать:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы
И ропщет бор...

— Удивительно хорошо! — с восторгом произносит Бунин. — Невозможно сказать ярче и короче. Каждый раз, вспоминая какие-нибудь пушкинские строки, ощущаю, что впадаю в столбняк. Немею от восторга, от удивления. Во всей мировой литературе не найти ничего даже отдаленно похожего. Что можно нового сказать о Пушкине? Ничего! Можно лишь повторить давно истертые эпитеты и восклицания. Он уже давно перестал быть литературным фактом. Он вошел во всю нашу жизнь.

Должно быть, есть в природе вещи, о которых мы даже не догадываемся. А то как же могло случиться, что какой-то негодяй неизвестными путями и неизвестно зачем проникает в Россию, делается родственником Пушкина, а затем убивает его. Нет, умом такое понять невозможно!

Однажды, на каком-то приеме Анри де Ренье * завел со мной разговор на разные темы. Был он в широком старомодном фраке, с пышными галльскими усами, еще не старый — было это в году тридцатом. Мы курили, говорили о пустяках, вдруг он произнес:

— Вы, вероятно, не любите Дантеса. В молодом возрасте он убил на дуэли вашего поэта Пушкина (он произнес — «Пуськина»). А Дантес мне приходится родней. Что он мог сделать? Его оскорбили. Он защищал свою жизнь.

— Какая бестактность! Мог бы и не говорить мне таких вещей. С той поры я избегал с ним встреч **.

...Для Бунина Пушкин был полубогом, человеком вне законов, недосягаемым и грандиозным. Все, что Пушкина окружало, каким-либо образом было связано с ним, все это для него священно. Но это не мешало ему по-настоящему восторгаться Лермонтовым, причем, по утверждению Бахраха, прозой больше, чем поэзией. Более того: в начале тридцатых годов собирался писать «романсированную биографию» Лермонтова. Об этом было даже объявлено в печати.

«Последние месяцы своей жизни Иван Алексеевич тоже часто цитировал и стихи Пушкина и Лермонтова, особенно я любила слушать «Выхожу один я на дорогу»... И как он читал это! Но всегда говорил, что конец хуже. Он вообще перед своей кончиной очень мучился смертями и Пушкина и Лермонтова и бесконечно говорил об этом...» (Из письма В. Н. Буниной в Москву 8 марта 1959 года.)

ГЛАВА X

К концу войны Ницца как-то незаметно опустела. Одни ушли во французское Сопротивление (каждому успеху которого Бунин от души радовался), другие уехали в неизвестном направлении, третьи старались меньше попадаться на глаза оккупантам, сидели по домам.

Поездки в Ниццу Ивана Алексеевича сделались совсем редкими. Но в одну из них он посетил знакомого вла-

* Анри де Ренье (1864—1936) — французский поэт, академик.

** 12 февраля 1945 года Бунин записал в дневнике: «Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества не могу примириться с его дикой гибелью!» Далее идет рассказ о приведенной нами встрече с Анри де Ренье.

дельца книжного магазинчика и среди всякой завалявшейся рухляди отыскал небольшой сборничек стихов Гиппиус — «Сияния», отпечатанный, как теперь выяснил Бунин, еще в 1938 году в Париже. Не от хорошей жизни Зинаида Николаевна тиснула его воистине библиофильским тиражом — 200 экземпляров. Увы, и это не помогло! Книга пылилась на прилавках. (Хотя, конечно, и время для чтения стихов было не самым подходящим.)

— Ну, чем тут «просияла» Зинаида Николаевна! — говорил Бунин, усаживаясь вечером под настольную лампу и раскрывая сборник. Через минуту раздался его хохот, смеялся Бунин до седьмого пота. — Нет, вы послушайте, что эта «гениальная» поэтесса натворила:

ДОСАДА

Когда я воскрес из мертвых,
    Одно меня поразило:
Что это восстанье из мертвых
И все, что когда-нибудь было —
    Все просто, все так, как надо...
Мне раньше бы догадаться!
И грызла меня досада,
Что не успел догадаться.

— Вот уж точно черт ее догадал такую галиматью печатать! Эти перлы хороши как снотворное. Куда лучше — читать их на ночь для Дмитрия Сергеевича. То-то сон у него был отменный!

Схватив карандаш, Бунин размашисто написал на желтой книжной странице: «И всё, всюду мошенничество загадочностью, будто бы какими-то великими и высокими тайнами, печалями!»

Карандаш, глубоко вдавливаясь в бумагу, гулял безжалостно по книге. И наконец вывел окончательную строгую резолюцию: «На старости лет писать такие жульнические глупости!»

У Зинаиды Николаевны были и талантливые строки, но Иван Алексеевич замечать их не хотел.

— Ян, ты что так разошелся? — заволновалась Вера Николаевна.

Тот ничего не ответил, хотя отлично знал, что раздражало его не только литературное манерничанье Гиппиус. Он помнил ее злые нападки в печати, интриги, которые плела она с мужем вокруг его имени. И еще он хорошо помнил, что супруги Мережковские, начиная с двадцатых годов, облизали все начальнические сапоги, до которых сумели добраться.

— Ты, Вера, знаешь, что эта парочка пролезла к самому Муссолини?

— Разве? — Вера Николаевна изобразила на своем бесхитростном лице неподдельный интерес, хотя эта история была ей так же хорошо известна, как и всему русскому Парижу.

— Тогда слушай! — и начался домашний спектакль. Бунин нервно теребил мнимую бородку, очень похоже изображая Дмитрия Сергеевича.

— Итак, два гениальных писателя прибыли под голубое небо Италии. В Риме — толпы туристов, разгар сезона. Все мечутся от одного памятника истории к другому. И лишь супруги Мережковские не спешат к арке Тита и Колизею, они не желают видеть ни мавзолей Адриана, ни термы Диоклетиана, ни базилику Санта-Мария Маджоре.

— Мы желаем лицезреть лишь великого Бенито Муссолини!

И Мережковские своего, конечно, добиваются. Итак, загородная вилла диктатора. Бассейны, чинары, мрамор, бронза, усиленная охрана. Испытывая искренний душевный трепет, супруги входят в кабинет Муссолини. Тот приглашает их присесть.

— О, нет! — восклицает потрясенный Дмитрий Сергеевич. — Последние годы я проводил непраздно. Я много размышлял о вас, дуче. И теперь я готов заявить перед всем светом: для Бенито Муссолини добродетель столь же инстинктивна, как для смертных — голод и жажда.

От удивления дуче выпучивает глаза.

Дмитрий Сергеевич все больше входит в раж. Уже почти задыхаясь, он страстно произносит:

— Дуче! Я теперь пишу новую книгу. О Христе и о вас.

Диктатор смущен. Он машет руками:

— Piano, piano! *

— Ну, хорошо, — примирительно произносит Мережковский. — Тогда — о вас и о Данте Алигьери!

— Мне сам Мережковский рассказывал об этом, — добавляет Бунин. — Он очень обижен был на дуче. Скуповат оказался.

Изображая эту сцену, Иван Алексеевич передавал разочарование Мережковского:

— Нет, пожалуй, он не Данте! У него просишь, а он не дает.

* Тихо, тихо! *(ит.)*.

И в глубоком раздумье:

— Обманул, обманул!

Пришлось Мережковскому заинтересоваться Португалией:

— Там ведь тоже есть диктатор — к тому же с очень звучным именем: Антониу ди Оливейра Салазар. Зина, продумай текст письма: надо что-нибудь трогательное, религиозное. Они там все очень религиозны. Найди какого-нибудь святого...

Салазару написали: Мережковский водил ручкой, Зина диктовала. Они сообщили о своей «давней мечте» — составить жизнеописание национальной португальской святой, просиявшей своими чудесами на весь мир и чье изображение украшает спальню Мережковского, которая дает им духовные силы и пр., пр. Имя ей — Фатьма.

Отправили и стали ждать ответа. Начал было Дмитрий Сергеевич загодя собирать материалы по этой самой Фатьме. И тут — конфуз! Выяснилось, что это имя вовсе не святой, во всем мире известной, а название то ли городка, то ли деревушки.

Салазар, понятно, не ответил, а Мережковский сокрушался:

— Надо же! Это Зина впопыхах перепутала — уж очень деньги были нужны.

Мережковский умер в декабре сорок первого. Зинаида опубликовала поэму. В рай она поместила лишь усопшего да их собачку, которая скончалась незадолго до этого траурного события и которую принес туда Дмитрию Сергеевичу «сам Христос»:

...Да это ведь она,
Собачка Булька, милая моя!

Но для Бунина Мережковский умер гораздо раньше: в тот день, когда он узнал о выступлении Дмитрия Сергеевича по немецкому радио, о его призывах «освободить Россию».

Однажды на «Жаннет» зашла речь о личных дневниках, Иван Алексеевич саркастически улыбнулся:

— Вот помрет Зинаида Николаевна, и, если тогда еще будет существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них будет вдоволь рассуждений о всяких встречах и беседах — непременно на «серьезные темы», при том все будет описываться с ехидством, с подковыркой... А ума, как у настоящей символистки, ни на грош!

Многое тайное со временем делается явным. У нас

есть любопытная возможность заглянуть в дневниковые заметки Гиппиус, на протяжении долгих лет являвшуюся одним из вождей декадентов и символистов, претендовавшую на роль «пророчицы» (определение Бунина).

Итак, дневник Гиппиус за 1940 год:

«6 мая. Солнечно до вечера. Массу денег истратили на мыло, эликсиры и т. д. Володя (Злобин. — *В. Л.*) как сумасшедший — каждый день на свое тратит от 20 до 40 франков. Невменяем. Я даже его боюсь.

7 мая. Голова распухла от В. Н. Буниной, которая целый вечер болтала мне в глухие уши.

Сначала было темно, потом чудесная погода. Гуляли немного.

8 мая. Были у пруда. Солнечно, но свежий ветер. Очень скверно с войной. А у нас — с деньгами. Но не в том дело.

9 мая. Невообразимая буча в английском парламенте. Чемберлен, кажется, уйдет — но Ллойд-Джордж и того хуже, — о, гораздо хуже! Или Черчилль. День так себе, тепло; к вечеру мгновенный дождь...»

И так далее, изо дня в день — в основном про погоду и «несносных людей», которые тратят деньги и несут чушь *.

Но вот фашисты напали на Францию. Престарелая поэтесса, почти полностью оглохшая, проклинает «бесноватого» Гитлера и «одержимого» Муссолини (дневниковая запись 10 мая 1940 года). Почитаем эти странички, заполненные мелкими кудряшками довольно-таки разборчивого почерка:

10 мая. «И совершаются пророчества»... Бесноватый полез на Люксембург, Голландию и Бельгию! В это время бомбардирует французские города... Ночью — алерт. Я целую ночь кошмарила. Весь мир в возбуждении. Муссолини — одержимый. Как он может...

11 мая. Каждую ночь алерты (которые я не слышу). Бои идут тотальные. Чемберлен ушел, вместо него — Черчилль. Нарастающий ужас... «Нет правды на земле».

12 мая. Мы еще не ложились спать — и вот сирена. Все еще гудит. Налетают, значит. Сидим, пока не кончилось... Днем — Тэффи, оба Бунины... **

21 мая. Бои, бои... Но ход немцев не уменьшается,

* Дневник в собрании автора. Публикуется впервые.

** И. А. и В. Н. Бунины пробыли в Париже до 22 мая 1940 года. Следующий раз они прибыли сюда лишь пять лет спустя — 1 мая 1945-го.

прут как нечеловеческая волна. У Володи (Злобина. — *В. Л.*) безумие — уезжать в Биарриц! Куда??!! Два раза был Керенский. Он вял. Мечтает уехать в Америку...

28 мая. Измена бельгийского короля. Подробности не нужны, это не забудется...

29 мая. Бельгийский король уехал под покровительство немцев. Фронт совершенно обнажился. Все делается опасным.

30 мая. Италия — мне за нее сердечно больно — накануне (в воскресенье) своего позорного выступления (на стороне немцев. — *В. Л.*)...

1 июля. ...Французы хорошо дерутся и духа не потеряли, несмотря ни на что! Но... без надежд!

3 июля. Первая бомбардировка Парижа. Сирена... Потом выстрелы, взрывы, из окна кухни — клубы дыма...»

Злобин все-таки настоял на своем: 5 июля Мережковские отправились на берег Гасконского залива в курортное местечко Биарриц, где дети лечили рахит, а дамы — женские болезни. Было серо и холодно. Гиппиус продолжала свои записи:

«9 июля... Война — один ужас. Французы *одни* и едва сдерживают наступление на Париж.

10 июля. Муссолини выступил! Вместе с Германией. Нож в спину Франции. Нет, какой ужас! Кончена Франция.

...13 июля. Париж будет сдан. Я почти не живу от тяжелого ужаса».

Запись 14 июля закапана чернилами: «Даже писать уже нельзя — перо не хочет. Завтра (как обещал Гитлер давно) они входят в Париж, который не защищен.

15 июля. Неужели? Да, Франция просит пощады. Петен объявился...

22 июля. Толпы, толпы беженцев. Магазины закрыты. Предложения Франции перемирия (похабного) еще не приняты, хотя посланы. Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами... Неужели я это пишу?»

День 25 июля, когда Гиппиус узнала о подписании «позорного перемирия», она обвела траурной рамкой. На третий день немцы оккупировали Биарриц. Зинаида Николаевна с ненавистью взирает на «этих дьяволов». 28 июля она с гневом начертала: «О, какой кошмар! Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве, с грохотом в таких же черных закоптелых машинах. Почти нельзя вынести.

29 июля. Черных роботов все больше, и все они омерзительные.

И, явно напрягая свои художнические возможности, Гиппиус изобразила «омерзительного черного робота», пояснив, что у оккупантов «крошечная головка, лицо у всех одно» (1 августа).

Все это развенчивает сложившуюся легенду, что Гиппиус якобы радостно приветствовала немцев. Нет, этого, как видим, не было.

15 августа вновь досталось фюреру: «...Один из признаков варварства — отсутствие юмора (Hitler)».

20 августа. «В магазинах ничего нет, даже чулок — все расхватали немцы. Ходят по всем магазинам стадами. И обжираются сладостями в кондитерских».

27 августа к Мережковским зашла Надежда Тэффи. Хозяева «сорились, конечно». Дело в том, что «Дмитрий все о деньгах, а я о немцах». Ругала их на чем свет стоит. Дмитрий же относился к захватчикам не только терпимо, но даже с симпатией.

«5 августа. Все то же. О, СКУКА! «Этим» (т. е. гитлеровцам. — *В. Л.*) нельзя забыть. Стучат сапогами. Опустошают все лавки».

10 ноября заглянула в кафе. И вдруг, омрачив настроение, «пришли кучей «закопченные». Главное, противно, когда они с «девчонками»! Вот она, петеновская «collaboration»! *

И на предпоследней странице дневника Зинаида Николаевна Гиппиус словно подвела итог своим многомесячным наблюдениям оккупантов: «Немцы... немцы... Соединение бешеной кошки с тупыми, упрямыми ослами» (30 декабря).

Эти дневники, безусловно, крайне любопытны. Они не только помогают по-новому взглянуть на поэтессу, уточнить ее позицию. Но на примере Гиппиус яснее понимаешь взрыв той ненависти, которую испытала русская эмиграция к фашистам. И эта ненависть во сто крат усилилась в годы Великой Отечественной войны, привела многих в ряды французского Сопротивления.

И уж во всяком случае, таких, как Дмитрий Сергеевич Мережковский, открыто приветствовавший гитлеровцев, среди русских оказалось весьма и весьма немного.

---

* Сотрудничество *(фр.)*. Именно к нему призвал Петен французов, занявший предательскую позицию по отношению к своему народу.

* * *

Она скончалась 9 сентября 1945 года, дожив до великой Победы народа, к которому когда-то принадлежала. Все давно покинули ее, лишь седой, как лунь, Злобин заботливо ухаживал за бывшей своей госпожой. Некоторые биографы Бунина указывают, что он не пришел проститься с этой женщиной.

Это не так. Согласно дневниковой записи Веры Николаевны Иван Алексеевич «вошел, очень бледный, ...усердно молился». Священник, отец Липеровский, отпевал усопшую: «Успокой, Господи, душу рабы твоей...»

Закрыв лицо рукой, тихо плакал Бунин.

На сомье́ в восковой оцепенелости лежала, похожая на высохшую мумию, старушка в черном платье и в белоснежных погребальных полотнах. Эта была та, которая некогда сияла на вершинах российского Парнаса.

* * *

Книги часто давали Бунину повод для размышлений. Летом сорок четвертого года, когда война с радующей неизбежностью приближалась к победному завершению, Бунин появился в столовой «Жаннет» со старинной книгой в руках. Он был столь счастливо возбужден, что Бахрах удивленно спросил:

— Что за древность у вас в руках, Иван Алексеевич?

— Да, вот, давным-давно привез из церковной библиотеки в Каннах Гоголя — это третий том его Полного собрания сочинений, вышедший в 1867 году. Но никак не мог прочесть его, все работал много, вам известно... Сегодня открыл статью «Нужно любить Россию» и поразился — до чего Гоголь прав относительно нашего отношения к России. (Хотя вы-то отлично знаете, что в этом писателе многое не приемлю — его «плетение словес», порой что-то головное, надуманное!) Вот слушайте: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь и этот путь есть сама Россия. Если только возлю́бить Русскую Россию, возлюбить и все, что́ ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви... Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться, да

раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается; в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние...» — Иван Алексеевич оторвал от книги просветлевшее вдруг лицо, озарившееся удивительно шедшей ему милой улыбкой, всегда очаровывавшей собеседников, и страстно произнес:

— Вот как получается: о чем думаешь, то тебе и попадается в книге! Ведь это про нас всех Гоголь писал — «досада да унынье»! Послушайте, Александр Васильевич, дальше.

«Если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже умных людей, то-есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с нею можно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственности и праздной жизни».

— А вы знаете, когда Гоголь это написал? В 1844 году — ровно сто лет назад. Потрясающее совпадение!

* * *

— Я русская и не хочу изменить своей родине! — гордо крикнула в лицо гестаповцам Вики Оболенская. Ей, участнице французского Сопротивления, 4 августа 1944 года в берлинской тюрьме Моабит фашисты отрубили голову. Вики было тогда 33 года, и она была очень красивой.

Даже находясь на чужбине, наши соотечественники на деле доказали, что они любят Россию, что они *настоящие* русские — те же солдаты, что громили шведов под Полтавой при Петре, что гнали Наполеона до Парижа. Мать Мария (Е. Ю. Кузьмина-Караваева), Ариадна Скрябина (дочь известного композитора), 22-летний К. А. Радищев — потомок великого революционера, приняли мученическую смерть.

Сотрудник Матери Марии отец Дмитрий Клепинин, настоятель церкви на рю Лурмель, был арестован немцами. Он отказался от освобождения на условии, что впредь не будет «помогать евреям», и погиб в концлагере.

Хороший знакомый Андре Жида, с легкостью окончивший историко-филологический факультет и Этнографический институт, владевший японским языком, Борис Вильде писал стихи, рассказы, критические заметки. Он сражался в рядах французской армии, бежал после ее разгрома в 1940 году, попал в концлагерь. Вместе с другим молодым человеком и коллегой по работе в Музее человека и тоже русским — Анатолием Левицким, создали первую во Франции группу Сопротивления, выпустили первую подпольную газету, успешно развивали свою героическую деятельность.

Нашелся провокатор. «Дело» Музея человека (как его называли) явилось одним из самых громких во время оккупации. Суд состоялся в январе 1942 года. Русские держались благородно и спокойно. Даже немецкие прокурор и председатель суда засвидетельствовали, что они «уважают и преклоняются перед героизмом тех, кого вынуждены приговорить к расстрелу».

И еще многие другие русские погибли как борцы против общего врага, приближая День Победы.

31 марта 1943 года своей смертью тихо скончался бежавший от немцев на юг Франции Павел Николаевич Милюков. Заключительный номер «Последних известий» вышел, как мы помним, 14 июля 1940 года, когда фашисты вступили в предместья Парижа. За несколько недель до смерти он написал свою последнюю (из многих-многих сотен других) статью «Правда о большевизме». Она разошлась немалым тиражом — ее размножали тайком на ротаторах, перепечатывали на пишущих машинках. Милюков в статье напомнил, что он — «антибольшевик». Тем убедительнее прозвучало его признание мощи Советской России, что там «народ изменился, стал гораздо развитее, сообразительнее». Советская власть «для них все. Она их вывела в люди, и они ничего другого не хотят». Советский гражданин гордится своей принадлежностью к большевистскому государству. Он патриот. В этом сила России.

Милюков, словно в предсмертном завещании, призывал русских людей за рубежом с уважением отнестись к тем чудесам храбрости, которые проявляют бойцы Красной Армии. Их великие победы обязывают пересмотреть прежнее отношение к новой России. «Бывают моменты — это еще Солон заметил и в закон ввел, — когда выбор становится обязательным. Правда, я знаю политиков, которые по своей «осложненной психологии» предпочитают

отступать в этих случаях на нейтральную позицию. «Мы ни за того, ни за другого». К ним я не принадлежу... Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней... Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого».

Статья Милюкова, судя по всему, не дошла до «Жаннет». Но зато известно, что именно в это время испытаний Бунин произнес, а Бахрах записал, следующие слова:

— Россия в каждом из нас! Любить ее — это нравственно.

* * *

Россия!..

Как страшный крик, полный неизбывной тоски по ней, вырвался из груди Бунина, когда он писал рассказ «Холодная осень». (Он завершил его третьего мая сорок четвертого года.)

Героиня рассказа проделала тот же жуткий путь, что и его автор, что проделали еще тысячи и тысячи русских беженцев — Крым, Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия, Париж... Она уже давно живет в Ницце, «попрежнему чем Бог пошлет». «Была я в Ницце первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

...Вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, — остальное ненужный сон...»

Все, что было после России, — ненужный сон.

* * *

Из дневника И. А. Бунина:

«12.8.44. Суббота.

Два алерта. Первый в 11 часов утра. Испытал впервые настоящий страх — ударили близко... тотчас начались пожары.

Прекрасный, уже очень жаркий день.

15.8.44. Вторник. Успение.

Спал с перерывами, тревожно — все гудели авионы. С седьмого часа утра началось ужасающее буханье за Эстерелем, длившееся до полдня и после. В первом часу радио: началась высадка союзников возле Фрежюса. Неописуемое волнение!

18.8.44. Пятница.

Взяли La Napoul (возле Cannes). Все время можно различить в море 6 больших судов. То и дело глухой грохот орудий».

В воскресное утро вновь привычно завыли сирены: воздушная тревога! Иван Алексеевич не спеша (хотя последние дни вокруг творилось «беспокойство», от которого в его комнате вылетело стекло — ударила воздушная волна после взрыва бомбы) отправился в свой «бункер» дочитывать томик Лермонтова. (Чуть прежде, перечитав его «Восточные повести», он отметил в дневнике: «Совершенно детский, убогий вздор, но с замечательными проблесками».)

Прошел час, другой... Давно пора быть отбою, провансское небо оставалось безоблачным и чистым от бомбардировщиков, которые неизбежно следовали за объявлением тревоги.

От этого «неуместного» внешнего спокойствия Бунин стал приходить в беспокойство — сначала легкое, затем все более усиливающееся.

— Что же это такое? Какую пакость теперь надо ждать от оккупантов? — Потягиваясь, он вышел из тесного «бункера» и отправился к себе, на второй этаж. Долго, до рези в глазах вглядывался в голубой горизонт — тишина — и покой, «как две тысячи лет назад»!

По радио тоже не удалось ничего узнать — местная трансляция была отключена. Только после полудня просочилась «секретная» новость: воздушная тревога объявлена по причине высадки союзного десанта где-то в местечке Фрежюс — это всего километров сто от Граса.

В тот день отбой все-таки дали, но время шло в нервирующем ожидании, усугубляемом отсутствием сведений с «места боевых событий» и, как всегда в таких случаях, обилием самых противоречивых слухов. Но время от времени со стороны Эстереля слышался гул разрывов.

Бунин весь оживлялся, в его облике вновь отчетливо проявлялось то самое величавое, «римски-сенаторское», что отмечали все его биографы и что несколько потускнело за годы войны.

— Наступило! — Он торжественно поднимал руку. — Что я вам всегда говорил? Гитлеру — капут!

Всю ночь двадцать третьего августа немцы что-то взрывали (кажется, собственные боеприпасы, которые не успели вывезти) — и небо красиво озарялось синим пламенем. На рассвете наступило долгожданное: немцы без

боя, торопливо, в полном беспорядке отступали из Граса.

Через несколько часов в Грас вступили передовые отряды ладных солдат в зеленых, обтягивающих тело комбинезонах и гетрах — рослых, весело улыбающихся. Это были канадские десантники, высадившиеся на планерах вблизи пляжей *.

Из дневника И. А. Бунина:

«25.8.44. Пятница.

Все та же погода — жарко, сухо, жаркий ветер с востока, море все время в светлом белесом тумане.

День 23-го был удивительный: радио в 2 часа восторженно орало, что 50 тысяч партизан вместе с населением Парижа *взяли Париж.*

...Немцы бегут из Граса!.. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги! Днем ходил в город — ликование неописуемое...»

«Что было у нас на душе — описать невозможно», — писал Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, не узнал обычной грасской толпы. «От радости словно все лица преобразились, точно все вдруг похорошели!»

Желая рюмочкой коньяку отметить событие, Бунин толкнул старинную дубовую дверцу и очутился в приятной прохладе кабачка.

— Какую рюмочку, мсье! — вскричал краснолицый, улыбающийся хозяин. — Сегодня все бесплатно и все бутылками! Для начала — Сотерн урожая тридцать первого года...

Когда бутылка опустела, разошедшийся кабатчик хитро подмигнул Ивану Алексеевичу:

— Мсье, одну минуту! — и полез в подвал. Вскоре он вернулся с позеленевшей от древности бутылкой коньяка с невероятным количеством звездочек. Слегка задыхаясь — от быстрого движения и волнения, провозгласил:

— Берег на свадьбу дочери! Но нынешний праздник — самый великий. За вас, русских! За маршала Сталина!

...Бунин бодро поднимался вверх по Наполеоновой дороге. При этом он умудрялся напевать державинское:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес...

---

* И. А. Бунин в своих дневниковых записях ошибочно назвал их «американцами».

Далее, забыв слова, он по примеру Кирилы Петровича Троекурова, перешел на грозный свист.

— *Мы* победили! Знай наших!

ГЛАВА XI

На востоке грохотали пушки — Россия завершала войну. Во Франции немцы были уже разгромлены. Американцы следили за событиями из своего заокеанского далека.

Вспомнили они и о нобелевском лауреате, продолжавшем свое затворничество и голодное существование в Грасе. Ему было отправлено денежное пособие, причем весьма скудное. Организовал эту помощь Алданов. Кроме того, в дальнейшем были посулены продуктовые посылки.

19 декабря вконец ослабший Иван Алексеевич с трудом опустился со своей горы в город, чтобы отправить письмо Марку Алданову. Бунин писал:

«Дорогой друг, наконец-то первые вести от Вас! Открытка от 10 октября, телеграмма и деньги (чуть не заплакал — вышло всего меньше 5 тысяч — это сейчас *гроши* у нас — не посылайте больше таким способом, — если есть у Вас еще что-нибудь для меня, — лучше подождите). Надеемся, что и Вы и Татьяна Марковна (жена Алданова. — *В. Л.*) и все друзья благополучны. С нетерпением ждем от Вас длинного, подробного письма. Что напечатано из моих рассказов в журнале за все время? Я знаю, что только три — уже давно, давно. Издал ли мою книгу «Темные аллеи» Цвибак? Если нет, молебен отслужу! Я написал к этой книге еще немало новых рассказов, из них посылаю Вам авионом три. Известите о получении и судьбе их. Сколько раз в год выходит «Новый журнал»? ...Очень благодарю Вас за устройство продовольственных посылок — погибаем от голода (и холода). Жили все эти годы ужасно, теперь еще хуже. Я продал почти до тла все, что мог продать, — даже из белья. (А как мы жили в других отношениях до бегства отсюда немцев, Вы теперь, конечно, уж знаете от Полонских.) Здоровье мое очень ухудшилось (не говоря уже о слабости от вечного голода) — главное, что-то скверно в печени. Сидим все еще в Грасе — в Париже уж *совсем* замерзнешь. А вообще куда нам придется деваться — и ума не приложишь: Вы представляете себе, конечно, что будет в Европе почти повсюду! Был слух, что Вы собираетесь вернуться в Па-

риж — правда ли? Теперь мы живем втроем — Марга и Галина Николаевна уже $1^1/_2$ года в Германии, Бахрах, проживший у нас 4 года, уехал недавно в Париж. С нами только Зуров... Ваш Ив. Бунин».

Краткие комментарии. Иван Алексеевич публиковал некоторые из своих рассказов, вошедших в книгу «Темные аллеи», в «Новом журнале». Цвибак, получив рукопись этого сборника, усердно «улучшал» ее, удаляя места, казавшиеся ему «эротическими».

Бунин писал Алданову: «Очень огорчен судьбой «Мадрида» и «Второго кофейника», — не постигаю, что в них похабного, — они так чисты, простодушны, «героини» их, по-моему, просто очаровательны — и что это за «богатые дамы», кои вообще гневаются на меня? — ведь все то, *что у Вас было напечатано* (в первом издании «Темных аллей» и «Новом журнале». — *В. Л.*) так невинно! И уж совсем не понимаю, почему вдова и дочери Шаляпина могут обидеться на мою архиневинную выдумку, что Шаляпин заехал с Коровиным * в тот извозчичий трактир похмелиться, где служила «героиня» «Второго кофейника», и там шутя кричал?! Вы говорите, что «имена вообще лучше было бы выпустить», — никак не могу с этим согласиться...

Да что же это за институтские нравы у Вас?! И как-же это Вы все с ними все-таки считаетесь?! (Терпеть не могу этого соединения — вопросительного знака с восклицательным — но не могу не употребить его сейчас!) Вообще на редкость грустна судьба моей последней книги...»

Вкусы «бедным русским» диктовали «богатые дамы» (думается, не только «дамы»). Ни Алданов в «Новом журнале» (где фактической владелицей была Цетлин), ни Цвибак (здесь тоже были свои хозяева) печатать кого-либо, даже — а может, «тем более» — нобелевского лауреата, не могли по собственному усмотрению.

(Цвибак напечатал в 1962 году в США мемуарную книгу «Далекие, близкие» — под псевдонимом «Андрей Седых». Он многое в ней напутал. К примеру, он несколько приукрасил свои отношения с Буниным, раздув свою роль в его жизни до положения чуть ли не «благодетеля». На деле было иное: за издание «Темных аллей» в США на английском языке ее автору был предложен смехотворный гонорар — 200 долларов! Бунин написал Цвибаку

---

* К. А. Коровин (1861—1939) — русский художник, эмигрант.

возмущенное письмо, потребовал возвращения ему рукописи. Тогда, как утверждает Цвибак, «при содействии М. Е. Вейнбаума условия удалось несколько улучшить и Бунин получил 300 долларов».

Уже отсюда видно, в какую зависимую роль от издателей поставлен писатель, хотя бы он был и нобелевский лауреат).

Надеяться на издателей не приходилось — бунинские книги мало соответствовали вкусам читателей — будь то Западная Европа или далекая Америка. У людей, большинство которых пострадало в дни войны (если говорить о Франции), явилось слишком много проблем. Каждый думал лишь о том, как бы прожить, как заново устроить жизнь.

Положение Бунина сделалось и вовсе катастрофичным: парижская квартира на «Яшкинской улице» на время его отсутствия была сдана мэрией семье с изящной фамилией Графы. Теперь эти самые Графы, нарушая договор, отказывались покинуть квартиру.

Зато владелица «Жаннет» изъявила желание вернуться из Англии в Грас и просила освободить ее виллу.

Без жилья, без заработков, без надежды хоть как-то поправить положение... Даже не впадавшая в отчаяние Вера Николаевна, вечно ободрявшая мужа, теперь не знала, что делать:

— Где выход? К кому обратиться? — И слезы катились по ее ставшим дряблыми щекам.

— Выход есть! — горько шутил Иван Алексеевич. — Утопиться в Средиземном море. Впрочем, не уверен, что наскребем деньги на автобус, чтобы до Ниццы доехать. А ближе моря нет.

В этот момент скрипнула дверь, и как всегда не вовремя, вошел Зуров.

— У нас что, сегодня ужин отменяется? — ледяным тоном обратился он к Вере Николаевне. — Ведь я вам на свое питание давал сто франков.

— Я при первой возможности верну эти паршивые франки. — Бунин вскочил со стула. — Когда наконец вы оставите...

Вера Николаевна бросилась между ними:

— Ян, Ян, умоляю, не надо! Успокойся, Ян!

Зуров спокойно и насмешливо улыбался. Иван Алексеевич, увлекаемый женой, покидал «поле боя». Каждый раз после таких скандалов (а они случались куда более горячими!) Бунин с трудом достигал своей комна-

ты и здесь лежал на кушетке побледневший, хватая ртом воздух и принимая сердечные капли.

Вера Николаевна, присев рядом, тихо плакала и уговаривала:

— Ян, пожалуйста, не сердись на Леню! Он добрый, но больной, он сам собой не владеет...

Бунин, вдруг привстав, с горячностью возражал:

— Когда этот подлец тебя «свиньей» называл, он тоже добрым был? Почти двадцать лет не слазит с моей шеи. Господи, за что такое наказанье мне?

Вера Николаевна приставляла палец к губам и умоляюще просила:

— Тише, Ян, тише! Ведь он услышит.

Иван Алексеевич пришел в себя, успокоился, он стал писать Цетлиным: «Дорогие друзья, давно нет от вас весточки... Я и совсем больная Вера Николаевна в полном смысле околеваем с голоду. Неужели в Америке не найдется богатых людей, которые пришли бы нобелевскому лауреату на помощь, спасли от гибели?»

Гораздо пространнее писал Полонским:

«10.2.45.

Милые друзья, наконец-то письмо от Вас!.. Спешу ответить... Цвибак тоже прислал мне открытку, извещая, что книгу моих рассказов «Темные аллеи» он, согласно моему разрешению, издал по русски, что она имела «большой успех», но что тираж ее был, конечно, «ограниченным»... и только: подробностей никаких — и ни одного су гонорара мне! Тут я опять обиделся на Марка Александровича — дело с этим изданием шло через него и он ни слова о нем: сколько было издано экземпляров, вся ли книга разошлась или нет — ничего не знаю!

...Посылок продовольственных я не получал (и до сих пор не получил), но это, конечно, не причина для обиды, — верно, до Граса, хоть три года скачи, не доскачешь в этом деле, — но как объяснить *молчание* Марка Александровича? Одно объяснение: «Ах, тот скажи любви конец, кто на 3 года в даль уедет!» — да еще одно: увы, я, оказывается, всегда больше любил моих друзей, чем они меня!

...Прошу Вас обоих ответить мне еще и на следующий вопрос — прямо или иносказательно (по некоторым причинам это, может быть, лучше): как Вы смотрите на «патриотов»? Я Рощина обложил ужасно — не за переход его в коммунисты, конечно, это его личное дело, — а за

грубейшие помои на «эмигрантщину», как он выразился. Теперь в газете новая редакция — и меня очень звали в нее: я ответил, что не могу пойти, «будучи совершенно чужд политической деятельности» (а ведь газета ярко политическая и боевая)... *

Берберова обложила меня последними словами — за то, что ее травят все ** и что причиной тому — *я:* какой-то ее друг в Америке известил ее, что я написал Марку Александровичу донос на нее — отсюда, мол, все и пошло. Мне ее жаль, письмо ее было всетаки страдальческое, полное чуть не клятв, что она оклеветана, и я ей твердо, но кротко ответил, что я *никогда ни единого слова* (вообще) не писал о ней Марку Александровичу. Очень прошу — эти строки этого моего письма пусть останутся совершенно между нами — пожалуйста ровно никому не говорите о них! (Последнее предложение Бунин подчеркнул синим карандашом, а нижеследующее — красным и поставил нотабене. — *В. Л.*)

Дальше — на счет Зурова: тут тоже горячая просьба — ни слова не пишите *мне* на счет того, что я пишу Вам о нем — избавь Бог попадет Ваше письмо в руки Веры Николаевны, архистрастной защитницы Зурова во всем, во всем, *внушившей* себе любовь к нему как к родному и будто-бы архинесчастному сыну, больному, одинокому, сироте и т. д.

...Зуров сидит на моей шее 15 лет, не слезая с меня, шантажируя моей великой жалостью к В. Н., из-за которой я не могу выгнать его, несмотря на то, что Зуров обращается со мной *сказочно* грубо, раз даже орал на весь дом, ругая меня *при В. Н.* последними *матерными* словами, называл меня «старой сволочью» (как однажды орал *и на нее:* «свинья, свинья, старая дура!») — и что теперь ставши «другом советского отечества» уже совсем распоясался, орет, что «теперь все общее», почему он и живет на «Jannette», что он будто бы имеет какие-то «исключительные полномочия» реквизировать для себя какую угодно квартиру, грозит мне *доносом* за мою якобы малую любовь к России и т. д. Главное же...: я не могу теперь содержать Зурова, я сам нищ, болен, слаб так, что задыхаюсь, взойдя в доме на лестницу, а Зуров мо-

---

* Имеется в виду прогрессивная газета, возникшая после изгнания фашистов из Франции — «Русский патриот».

** Берберова обвинялась в сотрудничестве с оккупационными властями. Впоследствии эти обвинения были сняты как не подтвердившиеся.

жет 15 километров пройти без устали, жрет за пятерых, ходит на собрания, демонстрации и т. д. ...Сердечно целую. Ваш Ив. Бунин». Бунин мог назвать Зурова «другом отечества» лишь с иронией, ибо таковым тот никогда не был.

Я. Б. Полонский, ставший в послевоенные годы одним из самых близких Бунину людей, отвечал 6 марта 1945 года: «Дорогой Иван Алексеевич, начинаю с самого главного — с русских патриотов и с возвращения домой. Знаю, что у Вас нет вкуса к политике, но сейчас без этого не обойтись.

Все мы теперь (за исключением таких, как Берберова) патриоты России, больше того — все мы патриоты *Советской* России, Советского *Союза.* Последнее понимается в смысле Империи. И, конечно, все мы от борьбы (воображаемой) с режимом отказались. Но сейчас же после установления этого общего пункта начинается разветвление и тут людям в политике малоискушенным легко оступиться...

Вы, вероятно, полагаете, что при содействии «Русского патриота» легче вернуться домой. Думаю, что этот способ возвращения не для *Вас.* Вам, конечно, надо, если не окончательно вернуться домой, то уж во всяком случае съездить туда на побывку с почетом и триумфом. Но дорога туда лежит (для Вас) не через «Русский патриот»... Вы сами по себе и только на этом пути Вы для России и для русских писателей там будете авторитетом...

Вашей евангельской кротости в отношении Берберовой — никак не сочувствуем и ее не разделяем. Вы, конечно, всего не знаете. Она одна. Она ведь из группы Мережковского, а он добился от Геббельса, что в Мюнхене немецкая пропаганда будет печатать на русском языке «благонадежных» эмигрантских писателей... Теперь ее будем исключать в числе прочих работавших на немцев из Союза писателей и журналистов».

В этом же письме Полонский сообщил приятную новость — под давлением друзей Бунина Графы наконец съезжают с занятой ими квартиры. И далее: «Очень мы рады, что Вы переедете в Париж. Вам никак нельзя больше там (в Грасе. — *В. Л.*) оставаться, не только по состоянию здоровья: уж очень Вы там оторваны от всего. Вам не хватает уверенности в самом себе и эту уверенность Вы, конечно, обретете снова в Париже. Воздух здесь все-таки другой и к Вашему имени другое отноше-

ние. В Вашем захолустье Вы как-то сами себя снижаете, но Париж таит для Вас лично и опасности, — это надо сказать с полной откровенностью. Не взыщите за непрошеные советы, но нам здесь многое виднее. Политическое безразличие сейчас невозможно больше, а особенно невозможно оно будет для Вашего имени. Поэтому и невозможно безразличие в смысле по линии личных встреч и отношений, как раньше. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, но какая-то линия проходит между людьми, к этому все теперь весьма и весьма чувствительны. Все определяется вчерашним отношением к России и Германии. А Вам нетерпимо никакое навязывание, Вы определяете свое отношение к людям личными симпатиями. Тут-то и появляются сложности, которые могут поставить Вас в деликатное положение...»

Бунин получил это письмо во время прогулки. Почтальон приветливо помахал ему рукой и заспешил дальше. Иван Алексеевич дошел до любимой поляны, опустился на пень и несколько раз, строка за строкой, перечитал послание. В весеннем небе летели легкие перьевые облака, мирно шумели вековые сосны. Молодая, изумрудно-нежная трава пробилась из-под толстого слоя мертвых прошлогодних листьев. Стая диких уток, резкими тяжелыми движениями рассекая воздух, пролетела над лесом.

Бунин даже не поднял голову. «Все мы теперь патриоты Советской России...» Не поздно ли спохватились? «Съездить на побывку?» Конечно, конечно! Но не на побывку, а уехать вовсе. Сделать то, чему помешала в сорок первом война. Хотя зачем? Ведь ни одной родной души не осталось там! Вот и Толстой только что умер. Было ему всего шестьдесят два, мог бы еще лет двадцать прожить. Какой талант был! Позер, конечно. Любил туману напустить, барина изобразить из себя, но как «Петра I» написал!

В Париже сейчас сложная обстановка. Самое главное: не дать себя запутать, никуда не лезть. Он всегда стоял в стороне от всяких группировок. Сейчас это особенно важно.

За вершинами леса заалел кровавый закат. Одиноко и грустно подала голос какая-то птичка. Холодный ветер давно продул Бунина до костей. Он заспешил домой. Ночью бил озноб. Утром был слаб, но сел писать ответ Полонскому.

«9. 3. 45.

Дорогой Яков Борисович, очень благодарю Вас за такое обстоятельное и крайне интересное письмо (посланное, к счастью, экспрессом, ибо много простых писем пропадает). Мне очень нездоровится и потому отвечаю Вам кратко — тем более, что о многом лучше поговорить при свидании — в конце апреля, надеюсь. Да, «нам нужен самый минимум». Но я не совсем уверен, что «повидимому, к этому и идет...» А на счет того, что Вы думаете, что мне «не хватает уверенности в самом себе», Вы неправильно осведомлены, — *и хватало и хватает*. В частности, это касается и газеты: я и не думал и не думаю принимать в ней участие... «Вы, вероятно, полагаете, что при содействии «Патриота» легче вернуться домой», говорите Вы. Нет, я ни единой минуты, никогда не полагал так — т. е. на счет себя — я человек скромный, но все же не до такой степени; Вы кроме того знаете, что еще давным-давно меня *три раза приглашали «домой» — в последний раз через А. Н. Толстого (смертью которого я действительно огорчен ужасно — талант его, при всей своей пестроте, был всетаки редкий!)* (Курсив мой. — *В. Л.) Теперь* я не отказываюсь от мысли поехать, но только не сейчас и только при известных условиях: если это будет похоже на мышеловку, из которой уже не дадут воли выскакивать куда мне захочется, — слуга покорный!

С благодарностью жду от Вас вестей американских, очень благодарю, что уже писали обо мне туда. (Сейчас как раз пришла маленькая посылочка из Нью-Йорка — чай, витамины, немножко кофе... Запакована на редкость небрежно — дивлюсь, что 3/4 не украли!)

С Е. К.* я переписывался, но это было 100 лет тому назад — уже давно, давно от нее ни слуху ни духу. Да и есть разве почтовое сообщение со Швейцарией?

Быть в Париже надеемся в конце апреля — квартира наша свободна. Но как осуществить эту надежду? Как добраться? И главное — на какие деньги? Повторяю — положение мое в этом смысле прямо ужасное! Сердечно обнимаю и целую руку Любови Александровне. Ваш Ив. Бунин».

Мысли о смерти Толстого преследовали его как кошмар. Ведь на двенадцать лет был моложе его, Бунина! Веселый, жизнелюбивый, неистощимый на выдумки, лю-

---

* Екатерина Дмитриевна Кускова (1869—1958). Журналистка. В 1922 году выслана из СССР. Жила в Праге, умерла в Женеве.

бивший хорошо поесть, понимавший и ценивший женскую красоту, еще — кажется, чуть не вчера! — совсем молодой. Ведь даже в Париже, когда Бунин приехал из Одессы, ему еще не было сорока лет. И вот сообщение: «Новодевичий, урна с прахом». «В Новодевичьем будут лежать мои благородные кости...» Так, кажется, писал в двадцать третьем году в рассказе «В ночном море».

А сколько самому осталось? Ну, год-два, от силы пять. И все. Конец. Никто не вспомнит. Finita la comedia! *

Ну, а пока надо жить. И попытаться вернуться домой, в Россию. И вновь, в эти последние недели «грасского заточения», писал в Париж — Полонскому, в США — Алданову, расходуя последние франки на марки.

Из письма Бунина Алданову 12 апреля 1945 года:

«...У меня что-то с печенью, худоба и слабость от голода и всяческих горестей (да и от лет) ужасная, Вера Николаевна худа как скелет, и нервна необыкновенно — все это я Вам уже писал. *Недели через две — не позднее — переселяемся в Париж, как я уже телеграфировал Вам...*

Теперь о деле, «наиболее важном», как Вы говорите. Очень благодарю Вас, дорогой, и всех друзей, думающих о нашем будущем. Да, и я думаю о нем так, что «обо всем не напишешь». Материально мое настоящее и будущее, повторяю, таково, что я иногда только головой мотаю — очень, очень белой головой! И вижу, что нет *здесь* никакой надежды дожить свои истинно последние дни не в нищете, не в голоде, не во всяческих прочих лишениях и унижениях. Вот даже временно нельзя, очевидно, вздохнуть хоть немного свободнее — Вы ни слова не пишете о том, есть ли у Вас что-нибудь для меня в смысле денег, — нет, очевидно, ничего? Так что же мне делать? Единственный ресурс, оставшийся мне, это моя книга «Темные аллеи» (увеличившаяся вдвое за последние два года), но куда же мне ее деть, кому она нужна в такое время? И *что* может дать в самом лучшем случае? *И что будет дальше?* А я все-таки погибать еще не хочу!»

И дальше начинается нечто любопытное. Читатель помнит, что весной сорок первого года Бунин получил визу на въезд в США. Но ехать в эту страну не входило в его планы. Теперь, когда до мира в Европе осталось рукой подать, американские «друзья» вновь

---

* Кончена комедия! *(ит.)*.

зашевелились: вновь посыпались приглашения нобелевскому лауреату перебраться в США. На это Бунин отвечал:

«Горячо благодарю Вас за повторение приглашения. Напишу Вам о нем подробнее из Парижа. Но думаю, что, если и доберусь «до Вас» с «великими слезами» и хлопотами, то буду и «у Вас» в унижении, на «прожиточном минимуме — вот, например, это «Рескью энд Релиф Коммити» прислало мне 2000 франков (подчеркнув: «subvention unique» *, и столь замучило меня все повторяющимися требованиями сообщать самые интимные сведения о моей материальной жизни, что я написал: «Вы ошибаетесь — Я САМ не обращался к Вам и оставьте меня в покое — я не нищий...» Словом, вижу, что не миновать мне ехать домой — очень, очень зовут и говорят всякие лестные слова и обещания выше всякой меры. — Горячо обнимаю Вас и Татьяну Марковну. Вера тоже. Ваш Ив. Бунин».

Алданов, человек мягкого характера, искренне любивший Бунина, влиянием в Америке никаким не пользовался и был лишь слабым орудием в руках организаций, занимавшихся «благотворительностью». Придет день, и он сам покинет США (его прах покоится в Ницце), но сейчас он повторял приглашения с чужого голоса.

Бунин в апреле сорок пятого пришел к решению, которое вынашивал давно: вернуться на родину. 14 апреля он без обиняков писал Алданову: «Не дивитесь, что пишу о возвращении — я, повторяю, выбился из сил от нужды, голода, холода и всяческих прочих лишений (да еще в такие годы, как мои) и с ужасом думаю о своем будущем: я прожил почти все до тла и весь в неоплатных долгах и какие же могут быть у меня заработки! Я крепко держусь ото всего в стороне, ничего не отвечаю на все зазывы, обещания, подожду, осмотрюсь, но к осени, должно быть, уеду. В Париж едем 29 апреля. На веки покидаю юг! Грустно! И переезд будет долгий, тяжкий... Пожалуйста скажите Цвибаку, чтобы он прислал мне хоть 1—2 экземпляра моей книги, изданной им, и дал мне подробные сведения о ней. Дивлюсь ему! Ничего не пишет!..»

Да, спустя два года после выхода «Темных аллей» Бунин не мог получить за них не то что гонорара, но даже книги не видел! Не очень-то церемонился с ним Цвибак, Яков Моисеевич...

* Субсидия беспрецедентная *(англ.)*.

— Вера, пора ужинать!

Ужин был роскошный: омлет из яичного порошка, кофе со сгущенным молоком — ах, спасибо неведомым благодетелям из Америки! Вот уж действительно хорошие люди.

...Внимательный читатель уже готов задать автору вопрос:

— О каких «приглашениях домой» Бунин упоминает в письмах?

— Если бы знать! — честно отвечу на этот вопрос. — Увы, эта и подобные фразы о «приглашениях» и даже «посулах» в случае возвращения Бунина на родину неоднократно встречаются в его письмах, и ответить определенно, от кого исходили эти самые посулы, пока нет возможности.

И все же, зная некоторые черты характера Ивана Алексеевича и обстоятельства его жизни, попытаемся несколько рассеять «туман неизвестности». Причем будем идти к истине «от противного».

Тайны он умел хранить как никто другой. И вот допустим почти невозможную ситуацию: СССР ведет кровопролитную войну с Германией, а некто, наделенный «особыми полномочиями», отыскивает в далеком французском местечке Грас старого писателя и делает ему предложения о возвращении на родину.

Если бы подобное все же произошло, то можно быть уверенным: Бунин об этих предложениях не обмолвился бы ни словом даже самому близкому человеку, пользовавшемуся безграничным доверием, — жене. Он молчал бы до тех пор, пока дело не дошло бы до практических шагов по возвращению.

И совсем невероятно, чтобы он о «зазывах» стал распространяться в своих письмах...

Сделаем небольшое отступление. В 1971 году в «Новом журнале» (№ 105) появились любопытные заметки Георгия Адамовича «Бунин. Воспоминания». Старый приятель Ивана Алексеевича писал: «Война, военные неудачи, положение в России, огромные русские потери, все это чрезвычайно волновало Бунина, особенно в первые год-два, когда, казалось, Гитлер может выйти победителем. О настроениях его в это время, да и о более поздних, по окончании войны, сложились легенды. Русская эмиграция не была в военные годы вполне единодушна, что и способствовало возникновению всякого ро-

да россказней. По другим причинам и другим побуждениям не обошлось без легенд и в Советской России.

...Должен без колебания, во имя истины сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни одного слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились. Нет, взгляды эти, всегда бывшие скорей эмоциональными, чем рассудочными, внушенные скорей чувствами, воспоминаниями и впечатлениями, чем твердым, продуманным предпочтением одного социального строя другому, взгляды эти, настроения эти оставались неизменны».

Адамович даже если действительно хочет оставаться беспристрастным и говорить лишь «во имя истины», тем не менее заблуждается в главном — взгляды Бунина как раз в последние пятнадцать лет жизни во многом изменились. Почему Адамович вдруг решил, что Бунин должен перед ним распахнуть душу? И не мог он знать о письмах в канун войны в Москву Толстому и Телешову, не ведал, разумеется, о дневниковых записях в 1943-м и 1944 годах, в которых Иван Алексеевич высказал заветное — свои думы о возвращении домой, на родину. Что касается Адамовича, то — не забудем, он действительно был одним из самых близких людей к Бунину. Но даже от него были скрыты замыслы писателя.

Как же все-таки объяснить слова Бунина о «приглашениях на родину»? Все обстоит, видимо, просто. Материальное существование писателя и его жены в последние годы войны почти полностью зависело от заокеанских «благодетелей». И у Бунина наверняка имелись основания полагать: те, кто помогает ему в США, крайне заинтересованы в том, чтобы нобелевский лауреат оставался в рядах эмиграции.

Разве мы теперь вправе судить старого и ослабшего от голода человека за то, что таким образом он стимулировал эту помощь?

ГЛАВА XII

30 апреля 1945 года, выбрасывая в черноту южной весенней ночи огненные снопы искр, паровоз уносил в Париж облезлые вагоны третьего класса. В одном из полутемных купе, прижавшись друг к другу, тихо дремали супруги Бунины.

Накануне отъезда Иван Алексеевич провел в Ницце прощальный литературный вечер. В небольшом зале собрались только русские: обветшавшие, постаревшие и посеревшие за годы оккупации. Вспоминали тех, кто погиб от рук фашистов, от голода или старости: Мать Марию, Бальмонта, театрального критика Плещеева (сына известного поэта), писателя и крупного библиофила Михаила Осоргина, художника Константина Коровина, Павла Милюкова...

Но вот стремительно, неожиданно молодой летящей походкой на эстраду взошел Бунин. Протянув к публике руку с красивой крепкой кистью, он произнес чистым и сильным голосом:

Твой труд переживет тебя, поэт,
Переживут творца его творенья,
Живого не утратит выраженья
С тебя когда-то писанный портрет —
И станешь ты, незримый, бестелесный,
Мечтою, мыслью, сказкою чудесной.

Поэт сделал паузу. Он жадно вглядывался в лица, на которых время и жизнь оставили печать. Он знал многих — его знали все. Он был для них словно сияние ушедшего, светлого дня, который уже никогда не повторится и имя которому — молодость и Россия.

Бродя по залам чистым и пустым,
Спокойно озаренным бледным светом,
Твой дальний друг перед твоим портретом
Замедлит шаг, забудется — томим
Какой-то сладкой завистью, тоскою
О давней жизни, прожитой тобою...

Он закончил. Аплодисментов не было. В зале люди плакали, и уже никто своих слез не стыдился.

Гром рукоплесканий раздался позже, когда Иван Алексеевич прочитал «Святителя», свой давний рассказ, написанный еще в двадцать четвертом году: «Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души...»

* * *

Все это, через дрему, припоминал Иван Алексеевич. «В который раз переламывается моя жизнь!» — подумалось ему. И еще вспомнил чьи-то слова: «Настанет день, когда сердце должно или окаменеть, или разбиться!» Да, это про меня».

О чем бы ни думал, чем бы ни занимался, одна подспудная мысль не давала ему покоя. И началось это давно — Бунин тревожился за свои архивные бумаги, оставшиеся в Париже.

Когда летом сорокового года фашисты вошли в Париж, они при содействии предателей, возглавляемых неким Жеребковым, много ценных материалов похитили из Тургеневской библиотеки (основанной революционером Г. Лопатиным) и, выполняя план одного из гитлеровских главарей Розенберга, отправили их в Германию. Не тронули лишь то, что им показалось малоценным.

Среди счастливо уцелевшего были девять чемоданов Бунина, которые он, покидая Париж, оставил на сохранение в библиотеке. В начале августа сорок первого года оккупационные власти приказали очистить помещение Тургеневки.

Старая библиотекарша была озадачена: что делать с бумагами Бунина? Где-то она отыскала его адрес и написала в Грас: «Архив в опасности, принимайте меры!»

Иван Алексеевич всполошился: в этих чемоданах были его дневники, рукописи, корректура книг, большое количество писем к нему выдающихся деятелей. Но как можно что-то спасать в Париже, находясь за тридевять земель от него?

«Борис, сделай что-нибудь!» — писал Бунин Зайцеву. Но и тот жил вне Парижа и помочь был не в силах. Тогда Иван Алексеевич написал Нине Берберовой 23 сентября 1941 года: «...Если возможно, я бы предпочел, чтобы мои чемоданы (количеством девять) были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае, сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с вашими. От всего сердца благодарю вас за ваши заботы, Нина...»

Чуть раньше Зайцев просил в письме Берберовой: «...Получил из Парижа известие, что остаткам Тургеневской библиотеки предложено до октября очистить помещение. Там кое-что осталось — для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь «хоть бы сарая». Меня полки, шкафы и даже 300 (их) случайных книг мало интересуют... Но 9 Ивановых чемоданов? Там рукописи его, письма!

Мы с Верой (женой Зайцева. — *В. Л.*) надумали так: нельзя ли эти 9 чемоданов поместить у вас? Будь у меня в Париже сколько нибудь подходящее помещение, разумеется, взял бы сам. Но у нас даже подвал завален всякой рухлядью — и притом сырой, там чуть не погибли мои некоторые книги и письма.

Знаю, что у вас тоже загружено все чрезвычайно, но все-таки — может быть и найдется угол? (Но как с передвижением?) Сколько стоило бы доставить? Всё вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное... Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет...»

Все понимали важность бунинского архива, но он... оставался лежать на рю Валь-де-Грас, в Тургеневской библиотеке, месте крайне ненадежном. Наконец, покинув сельские пределы, в Париж вернулся Зайцев. Он договорился с Матерью Марией, что бунинские чемоданы сложат в чулане на улице Лурмель, где находились русское общежитие и столовая. Так и было сделано.

Казалось, судьба теперь может угомониться, а архив спокойно дождаться счастливых времен — изгнания немцев и возвращения своего законного владельца. Не тут-то было! Казалось, злой рок тенью сопровождает архив писателя. Однажды, когда солнце еще не успело подняться над крышами Парижа и обитатели русского общежития на улице Лурмель тихо вкушали сон в своих постелях, к общежитию подъехало несколько грузовиков. Они были набиты немецкими солдатами и бравыми помощниками бывшего танцора, а теперь начальника «управления делами русской эмиграции» с улицы Гальера, внука одного из генерал-адъютантов Николая II, уже знакомого нам Жеребкова.

Словно на штурм неприступных позиций, прибывшие вояки ринулись в атаку. Каждый безупречно знал свой маневр: одни оцепляли здание, другие, ворвавшись в помещение, грубо подымали еще не стряхнувших с себя сон людей, в основном престарелых и больных. Они обыскивали их, распарывали матрасы и подушки, простукивали стены, подымали пол — нет ли тайников? Бумаги, книги вываливались на пол, их топтали сапогами. Борцы за «новую Европу» действовали четко и жестоко. Во дворе клубился столб дыма — жгли литературу на русском языке. Арестованных русских (среди них была и Мать Мария, больше уже не увидавшая свободы) швыряли в грузовики.

Подгоняя штыком, вывели в одном нижнем белье и затолкнули в автомобиль профессора-историка Дмитрия Михайловича Одинца. Он занимал пост председателя правления Тургеневской библиотеки. Как никто другой, Одинец понимал исключительное значение для русской и мировой культуры тех редчайших книг и рукописей, которые фашисты бандитски вывозили в «фатерланд».

Еще до начала Великой Отечественной войны, один из главарей фашистской Германии Альфред Розенберг, с 1923 года главный редактор ее центрального органа «Фёлькишер беобахтер» и крупнейший идеолог «нового порядка», разработал план тотального разграбления культурных ценностей оккупированных стран. План осуществлялся с педантичной неукоснительностью.

И вот Дмитрий Михайлович попытался с отчаянной решимостью воспрепятствовать этому вандализму XX столетия. Он начал ходить по разным «инстанциям», требуя возвращения украденных ценностей. Все, разумеется, было тщетно.

Тогда он написал письмо протеста... Адольфу Гитлеру. И вот, как горько шутили в Париже, «ответ пришел ночью, в сапогах» *.

...Когда солнечным полднем первого мая 1945 года Иван Алексеевич после шестилетнего перерыва вновь оказался на берегах Сены, одним из самых неотложных дел стало посещение общежития на рю Лурмель. К своей неописуемой радости и удивлению, он все девять чемоданов нашел в том чулане, куда когда-то сложили их Борис Зайцев и Мать Мария. Судьба на этот раз пощадила его архив...

* * *

Советский флаг реял над рейхстагом. Новая Россия, которую прежде Бунин знал лишь понаслышке, продемонстрировала всему миру свое могущество. Закончились тревоги старого писателя за судьбу Родины, одновременно с этим закончились его дневниковые записи. Лишь Вера Николаевна, совсем постаревшая и слабая, но как настоящая русская женщина без ропота переносившая все кошмары жизни и нелегкий порой характер великого своего мужа, иногда писала в дневник.

---

* Д. М. Одинец был заключен в концлагерь. После войны принял советское гражданство, вернулся на родину и жил в Казани.

Вот одна из таких записей: «14/15 августа (1945 года). *Париж.* Больше $3^1/_2$ месяцев не открывала эту тетрадь — не могла. Сегодня Успение у католиков. А днем окончена война с Японией...

Почти у всех друзей траур, у некоторых трагический...»

В послевоенном Париже, среди русской части его обитателей, вопреки тяжести пережитого, наблюдался душевный подъем. Многим казалось, что теперь, после победы, в России должны произойти какие-то перемены, которые позволят им вернуться домой.

И предчувствия не обманули. 19 июня 1946 года посол СССР во Франции А. Е. Богомолов направил письмо редактору недавно возникшей в Париже эмигрантской газеты «Русские новости» (взамен милюковских «Последних новостей») письмо.

В следующем же, экстренном номере газеты было опубликовано сообщение, которое давно ожидалось, но которое все равно вызвало всплеск необычных эмоций. «Русские новости» сообщали: «Правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и таким образом стать полноправным сыном своей Советской Родины... В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом, который на полях сражений с гитлеровской Германией отстаивал свою родную землю».

Во всех странах, где были русские эмигранты, многие из них пожелали перейти в советское гражданство. Лишь в одной Франции советское гражданство получили одиннадцать тысяч человек.

В середине июня сорок шестого года на рю Жак Оффенбах пришел корреспондент «Русских новостей». Его интересовало: «Как Бунин относится к Указу Советского правительства?» 28 июня в газете появился отчет об этом интервью. Иван Алексеевич, в частности, ответил: «Позвольте быть кратким, тем более что двух мнений об этом акте быть не может. Конечно, это очень значительное событие в жизни русской эмиграции — и не только во Франции, но и в Югославии и Болгарии. Надо полагать, что эта великодушная мера Советского правительства распространяется и на эмигрантов, проживающих и в других странах».

21 июля к вместительному залу Мютюалите собирались толпы русских. Здесь проводилось собрание, посвященное разъяснению Указа. Выступал посол Богомолов. Затем на сцену поднялся Константин Симонов. Зал замер, когда он начал читать «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Несмотря на некоторые дефекты дикции, Симонов читал здорово, до глубины души растрогав соотечественников. Его долго не отпускали со сцены, просили читать еще...

Когда вечер закончился, Симонову сказали, что в первом ряду сидит Бунин. Он подошел к Ивану Алексеевичу, их познакомили. Как и с Надеждой Александровной Тэффи, находившейся рядом с Буниным.

Спустя много лет Симонов вспоминал: «Бунин был еще крепкий, худощавый, совершенно седой, чуть-чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы, седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движений, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого.

Он был как-то сдержанно-приветлив. И очень сдержан, и очень приветлив в одно и то же время.

Он поблагодарил меня за чтение стихов, сказал какие-то хорошие слова, спросил, долго ли еще пробуду в Париже, и заметил, что хорошо бы еще раз повидаться. Я, в свою очередь, сказал, что был бы очень рад вновь увидеть его. На этом мы распрощались.

...Когда я приехал в Париж, я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям.

Я относился к Бунину как к очень хорошему писателю и как к человеку, занявшему во время войны достойную патриотическую позицию. Я уважал его за это, и это уважение зачеркивало для меня некоторые неприемлемые страницы в его прошлом. Словом, мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой» *.

Посол Богомолов, который, разумеется, был информирован о предполагающихся встречах Симонова с Буниным, рекомендовал Константину Михайловичу «как-то душевно подтолкнуть» Ивана Алексеевича «к мыслям о возможности возвращения».

---

* Симонов К. М. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1970, т. VI, с. 740—741.

И началось вполне дружеское общение — встреч, по утверждению Симонова, было шесть или семь. Богатый русский инженер и талантливый писатель (занявшийся литературным трудом, правда, на склоне лет своих) Борис Пантелеймонов для начала устроил встречу у себя дома (об этом вспоминает присутствовавший на ней Г. Адамович).

Бунин держался вначале несколько чопорно. С изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающей старорежимной вежливостью, он проговорил, едва все уселись за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество... Благодарю вас, Константин Михайлович, отстал я совсем от жизни, не скажете ли, вот был такой писатель, талантливый, известный — Пильняк. Отчего о нем давно не слышно? Куда он делся? Или другой — тоже известный, Бабель?

Бунин словно «закусил удила», что порой с ним случалось и без всякой видимой причины. Он начал перебирать имена людей, трагическая судьба которых была хорошо известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову, и лишь иногда по-военному коротко отвечая:

— Не могу знать.

Пантелеймонов был удручен таким началом события, которое было задумано как настоящий праздник — имя Симонова было в Париже овеяно ореолом славы, и это была несомненная честь — принимать его у себя дома. Адамович тщательно пережевывал колбасу. Вера Николаевна едва не плакала от досады.

Но всех выручила умница Тэффи, весьма, кстати, понравившаяся своим легким и добрым характером гостю из Москвы. Она рассказала какую-то уморительную историю, все расхохотались — и больше всех Иван Алексеевич.

Он поцеловал Надежде Александровне руку и тут же, с ее позволения рассказал, как однажды он закончил свое письмо к ней игривой фразой: «Целую ваши ручки и штучки-дрючки!»

— Дня через два получаю от Надежды Александровны ответное послание: «Если ручки хоть редко, но целуют мне, то штучки-дрючки уже лет пятьдесят никто не целовал!» Каково?

Все вновь развеселились, и вечер пошел как по маслу, тем более что жена Пантелеймонова принесла хорошую шведскую водку. Надежда Александровна взяла в

руки гитару, и за столом воцарился доброжелательный дух.

Бунин, сидевший рядом с Симоновым, поднялся с рюмкой в руке:

— По старой русской традиции первый тост мы должны произнести в честь гостя. Но простит мне дорогой Константин Михайлович, коли этот тост прозвучит в честь народа, к которому все мы принадлежим. Выпьем за великий русский народ — народ-победитель! И еще — за полководческий талант Сталина! *

...Они явно понравились друг другу и, встречаясь, каждый раз договаривались о новом свидании.

— Давайте завтра пообедаем! — предложил Симонов.

— Где? У нас разные рестораны — по финансовым возможностям.

У Симонова только что вышло во Франции две книги, и поэтому он мог быть щедрым:

— Там, где лучше кормят! — не без бравады провозгласил он.

Иван Алексеевич удивленно поднял брови:

— Однако!.. Тогда, быть может, в «Лаперузе»?

Через два дня согласно договоренности они сидели в сиявшем зеркалами, хрустальными люстрами и прочей роскошью «Лаперузе», расположившемся на набережной Сены. Обедали не спеша, смакуя дорогое вино и разговаривая с глазу на глаз (именно так они оба хотели) с полной откровенностью.

«Не знаю, то ли Бунин почувствовал, что мне хочется подтолкнуть его к возвращению на родину, то ли сам он тогда неотступно думал об этом, во всяком случае, где-то посреди обеда, который начался малосущественным разговором, Бунин вдруг заговорил о своем возвраще-

---

* Будучи смертельно больным, в феврале — апреле 1979 года, К. М. Симонов продиктовал воспоминания — «Глазами человека моего поколения. (Размышления о И. В. Сталине)». Этот материал появился в печати лишь весной 1988 года. В нем находим следующие строки: «В свое время я довольно подробно писал... о встречах с Буниным, с Тэффи и Адамовичем. И сейчас, заново вспоминая об этих встречах в связи с той темой, о которой я пишу, перебирая в памяти тогдашние разговоры, я не могу вспомнить ничего не только неуважительного, но сколько-нибудь двусмысленного, сказанного тогда такими людьми, как Бунин, в адрес Сталина... В сорок шестом году Сталин был для него после победы над немцами национальным героем России, отстоявшим ее от немцев во всей ее единости и неделимости...» (ж-л «Знамя», 1988 г., № 3).

нии, — вспоминал Симонов. — Допускаю, что он ждал, что я сам заговорю на эту тему, и хотел предупредить меня.

Заговорив о возвращении, он сказал, что, конечно, очень хочется поехать...»

Но тут же добавил:

— Но не поздно ли? Я уже стар, из близких друзей остался один Телешов, да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте... А заводить новых друзей в моем возрасте поздно. Может, и впрямь мне лучше любить вас, Россию — издали?.. А брать советский паспорт и не ехать — это не по мне. Ведь дело не в документах, а в моих чувствах...

— Нет, я не поеду, не поеду на старости лет... это было бы глупо с моей стороны... Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто ею нынче правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступаю сейчас, здесь ли я останусь или уеду.

«Вечером приезжал Симонов, приглашать на завтра на его вечер ...Понравился своей искренностью, почти детскостью, — записала в дневник Вера Николаевна 11 августа. — Он уже в Верховном Совете, выбран от Смоленщины. Симоновское благополучие меня пугает. Самое большее, станет хорошим беллетристом. Он неверующий. ...Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях и старших, и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова — минимума для нормальной жизни, у Яна — возможности поехать, полечить бронхит».

* * *

На следующий день — 12 августа, был «большой прием» в доме Бунина. Началось с того, что Симонов в очередной раз пригласил Ивана Алексеевича в ресторан.

— Нет, довольно, — решительно заявил тот. — Наоборот, пора мне вас пригласить к себе. Увы, наш быт теперь таков, что и гостя принять нет возможности.

Симонов попросил:

— А давайте, Иван Алексеевич, все сделаем на коллективных началах: ваша территория, мой провиант...

— Пожалуй, — охотно согласился Бунин.

В те дни в Париже проходила конференция четырех

министров союзных держав. Между Парижем и Москвой ежедневно курсировали самолеты. Симонов, расставшись с Буниным, сразу поехал в гостиницу, к советским летчикам, объяснил им суть дела и дал записку в Москву. Они как раз летели в Москву, Бунина читали и рады были помочь. Передали записку домашним Константина Михайловича, те в «Елисеевском» магазине (он был тогда коммерческим, торговал по высоким ценам, но зато без карточек) накупили «сугубо отечественной» снеди — селедку, черный хлеб, калачей, любительской колбасы и прочего. Все это на второй день было доставлено в Париж, а затем — домой Бунину.

Ивана Алексеевича все это растрогало. Он ел колбасу и приговаривал:

— Да, большевистская колбаска хороша!

Гостями Бунина были Тэффи и понравившийся Симонову Адамович, «один из самых умных литературных людей в эмиграции», как он писал о нем. Надежда Александровна вновь пела под гитару, а Симонов читал стихи. Очень душевной была обстановка, вечер прошел как нельзя лучше.

«Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина, — писал Симонов. — Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы.

Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядывался на Алданова, боялся его суждений и, уж во всяком случае, считался с ним, с тревогой думая о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов — это можно было заранее сказать — отнесется к идее возвращения Бунина на родину резко отрицательно.

Что остается добавить?

Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его пугала и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая-то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выяснить. Бунин огорчался, что его не так поняли, и

очень хотел, чтобы его издали...» * — вспоминал Симонов.

— Эх, если бы можно было просто съездить в Москву, — вздыхал Иван Алексеевич. — Поехать посмотреть, да ведь не пустят так вот, чтобы просто поехать.

* * *

Воспоминания Симонова — одни из лучших в обширной мемуаристике о Бунине. Ему удалось довольно точно схватить сущность непростого характера, разобраться в сложнейшем клубке событий, которые развернулись вокруг Ивана Алексеевича.

Но, истины ради, надо отметить: не все точно в воспоминаниях Константина Михайловича. По его собственному признанию, записи он сделал «лишь много лет спустя после встреч». Это, видимо, расфокусировало изображение некоторых эпизодов.

Так, не было «забрасывания удочек»: не станет ли Бунин сотрудничать с немцами? Никто не приглашал его участвовать в каких-то «покровительствуемых немцами изданиях». Слишком жил он на отшибе, чтобы привлечь к себе внимание. Да и достаточно хорошо были известны его антипатии к гитлеризму (о чем, как мы помним, он заявлял вслух), чтобы рассчитывать на его сотрудничество. Нет, «приглашений» не было. Об этом, кстати, говорил и Бахрах — свидетель достоверный.

Далее: Симонов утверждает, что все годы войны Бунин «жил безвыездно на юге, на берегу моря, в доме знакомого врача», у которого в подвале был спирт и с которым они отмечали московские салюты.

Автор мемуаров здесь тоже напутал. Читатель уже знает, что владелицей виллы «Жаннет» была англичанка, вдова пастора. И со спиртом тоже было плохо. К огорчению писателя, его в подвале не водилось. Но салюты он действительно отмечал вместе с Бахрахом — маленькой рюмкой крепкого напитка со звездочками (если он был в доме) или стаканом виноградного вина, которое во Франции стоит недорого.

Да и Грас стоит не на берегу моря...

---

* История этого несостоявшегося издания достаточно хорошо известна. В Москве уже подготовили к печати однотомник произведений Бунина объемом 25 печатных листов, но он не увидал свет. Об этом см. «Литературное наследство», т. 84, кн. 1, с. 625—632; кн. 2, с. 516—517.

Еще один эпизод стал легендой. Симонов рассказал, как Бунин однажды увидел шедшую ему навстречу по одной из улочек Парижа Гиппиус. «Еще издалека завидев ее, он перешел на другую сторону, не желая с ней встречаться. Но она, увидев его, тоже перешла, и они столкнулись нос к носу. Мережковский незадолго перед тем умер, и Гиппиус стала говорить Бунину, что «вот все теперь от нас (?) шарахаются! И от Дмитрия Сергеевича отворачивались перед его смертью, и меня не замечают, проходят мимо, вот и вы перешли на другую сторону, очевидно, не хотели здороваться...».

Здесь все — вымысел. Первый раз после возвращения в Париж Бунин увидал Гиппиус 9 сентября сорок пятого года — в гробу, с маленьким лицом, на котором благостно застыло вечное успокоение, с бумажным венчиком на лбу, с тонкой церковной свечой между сухих пальцев, в черном платье с мелким стеклярусом. Мережковский умер задолго до этого дня — 9 декабря 1941 года.

...Напутал Симонов с датой встречи Бунина с Толстым — она произошла в 1936-м, а не в тридцать пятом. Впрочем, и сама встреча передана «весьма приблизительно».

Но в симоновских воспоминаниях была и существенная ошибка (вполне, впрочем, извинимая), которая стоит того, чтобы ее вынесли за скобки: вовсе не Алданов был главной силой, препятствовавшей возвращению Бунина на родину. За его спиной стояли куда более могущественные силы, о которых, очень может быть, и сам Алданов даже не подозревал...

ГЛАВА XIII

Итак, Симонов оставил Бунина в тяжелых раздумьях: возвращаться в Россию или... Порой ему казалось, что у себя на родине он не найдет места, достойного его таланта, потеряет творческую самостоятельность. Тревогу этих размышлений лишь усугубила та резкая критика, которой в августе сорок шестого года подверглись Ахматова и Зощенко в печально известном ждановском постановлении.

Своими сомнениями он поделился с Марией Самойловной Цетлин, прилетевшей осенью из США в Париж — «навестить друзей».

— Вы, дорогой Иван Алексеевич, уже двадцать пять лет поете мне про свою тоску о России, — раздраженно

ответила она. — Давно надо было уехать. Не уверена, что вы получили бы дворец у Никитских ворот, как ваш друг Пешков, но в Сибирь угодили бы наверняка. Или какие-нибудь «вредители» насыпали вам порошок в кашку. Вредителей, понятно, разоблачили бы, а вас с почестями похоронили на Новодевичьем. — И она в сердцах повернулась к Вере Николаевне, которая смотрела на нее с обожанием: только что гостья преподнесла ей дорогие подарки — несколько платьев, осенние туфли, отличное нижнее белье.

Впрочем, в отношениях с Иваном Алексеевичем трещины у нее не возникло. Она очень о нем заботилась, предложила организовать подписку денег в его пользу (врачи настаивали на поездке Бунина на юг), но он отказался: «Стыдно, сейчас все русские в Париже живут бедно!» Иногда с шутливой укоризной спрашивала:

— Говорят, вы много шампанского стали пить? Осторожней надо, этот напиток для почек не очень хорош. Ну, а Симонов как — не записал вас в большевики? Уж вы с ним прямо-таки друзьями стали.

Она часто навещала Буниных. Каждый раз приносила подарки — американскую рубашку с пуговицами на воротничке («батен-даун»), сигареты «Кэмэл», мягкие ботинки без шнурков («мокасины»), несколько отличных галстуков. Расстались они в конце ноября — друзьями. Вера Николаевна даже всплакнула, а Мария Самойловна неожиданно блеснула эрудицией:

— Помните, Иван Алексеевич, — говорила она, ласково глядя Бунину в лицо. — Толстой сказал: «В случаях сомнения — воздерживайся!» Послушайте этого мудрого человека. Воздержитесь от необдуманных шагов. А ваши друзья в США вас не забудут. Если не хотите ехать к нам, то мы станем оказывать вам помощь здесь. Не дадим вам пропасть!

Бунин растрогался, они долго обнимались, а шофер во второй раз пришел в квартиру — Цетлин куда-то опаздывала.

Они виделись последний раз в жизни. Через год они станут врагами — до конца своих дней.

* * *

В Париже только и было разговору: «сам Бунин» уезжает в СССР!» Подлил масла в огонь и «хорошо информированный» Николай Рощин. Перед отъездом на роди-

ну он дал интервью — делился планами, говорил о Бунине...

Впрочем, вот что записала в дневник Вера Николаевна 15 декабря: «Капитан дал интервью, где сказал, что Ян едет в СССР, как и Волконские и другие представители аристократии. Почему он все врет? Трудно понять!»

Далее она писала, что «Леня третью ночь сряду дежурит» — это о Зурове, который нанялся сторожить по ночам какой-то гараж.

И далее, самое важное: «Мария Самойловна улетела... Она часто бывала у нас, много подарила мне платьев и других вещей. Беспокоилась о Яне. Хотела собрать ему (денег. — *В. Л.*) на поездку на юг. — *Она очень заряжена. В ней сидит политик*».

Две последние фразы, набранные нами курсивом, вновь говорят о проницательности Веры Николаевны (вспомним историю с В. Д. Набоковым!). «Что сокрыто от мудрецов, то открыто детям». В справедливости этой библейской истины мы скоро убедимся.

* * *

В конце декабря Бунин устроил «завтрак» по случаю выхода «Темных аллей». Собрались друзья — Борис Зайцев с женою Верой, Александр Бенуа с дочерью, Надежда Тэффи, Сергей Маковский. Иван Алексеевич чувствовал, что заболевает. Он отсел подальше от окна, из которого дуло — на улице в тот день было студено.

Ночью его начал трепать озноб, подскочила температура. Иван Алексеевич тяжело дышал, сердце работало с перебоями. Началась болезнь, которую врач определил как «сильнейший грипп». Порой он задыхался изнуряющим кашлем, вызывавшим горловое кровотечение...

Бунин проболел до весны. Вера Николаевна с трудом, как милостыню, выпросила в долг несколько сотен франков у знакомых — но этого было мало, чтобы последовать предписанию врачей и отправить Ивана Алексеевича на юг, к морю.

Но выручил денежный перевод из США — его организовала все та же Цетлин. Теперь Иван Алексеевич, шатаясь от слабости, поддерживаемый Верой Николаевной, отправлялся в Жуан-ле-Пен, в «Русский дом» — это что-то вроде пансионата. Но его не обрадовало море, не принесло радость теплое солнце — жена осталась дома. На ее

поездку не хватило денег. Иван Алексеевич на сей раз тяжело переносил одиночество.

Так, толком не окрепнув, среди жаркого лета он вернулся в Париж. Город был пустынным — парижане разъехались по курортам. Бунин поневоле оставался на рю Оффенбах. 20 августа Вера Николаевна писала другу семьи художнику Татьяне Муравьевой-Логиновой: «Мне было тяжело, что не удалось Яна устроить куда-нибудь в зелень. Где хорошо, так «капитала недостает», а где по карману, там убожество, а убожества он, как вы знаете, не переносит, лучше нищета! От всего у него ослабело сердце, так что доктор Вербов назначил ему «сердечное лечение» и теперь он чувствует себя бодрее. Выходит из дому мало, но много возится со своим архивом.

Много читает, но еще не пишет ничего, кроме деловых писем.

А я стала продолжать свои «Беседы с памятью». Еще очень трудно: после длинного перерыва найти верный тон, нужно или сохранить стиль уже написанного, или же начать писать по-новому; все это решить, когда пот льется иной раз даже и у меня по лицу, трудно. Много читаю, кончаю целую серию книг, изданных в России «Academia», 1929 г., как разные воспоминания. Сейчас кончаю Каратыгина, прочла об Аполлоне Григорьеве, о Чехове, о Салонах в первой половине XIX века. Жили интереснее нас, но меньше было исторических событий, когда же они бывали, то теперь кажутся пустяками рядом с нашими, даже нашествие Наполеона... Сравните жизнь, например, в Петербурге с жизнью в Ленинграде во время «Отечественной войны».

Вера Николаевна, не будучи блестящим стилистом, обладала все же собственным литературным голосом. Самое важное, что она сделает, — это книга «Жизнь Бунина. 1870—1906», которая вышла в Париже в 1958 году тиражом 500 экземпляров. Можно лишь сожалеть, что все свои силы она отдала тому периоду жизни Ивана Алексеевича, который знала лишь понаслышке. Но упоминаемые «Беседы с памятью» должны были охватить более поздний период. Увы, смерть Веры Николаевны положит предел этой столь интересной работе — она дошла в ней только до событий 1910 года. (У нас она опубликована с предисловием А. К. Бабореко в 84-м томе «Литературного наследства».)

Теперь о круге чтения Веры Николаевны. Очень возможно, что он близок к интересам самого Бунина, если

вспомнить о его громадном духовном влиянии на жену. Вера Николаевна упоминает о «Записках» блестящего актера первой половины XIX столетия П. А. Каратыгина, «Воспоминания» известного критика середины прошлого столетия Аполлона Григорьева, сборник «Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века» и другие.

Вернемся, однако, на улицу Жака Оффенбаха...

Жил Бунин теперь тихо, в посольство на рю де-Гренель не ездил, интервью для газет, обсуждавших выезжавших в СССР, не давал. Нездоровье лишило его всех радостей в жизни. Поездка на родину, пусть даже туристическая, при всей своей заманчивости, казалась фантазией.

Все интересы теперь вертелись вокруг того, чем заплатить доктору, на что купить лекарства, как не умереть с голоду. Вся его жизнь поддерживалась, как и обещала Цетлин, «друзьями из США». Вот одно из бунинских писем тех лет. Оно адресовано Марку Алданову и сразу показывает круг людей, которые проявляли «заботу» о нобелевском лауреате:

«Милый, дорогой Марк Александрович, спешу вам ответить, горячо поблагодарить вас за ваши постоянные заботы обо мне и попросить передать Соломону Самойловичу Атрану, что я чрезвычайно тронут им и шлю ему мой сердечный поклон. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он будет в Париже. Ваше сообщение (о сборе денег в США для Бунина. — *В. Л.*) чрезвычайно обрадовало меня, хотя эта радость смешана и с большой грустью, с боязнью, что, может быть, и не осуществится доброе намерение Соломона Самойловича. Ведь вы говорите, что могут быть какие-то «влияния» на него. Что ж — очевидно, на свете все может быть, век живи — век учись!.. Моя история, т. е. то, что некоторые в чем-то обвиняют меня... эта история похожа на самый нелепый, дикий сон... Что до моего материального положения, то вы его знаете лучше Столкинда. Жить чуть не на краю могилы и, сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унизительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымаливание их, не будет куска хлеба — это, знаете, нечто замечательное! Вы говорите о Цвибаке: у него моих капиталов осталось теперь всего 150 долларов, — на днях пришлось взять 200, — и никаких «сборов» он больше уже чуть не год не делает,

да, конечно, и не будет делать — есть ведь всего 5—6 человек, которые кое-что дали ему для меня в прошлом году, и не думаю, что будет ему приятно снова клянчить на мою подлую, нищую старость...»

Так, кто же они — «благодетели» Бунина?

С. С. Атран — чулочный фабрикант. И. Я. Столкинд еще в дореволюционные времена на Пятницкой улице в Москве, в доме № 74 владел фабрикой «механического производства обуви» со 125 рабочими. Наследники Столкинда и по сей день занимаются делами благотворительности.

Что касается Цвибака, то, перебравшись в США, он тесно сотрудничал с антисоветскими организациями, многие годы был главным редактором просионистской газеты «Новое русское слово».

Подобная благотворительность — это паутина, которая налипает на жертву, лишая ее самостоятельности, подчиняя своей воле. Вот почему Бунину пришлось говорить об «истории» — жуткой и поучительной...

* * *

«Все-таки самое страшное на земле — человек, его душа.

И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, не пойманной, не разгаданной», — это из «Страшного рассказа», который Бунин написал в 1926 году.

Когда он окончательно смирился с тем, что остаток дней — совсем короткий, но полный печалей, придется оканчивать на чужбине; когда он перестал бывать в советском посольстве — а в свое время, мы помним это, он захаживал сюда и, как теперь удалось выяснить, отправил через посла в Москву несколько писем; когда политические страсти, кипевшие вокруг него и связанные с его намерением вернуться на родину, утихли, то, словно внезапный выстрел в ночи, взбудоражила покой писателя публикация в выходившей в США газете «Новое русское слово».

Бунин еще не знал, что это лишь начало травли. Заокеанские специалисты по организации интриг в лице некоего Иосифа Окулича обвинили старого писателя в том, что он... «перекинулся к большевикам». И пошла-поехала гулять по полосам буржуазных газет сногсшибательная сенсация: нобелевский лауреат, оказывается, «успел

съездить в СССР и вернуться обратно». Более того: писатель-де способствовал в выдаче советским властям белого атамана П. Н. Краснова и его казни по приговору Верховного суда СССР. (Напомним, что под суд попали и другие небезызвестные вояки, сотрудничавшие, как и Краснов, с фашистами и приговоренные к высшей мере наказания — бывший атаман Семенов, генерал Шкуро и другие. Операцию по захвату провела группа чекистов под командой капитана М. Соловьева в местечке Юденбург (Австрия). Содействие оказали соответствующие английские службы.)

Бунин буквально задохнулся от гнева, прочитав столь гнусный поклеп. Он еще не понимал, что это точно рассчитанная по времени месть — она последовала лишь тогда, когда писатель оказался политически изолированным, когда его никто не мог ни прикрыть, ни защитить.

Вполне наивно Иван Алексеевич попытался объяснить «ошибку публикаторов»: он отправил в редакцию «Нового русского слова» «открытое письмо», в котором, смирив клокотавшее в душе негодование, спокойно объяснил абсурдность подобных обвинений. Копии направил Цвибаку и Вейнбауму, принимая их за своих «друзей», которые могут и должны вступиться за его попранную честь.

Те быстро откликнулись ответными письмами: «Зачем давать какие-то опровержения? Если молчать, то дело скорее забудется!»

Тем временем клевета быстро расходилась по белу свету. Дошла она и до Парижа. Многие были рады ей верить — ничтожные душонки всегда готовы попрать честь другого. Бунин стал бояться выходить из дома. Он уже несколько раз слыхал за своей спиной: «Вон Бунин, который большевикам Краснова выдал! Чекист, оказывается...»

Чем наглее ложь, тем крепче ей верят.

Цвибак, Вейнбаум и К°, как шахматисты, точно рассчитали партию на много ходов вперед. Отказавшись печатать возражения против клеветы самого пострадавшего, они опубликовали «Письмо в защиту Бунина» Глеба Струве. Тот умиротворяюще вещал: «Милостивый государь, господин редактор! В № Вашей газеты от 19 сего месяца (июля 1947. — *В. Л.*) напечатана статья уважаемого И. К. Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке И. А. Бунина после войны в СССР и возвращении его оттуда, почему-то при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного Москве американцами и рас-

стрелянного большевиками генерала П. Н. Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно прогерманской позиции. Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью И. К. Окулича: И. А. Бунин в Советскую Россию не ездил и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки «соблазнить» его поехать туда и делались. Можно так или иначе морально-политически оценивать некоторые действия И. А. Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение в поступке, которого он не совершал».

«Каково! — писал Цвибаку возмущенный Бунин. — Ясно, что этот «уважаемый» Окулич приписал мне «поступок» предательства мною Краснова на расстрел — какой же иначе «поступок»? И каков Глеб! Недурно «защитил» меня, коварная б....., защитил столь *нежно* по отношению к Окуличу и столь *двусмысленно* по отношению ко мне».

Но «шахматная партия» продолжалась. В парижской «Русской мысли» появился очередной разнос Бунину — некий С. В. Яблоновский обвинял его в «большевизанстве».

Эта статейка была перепечатана в США — и опять имела большой резонанс.

— Что эти типы хотят от меня? — вопрошал Иван Алексеевич. Но его единственный слушатель — жена, на этот вопрос ответить не умела. — Ведь это настоящая травля! Мстят за посещение посольства на рю де-Гренель, за встречи с Симоновым, за симпатию, наконец, к Советской России...

Почти без надежды быть услышанным, написал просьбу Цвибаку: напечатать его, Бунина, ответ на статью Яблоновского. Хотя уже понял: в США публикуют какую угодно клевету против него, но не печатают ни строки возражения или даже оправдания.

Но Цвибак и те, кто находился за его спиной, держали наготове надежный кляп: «Если будешь жаловаться — прекратится наша помощь, помрешь с голоду».

Сам Цвибак, с неприсущей ему простодушностью, проговорился в своих мемуарах: «Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать, — прежде всего потому, что весь тон его ответа был несдержанный и на читателя мог произвести тяжелое (?) впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят

систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ, и мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит (?!) и в конечном счете повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении».

Одним словом, бьют и плакать не велят!

Бунин резонно возражал: «...Вы думаете, будто *мое разоблачение* этих клеветников может мне повредить? Мне кажется, что *мое молчание* скорее может мне повредить. Вы говорите, что «ведь в Америке не знают этого дела «в точности»; если так, так вот как раз мое «письмо в редакцию» и излагает это дело в точности. Письмо мое «резко»? Да ведь я давно заслужил право писать посвоему...

И если это даже «повредит сбору», так что же мне делать? Это будет совершенно дико, нелепо, — но пусть будет так, я не могу ради денег сносить клеветы молча. И вот еще что: я написал вам о моей нищей старости в минуту горячего отчаяния и теперь очень раскаиваюсь — тем более, что особенно вижу по нынешнему письму ко мне Марка Александровича, что во всем Нью-Йорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. *И говорю вам истинно от всего сердца: не просите ради Бога ничего ни у кого больше...»*

«Коготок увяз, всей птичке пропасть!» — не раз, наверное, вспомнил эту пословицу старый писатель. Его били хладнокровно, рассчитывая каждый удар — в самые болевые точки.

Но еще более страшное — по коварству и неожиданности, его подстерегало впереди.

ГЛАВА XIV

Бунин был готов поссориться со всем миром, но он свято верил в дружбу с Цетлин: пока Мария Самойловна жива, ему гарантирована помощь и поддержка. Тем более что она сама множество раз уверяла его в этом. Сколько щедрости, даже нежной заботливости она благодетельно проявила к нему в свой последний приезд в Париж.

Конечно, наставления ее было слушать противно — чай, уже сам не маленький мальчик, но ведь это она опять же от доброго сердца — беспокоится и о нем, и о

Вере. Во время войны от нее не было ни слуху ни духу — но время-то какое было! Михаил Осипович, муж ее, хоть был на двенадцать лет моложе его, Бунина, а умер в сорок пятом году — опять же ей тяжелое душевное огорчение.

Не по сердцу пришлись ей добрые отношения Бунина с советским послом Богомоловым, с Симоновым — поворчала и тут же, поди, забыла. Вера по сей день ходит в ее платьях — тех, что подарила осенью сорок шестого, да и туфлям на каучуковой подошве износа не будет — американские! Недавно опять прислала деньги — два месяца почти на них живем. Что без Цетлин делали бы? Подумать страшно!

Вот и теперь, к рождеству сорок седьмого года надо ждать от нее подарок, не забудет же!

И «подарок» пришел, правда совсем не тот, на который рассчитывал Бунин. Впрочем, приведем запись из дневника Веры Николаевны за 2 января 1948 года: «Грустно было встречать этот високосный год. Ян был в большом возбуждении. Его вывело из равновесия, правда, очень неустойчивого, письмо Марьи Самойловны. Письмо бессмысленное, несуразное, трудно понимаемое. Она порывает с нами отношения, так как мы ушли из Союза и чтобы «уменьшить силу удара», она «уходит от нас». Далее она пишет о каком-то «крестном пути» Яна — словом, белиберда ужасная. А вчера мы узнали, что Мария Самойловна циркулярно рассылает свое чудесное послание по всему Нью-Йорку...»

Эта «белиберда» — весьма точное определение, написанная, к тому же с лицемерными завываниями, вроде «любимый брат» — это о Бунине! — появилась на свет совершенно на первый взгляд неожиданно, ибо с осени сорок шестого года Иван Алексеевич жил в политическом отношении вполне «тихо». И никаких «проступков», которые должны или могли вызвать гнев «правоверной эмигрантки» Цетлин, не совершал. Ему было просто не до этого — болезни и слабость его не оставляли.

Но зато явился предлог — выход из Союза писателей и журналистов, учрежденного в Париже еще в 1921 году. (Биографы указывают: «Бунин был первым председателем Союза, затем его сменил П. Н. Милюков». Это ошибка. В своем месте мы писали, что 21 апреля 1921 года, в отсутствие Бунина, он был выбран товарищем, то есть заместителем, председателя Союза, но тогда же отказался «от всякого участия в работе Правления»).

24 мая сорок седьмого года было созвано общее собрание Союза. Его руководство, стоявшее на правых позициях и группировавшееся около газеты «Русская мысль», решило изгнать из Союза всех тех, кто взял советские паспорта. Предложение это натолкнулось на решительное противодействие многих его членов, среди которых была и Вера Николаевна. Они указывали, что устав Союза не предусматривает таких мер, что нельзя вносить политический раздор в профессиональный союз творческих работников. Так что предложение это в тот момент потерпело крах...

Но путем различных манипуляций и неблаговидных приемов руководство добилось своего. Тогда, в ноябре того же года, большая группа литераторов в знак протеста против нарушения устава Союза вышла из его состава. Среди них были Вера Николаевна, Вадим Андреев, Александр Бахрах, Леонид Зуров и многие другие.

Бунин вышел из Союза в индивидуальном порядке — через две недели после этой группы.

В общем-то событие, честно говоря, не столь значительное в жизни писателя, как порой представляется это некоторыми специалистами. Применяя по этому поводу выражение самого Бунина — «сделали из мухи слона». В своем заявлении о выходе из Союза, адресованном генеральному секретарю его В. Ф. Зеелеру, бывшему министру «южно-русского правительства», Иван Алексеевич так обосновал свой уход: «Уже много лет не принимая по разным причинам никакого участия в деятельности Союза, я вынужден (исключительно в силу этого обстоятельства) сложить с себя звание почетного члена его и вообще выйти из его состава».

Заявление было напечатано в «Русской мысли» — для всеобщего сведения.

Бунин был настолько растерян выпадом Цетлин, настолько не разобрался в обстановке, что написал Марии Самойловне «объяснение»: «...Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, а теперь особенно: я давно тяжко болен — вот и сейчас едва пишу вам, — я стар, нищ и всегда удручен этим морально и физически, помощи не вижу ниоткуда почти никакой, похоронен буду, вероятно, при всей своей «славе», на общественный счет по третьему разряду...»

Чем объяснить примирительный тон бунинского послания в ответ на «эпистолярную пощечину» Цетлин? Все это кажется мало понятным, коли вспомнить непомерную

гордость нобелевского лауреата, не прощавшего другим куда меньшие обиды.

По отношению к «вечной благодетельнице» он, конечно, испытывал чувство признательности за те подачки, которые она ему организовывала на протяжении более двух десятилетий. Он не разгадал той интриги, которая развивалась вокруг него. Проницательней была Вера Николаевна, сказавшая по адресу Цетлин: «В ней сидит политик».

Пожалуй, самое время предоставить слово непосредственному свидетелю и участнику тех событий, которые всколыхнули русскую эмиграцию в Париже осенью и зимой сорок седьмого года и которые самым роковым образом отразились на судьбе Бунина. Итак, А. В. Бахрах в своих воспоминаниях писал: «Ведь недаром: «бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас», и сегодня, на отдалении, Бунин для меня уже не совсем тот, каким я видел его в свое время. Если бы это было не так, то все напечатанное на этих страницах должно было бы показаться надуманным и далеким от какой-то внутренней правды. В этой главке я остановлюсь на некоторых фактах, о которых меня просили рассказать, в их числе — о размолвке между двумя старейшими писателями Зарубежья — Буниным и Зайцевым... Когда она происходила, в известном смысле она была «бурей в стакане воды», даже если эта «буря» причинила Бунину много горьких минут.

С грустным чувством вспоминается, что 1947 год был для Ивана Алексеевича годом, полным всяческих невзгод, в некотором отношении краеугольным. И. А. почти беспрестанно болел, был подолгу прикован к постели затяжным гриппом, то обнаруживались еще другие, более неприятные органические недомогания. А в придачу к этому он все больше волновался из-за отощания своего бумажника. Естественно, что каждая новая болезненная вспышка все отчетливее отражалась на его психике. Он все трезвее чувствовал, что все кончается, все от него ускользает, что вот-вот придет час расставания с этим миром, который он ругательски ругал, но все же считал прекрасным. Раньше он исчислял время годами, теперь строил планы только на месяцы вперед и все чаще стал в разговорах и письмах применять толстовское «е. б. ж.» *.

* «Если буду жив».

И как раз в этот самый период произошел непредвиденный инцидент, который испортил ему много крови...

С первых лет эмиграции существовал в Париже «Союз русских писателей и журналистов», бессменно возглавлявшийся Милюковым, который пользовался уважением даже у своих политических недругов. Нельзя не признать, что Союз этот делал немало добра. Он не только в меру своих крайне скудных возможностей приходил на помощь наиболее нуждающимся литераторам, но, что было особенно заманчиво, брал на себя всю волокиту и все хлопоты, связанные с продлением «карт д'идентитэ», то есть французских видов на жительство, да еще в придачу по льготному тарифу. Этим и объясняется, что в числе членов Союза оказалось несметное количество «мертвых душ», которым секретарь Союза по каким-то своим соображениям хотел услужить.

Но миновала война. Милюков умер, и престиж Союза сразу поблек, а число его членов сильно сократилось — подлинно случилось: «иных уж нет, а те далече». Пост председателя Союза занял тогда Борис Зайцев, а фактически его заправилой оставался секретарь Зеелер.., меднолобый, любивший заниматься тем, в чем мало разбирался, и особенно щеголявший своей дружбой с Репиным. Эта дружба, а отнюдь не его писания, была, так сказать, его «патентом на бессмертие»!

Тут-то Союзу и показалось нужным чем-то себя проявить. В результате обычных в общем в таких собраниях происков и свар кое-кто из членов правления по инициативе своего секретаря решил демонстрировать белоснежность своих риз и, вопреки уставу Союза, исключить из его состава весьма малочисленную группу членов, соблазнившихся получением советского паспорта. Надо отметить, что до этого никто никогда политической платформой или паспортами членов Союза не интересовался: Союз был организацией профессиональной, и поэтому предложение правления для многих явилось полной неожиданностью. Но для проведения его в жизнь требовалось изменение устава, другими словами, созыв правомочного общего собрания.

Собрание было вскоре созвано, и на него густой толпой явились все «мертвые души», числившиеся в списках членов Союза, и совсем незначительное количество людей пишущих. «Карт д'идентитэ» еще приходилось иногда менять! — и устав был изменен, и по правленческой шпаргалке советские граждане исключены.

В знак протеста против таких «антидемократических» мер, явно нарушающих дух старого Союза, группа «молодых» (все относительно!) литераторов — к ним присоединилась и Вера Бунина, которая издавна была членом Союза, — покинули его. При этом главным мотивом ухода было не столько политическое его содержание — о нем мало кто думал, — сколько обида за приятелей, с которыми общались и дружили годами, то есть попросту желание проявить с ними известную солидарность.

Сам Бунин, числившийся почетным членом Союза, но никогда прямого отношения к нему не имевший и активно в нем не участвовавший, отказался присоединиться к группе «протестантов». Тем не менее аналогичный шаг он предпринял двумя неделями позже, так сказать, в строго индивидуальном порядке, мотивируя свой уход причинами личного характера.

Тут-то и началось! Его уход вызвал не в меру острую реакцию, и в первую очередь буквально «вспыхнула» проживавшая в Нью-Йорке любительница литературы госпожа Цетлин, связанная с Буниным долголетней дружбой. На правах меценатки она стала рассылать «открытые письма» всем общественным и литературным деятелям зарубежья. Содержание этих писем было настолько высокопарно, что *вряд ли можно предполагать, что этот текст был составлен единолично ею.* (Курсив мой. — *В. Л.*)

...Но дело было не в том, что в письме, написанном в вызывающе-поучительном тоне, говорилось о якобы «крестном пути», избранном Буниным («крестный путь» — выход из Союза! До чего можно договориться!) — не это оскорбило писателя. Главная бестактность послания заключалась в том, что, прекрасно зная его парижский адрес, отправительница направила письмо в открытом виде для передачи по назначению — Зайцеву, который совмещал обязанности председателя Союза с редактированием литературной страницы газеты «Русская мысль»... Газета уже до того затеяла весьма злостную и мелко-язвительную кампанию против Бунина, которую литературный редактор пропускал и, по словам Бунина, над которой «не без радости ухмылялся».

Как бы то ни было, нью-йоркское письмо стало чуть ли не на следующий день после получения его самим Буниным известно всему русскому Парижу.

«Делать из мухи слона» — было то, что больше всего раздражало Бунина. Он был подлинно удивлен — не

тем, что нелепости, которые появлялись на «всетерпящей» газетной бумаге, никак не соответствовали действительности, а именно тем, что они распространялись с ведома старого приятеля, Зайцева. Это и привело к разрыву между ними, причем этот разрыв задел Бунина гораздо глубже, чем он это показывал... Нанесенная ему рана...не зарубцевалась до самых последних его дней».

И далее очень важное для нас утверждение: «Дело не в самих фактах, а в том ключе, в котором они происходили. Но, во всяком случае, если Бунин начисто отрицал политический смысл своего выхода из Союза, то политика, вернее политиканы, с радостью за выход его ухватились...

Выход Бунина из состава Союза — факт в его биографии совершенно незначительный, тем более что общественным человеком он никогда не был, да и по своему характеру не мог им быть...»

Бахраха никак нельзя обвинить в предвзятом отношении к эмиграции. Тем бóльшую весомость приобретает его свидетельство. Следует добавить: политиканы не только ухватились за выход Бунина из Союза, они полностью организовали скандал и травлю писателя.

Бунину мстили зло и беспощадно. Мстили за то, что не отрекся от России, мстили за его великий писательский дар, за его тоску по Родине, за сочувствие к далеким соотечественникам, за желание вернуться домой...

Цетлин сделала последний ход в той партии, которая разыгрывалась против Бунина. И ходы в которой ее игрокам, в том числе Цетлин, почти наверняка подсказывались специалистами куда более искушенными, профессионально владевшими тайной политических дебютов и эндшпилей. Слишком крупной звездой на эмигрантском небосклоне был Бунин, чтобы безнаказанно прощать его «прегрешения».

* * *

Любимая поговорка Бунина: «Попал в стаю — не лай, а хвостом виляй!» Но сам он ей никогда не следовал.

* * *

Жизнь не баловала Бунина. Не было, кажется, испытаний, которые она ни посылала бы ему: он потерял любимого ребенка — единственного и потому особенно дорогого; его обманывала любовь — когда он шел к ней

с открытым сердцем; его предавали друзья; он, для которого весь смысл существования был в творчестве, на взлете своего дара лишился миллионов читателей; богато одаренный природой, он годы проводил в нищете, холоде и «всяческом мизере»; он должен был смирять свою непомерную гордость, чтобы из чужих рук принимать благодеяние. Вся сила его дара питалась связью с Россией, но обстоятельствами он был принужден жить на чужбине.

Что, казалось бы, человеку, изведавшему столько испытаний, какой-то мелкий и подлый удар сзади, нанесенный предательской рукой? Ему ли сломиться от этого? Но как большой корабль, долго сотрясавшийся ураганом, рушится ударом последней волны, так и письмо Цетлин добило старого писателя.

Бунинский организм был сломлен всем пережитым. Уже больше никогда он не оправится от болезней и несчастий.

ГЛАВА XV

В середине января 1948 года Бунины приехали на берег Лазурного моря, в Жуан-ле-Пен. Как обычно, пристанищем стал «Русский дом». Сколько воспоминаний было связано с этим местом!

...Пышно цветут белые и красные розы, сухо шелестят листья пальм. Мистраль ласкает ветви лимонных, оливковых и апельсиновых деревьев. Из окон пансионата видны белые вершины гор.

Приезд знаменитого писателя наделал переполоху среди обитателей дома. Всем хотелось побеседовать с ним, получить — хоть на открытке — автограф. Но Иван Алексеевич зажил замкнуто, принимал у себя лишь Алданова, успевшего перебраться из США в Ниццу.

Напротив комнаты Ивана Алексеевича — дверь в дверь — жила Ирина Одоевцева с мужем поэтом Георгием Ива́новым. Их обоих он знал с незапамятных времен. Порой по-свойски заходил к ним — вполне в домашнем виде: в сером, видавшем виды, теплом халате и вышитой тюбетейке. Усевшись в удобном мягком кресле, Бунин любовался великолепным видом на море и синеющими вдали горами. Ирина Владимировна ставила перед гостем чашку кофе. Он начинал вспоминать прошлое:

— Это полезное для меня занятие, — словно оправ-

дываясь, говорил он. — Теперь готовлю книгу воспоминаний...

К счастью, Одоевцева добросовестно воспроизвела эти беседы, проходившие, впрочем, гораздо чаще во время длительных неторопливых прогулок по живописным окрестностям Лазурного моря.

В присутствии Ивана Алексеевича скучать было невозможно — это утверждение Одоевцевой. Он, как никто другой, умел заставить собеседника переживать вместе с ним все его чувства, видеть его глазами, слышать его ушами. Слушающий Бунина словно становился участником его жизни: граница между ними как бы исчезала, и собеседник, словно под гипноз, попадал под могучее бунинское обаяние.

Некий впечатлительный и несколько нервный поклонник Бунина, содрогаясь от собственного рассказа, с ужасом говорил Одоевцевой:

— Я его теперь просто боюсь! Как-то по воле случая я оказался с Иваном Алексеевичем в одном купе поезда. Он был очень взволнован чем-то, жаловался на обстоятельства, а я слушал и волновался рассказу не меньше, чем он сам. Вдруг Бунин поднял свою красивую сухощавую руку и говорит: «Ах, как болит! затекла!»

И что вы думаете? В тот же момент я ощутил: и моя рука затекает. Испугался, да в коридор — шмыг! Так всю дорогу и простоял. Мне страшно стало. Словно себя потерял...

Одоевцева вспоминала, как Иван Алексеевич доставал из кармана табак и аккуратно скручивал папиросу:

— И дешевле, и лучше готовых!

Он не совсем был доволен своей жизнью, считал, что мало и плохо использовал дар, отпущенный ему природой.

— Но ведь вы прославились, — возражала Одоевцева. — На весь мир...

— Ну и что! — с жаром возражал он. — Если бы в своей стране! А то на чужбине... Что мне эта Нобелевская премия — а сколько я о ней мечтал — принесла? Чертовы черепки какие-то. И разве иностранцы оценили меня? Вот я написал лучшую свою книгу «Темные аллеи», а ее ни один французский издатель брать не желает... Да, — говорит Бунин, снова вспоминая «Темные аллеи», в который уже раз, — это лучшее, что я за всю мою жизнь написал. А разве кто понимает?

Я считаю «Темные аллеи» лучшим, что я написал, —

продолжал он запальчиво, — а они, идиоты, считают, что я ими опозорил все свои седины, что это порнография и, к тому же, старческое бессильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово, новый подход к жизни!»

До конца жизни Бунину, кстати, приходилось защищать свою любимую книгу от «фарисеев». Так, 10 марта 1951 года он писал Ф. А. Степуну: «...Жаль, что вы написали в «Возрождении», что в «Темных аллеях» *есть* некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей». ...Какой там «избыток»! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже *моды* женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное?..»

— Но не много ли самоубийств и убийств в них? — осторожно спрашивает собеседница. — Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое, понимание любви: чуть что — ах! и она вешается или стреляется, или он убивает ее.

— Вот как? По-вашему незрело, романтично? Ну, значит, вы никогда не любили по-настоящему. Понятия о любви у вас нет. Неужели вы еще не знаете, что в семнадцать и в семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы еще не знаете, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу, — а их, этих любовных катастроф было немало в моей жизни, вернее почти каждая моя любовь была катастрофой, — я был близок к самоубийству. Даже когда никакой катастрофы не было, а просто очередная размолвка или разлука. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Пащенко. Из-за Ани, моей первой жены, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. Даже с Верой Николаевной... Ведь я был все еще женат, и моя первая жена назло не желала со мной разводиться. Я боялся, что Вера Николаевна откажется. Не решится соединить свою жизнь со мной. Ведь это было еще до первой мировой войны. Светские условности и предрассудки Анны Карениной были еще живы. А она — Муромцева, племянница известного профессора, председателя 1-й Думы. Но жизнь без нее я

себе не представлял. Если бы она не решилась, отказала мне, я непременно...

Он замолкает на минуту, глядя в окно.

— И теперь еще, — голос его звучит устало и грустно. — Совсем недавно. Вы же знаете... В сущности, я был очень несчастен. Особенно в ранней молодости. Хотя я, как редко кто, расположен к счастью. Но столько противоречивых страстей терзали меня, просто рвали на части... Мне с собой не всегда легко. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я всегда поэт, хотя вы с Болгарином и не признаете моих стихов, прежде всего поэт. А уж потом прозаик.

* * *

Бунин выходил на прогулку только на закате, хотя доктор и Вера Николаевна пытались убедить его, что это вредно — каждый раз он рисковал опасно простудиться. (Предсказания их, кстати, сбылись: он вновь заболел воспалением легких.)

Упрямства его одолеть не умел никто. Даже он сам. Ведь он отлично знал, что этот средиземноморский закат, что «этот блеск — есть смерть». И все же он готов был рисковать бесконечно — лишь бы еще хоть раз насладиться этим великолепием красок, полной грудью вдохнуть настоявшийся столетиями запах моря. И он умел все замечать, малейшее изменение в погоде, каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, быстро двигающиеся облака, которые вскоре громыхнут грозою, перемену освещения, ставшие вдруг в предгрозовой час глуховатыми звуки.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась иногда не только как радость, но и как мучение, — настолько она была самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

— От этого восхищения порой я плачу, — как-то признался Бунин.

— Вы плачете от красоты природы?

— Вы не верите? — В его голосе звучит раздражение. — Я ведь вообще легко плачу, — это у меня наследственное — романтическая слезоточивость сердца, это от отца. Слезы закипают на глазах по разным причинам — от горя, от обид, от радости. От любви, от ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука!

Что, не вяжется с вашим представлением обо мне? — Бунин вдруг улыбается, и лицо сразу делается удивитель-

но красивым и привлекательным, молодые синие глаза смотрят с лаской на собеседницу. — А о моей душе вы подумали? У меня душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я во сто крат сильнее, чем обыкновенные люди, — и горе, и счастье! И радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже сейчас — на восьмом десятке лет. Хотя какое же теперь у меня счастье? Конец жизни похож на ее начало: нищенская, полная печали юность, — нищенская, одинокая и тяжелая старость.

Сколько навалилось на меня унижений, оскорблений! С протянутой рукой — парле ву франсе, шпрехен зи дейч? Подайте великому писателю, нобелевскому лауреату! Это при моей-то гордости! — ведь я нечеловечески, дьявольски горд... Представляете себе, каково мне теперь? А бесконечная, неперестающая тоска по России? Нет, никто не может даже представить, что я должен чувствовать теперь.

* * *

Из воспоминаний Ирины Одоевцевой *:

«Я смотрю на Бунина. Он шагает энергично, уверенно и широко. У него эластичная, ритмическая походка. Мне с ним легко идти в ногу.

Он совсем не похож на себя, того домашнего, в халате, в ночных туфлях и в одном из своих умопомрачительных головных уборов. От старческой сутулости и суетливости не осталось и следа...

Он с чисто восточной роскошью и богатством образов, сведений и деталей рассказывает об Африке, о Цейлоне, об Индии.

Я иду рядом с ним, слушаю его и снова, как всегда, изумляюсь тому, как он умеет показывать то, о чем говорит. Я уже чувствую себя в Дакаре, в Египте, на берегах Ганга.

Но он вдруг прерывает свои описания, поворачивается ко мне и смотрит не на меня, а поверх меня вдаль.

— Как давно я так, как с вами, вспоминая прошлое, не гулял. Как давно меня так, как вы сейчас, никто не слушал.

Оживление медленно сходит с его лица, и голос его звучит приглушенно и грустно.

---

* Рукопись воспоминаний И. В. Одоевцева в свое время передала члену редколлегии «Литературного наследства», доктору филологических наук С. А. Макашину, который любезно предоставил ее в распоряжение автора.

— Только с ней когда-то. Мы с ней вдвоем постоянно гуляли, исходили все дороги, объездили все окрестности. И как это было чудесно. Она мало говорила, но как она умела слушать! И понимать меня. Раз, когда мы с ней возвращались домой, до того усталые, что с трудом передвигали ноги, я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополем, обняться и уснуть вместе. И ведь мысль о смерти всегда присутствует в любви — мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Не сейчас, конечно, умереть с нею. А когда придет мой час. Я пожелал это с такой силой, что почувствовал боль в горле. Но я не сказал ей: «Я хочу умереть вместе с тобой». Нет, ведь она на столько лет моложе меня и будет еще долго жить после моей смерти. Я сдержался. Я не сказал ничего. И все-таки она почувствовала. Она поняла. Ее нежные, прелестные пальцы вздрогнули в моей руке — в ответ. Будто выражая согласие и готовность исполнить и это мое желание...

Он молчит с минуту, потом говорит срывающимся голосом:

— И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила.

— А Веру Николаевну вы тоже так любите? — неожиданно спрашиваю я и, смутившись от собственной бестактности, чувствую, что краснею...

— Веру Николаевну? Нет. Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, или лиши меня воздуха — я изойду кровью, задохнусь — умру...

И, помолчав, заканчивает:

— Всегда благодарю бога, до последнего моего вздоха благодарить его буду за то, что он послал мне Веру Николаевну».

ГЛАВА XVI

...В конце апреля Бунин вернулся в Париж. Почти все лето он проболел. Мучили припадки астмы. На октябрь, к дню рождения, назначил вечер — нужны были деньги. Он обещал «рассказать кое-что из своей жизни».

Послевоенный Париж сделался беднее — меньше осталось русских, большинство из них еле-еле сводили концы с концами. Им стало не до литературных вечеров.

Чтобы подогреть несколько интерес, Бунин писал весьма своеобразные «самоинтервью» и публиковал в газетах. Вот, к примеру, одно из них:

«Мы застали Ивана Алексеевича в его кабинете за письменным столом, в халате, в очках, с пером в руке... — Bonjour maitre! * Маленькое интервью... в связи с вашим вечером 26 октября... Но мы, кажется помешали, — вы пишете? Простите пожалуйста...

Иван Алексеевич притворяется сердитым:

— Метр, метр! Сам Анатоль Франс сердился на это слово: «Maitre de quoi?» ** И когда меня называют метром, мне хочется сказать плохой каламбур: «Я уже так стар и будто бы так знаменит, что пора меня называть километром». Но к делу. О чем вы хотите беседовать со мной?

— Прежде всего о том, как вы поживаете, как ваше здоровье, чем порадуете нас на вечере, что сейчас пишете..?

— Как поживаю! Горе только рака красит, говорит пословица. Знаете-ли вы чьи-то чудесные стихи? ***

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

— Но где ж мне взять самообладания? Я лошадь не совсем простого звания, а главное, довольно старая и потому трудности существования, которых, как вы знаете у многих немало, а у меня особенно, переношу с некоторым отвращением и даже обидой: по своим летам и по тому, сколько я пахал на литературной «ниве», мог бы жить немного лучше. И уже давно не пишу ничего, кроме просьб господину сборщику налогов о рассрочке их для меня. Я и прежде почти ничего не писал в Париже, уезжал для этого на юг, а теперь куда и на какие средства поедешь? Вот и сижу в этой квартирке, в тесноте и уж если не в холоде, то в довольно неприятной прохладе, а порой и на пище св. Антония: доктор советует есть, например, печенку, а эта печенка, которую прежде покупали для кошек, стоит теперь 950 франков кило ****.

---

* Добрый день, метр! *(фр.)*.

** Метр чего? *(фр.)*.

*** Автор стихов — одесский поэт А. В. Фиолетов.

**** Для сравнения скажем, что экземпляр «Темных аллей» — отлично изданных, на хорошей бумаге стоил всего 150 франков! Цена стольких же граммов печенки.

— А можно узнать, что именно вы будете читать на своем вечере?

— Точно никогда не знаю чуть не до последней минуты. Выбор чтения на эстраде — дело трудное. Читая с эстрады даже что-нибудь прекрасное, но не «ударное», знаешь, что через четверть часа тебя уже не слушают, начинают думать о чем-нибудь своем, смотреть на твои ботинки под столом... Это не музыка, хотя был у меня однажды интересный разговор на эту тему с Рахманиновым. Я ему: «Вам хорошо — музыка даже на собак действует!» А он мне в ответ: «Да, Ванюша, больше всего на собак!» Так вот все колеблешься: что читать, чтобы не думали о своем, не смотрели на ботинки? Я не червонец, чтобы всем нравиться, как говорил мой отец, я не честолюбив... Но я самолюбив и совестлив — заставлять людей скучать не люблю... Так что одно имею в виду для вечера: не заставить скучать.

— А вы, Иван Алексеевич, очень волнуетесь, читая на своих вечерах? Ведь все на эстраде, на сцене волнуются...

— Еще бы! Я юношей видел в «Гамлете» знаменитого в ту пору на весь мир Росси и в антракте получил разрешение войти к нему в уборную: он полулежал в кресле с обнаженной грудью, белый как полотно, весь в огромных каплях пота...

Видел, тоже в уборной, знаменитого Ленского из Московского Малого театра в совершенно таком-же положении, как Росси... Видел за кулисами Ермолову — имел честь не раз выступать с ней на благотворительных литературных вечерах: если бы вы знали, что делалось с ней перед выходом! Руки трясутся, пьет то валерьяновые, то гофманские капли, поминутно крестится... Кстати сказать, читала она очень плохо — как почти все актеры и актрисы...

— Как! Ермолова!

— Да, да. Ермолова. А что до меня, то, представьте, я — исключение: и за кулисами и на эстраде спокоен. «Не нравится — не слушай!» В молодости я на эстраде краснел, бормотал — больше всего от мысли, что ровно никому не нужно мое чтение, — и даже от какой-то злобы на публику. Совсем молодым я однажды был участником литературно-музыкального вечера в огромнейшей зале в Петербурге — и знаете, вместе с кем? Вы не поверите! С самим Мазини, который, хотя был уже далеко не молод, но был еще в великой славе и чудесно пел неаполитанские песни! И вот, вылетел я на эстраду после

него, — вы понимаете, что это такое: после него? — и подбежал к самому краю эстрады, глянул — и уж совсем обмер: на шаг от меня сидит широкоплечий, с широким переломанным носом сам Витте и крокодилом глядит на меня! Я забормотал как в бреду, облился горячим и холодным потом — и стрелой назад, за кулисы... А теперь я пожалуй не смутился бы даже под взглядом... ну, придумайте сами, под чьим взглядом...»

Сколько удовольствия получили читатели «Русских новостей», познакомившись с этим вполне автобиографичным «интервью»! (Фрагментами оно вошло в «Воспоминания».)

* * *

Газеты... Как бы ни было истерто от частого употребления их определение — «зеркало времени», но оно вполне точно.

Итак, о чем писали русские газеты в Париже в первые послевоенные годы?

«В Особом присутствии суда разбираются дела коллаборантов. Вчера слушалось дело 59-летнего де ля Люба, бывшего моряка флота Российской Империи, обвиняющегося в шпионаже в пользу Германии».

«В понедельник, в 10 ч. 30 м. утра будет совершена заупокойная литургия и чин отпевания Матери Марии (Кузьминой-Караваевой до пострижения в монахини), погибшей от рук супостатов. Адрес Покровской русской церкви — 77, рю де Лурмель».

«Закончено разбирательством дело Вадима Кравцова, обвинявшегося в сношениях с неприятелем, т. к. в тесном экономическом контакте с немцами он заработал 700 000 франков. Присяжные заседатели оставили Кравцова на свободе, но постановили конфисковать 700 000 франков».

И в этой же газетной колонке:

«В Париж из Германии прибыл прах Владимира Пухлякова, видного резистанта, обезглавленного в феврале 1945 года в концлагере Вольфенбюттель».

Две рецензии Георгия Адамовича:

«В цикле рассказов «Темные аллеи» автор всматривается не в пеструю оболочку бытия, а в его источник, корень, он как бы сознает себя участником платоновского пира, — и, предвидя осуждение лицемеров, с гневом и скорбью восклицает: «Когда я пишу об этом, пытаюсь вы-

разить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях».

Когда-нибудь будет смешно — и вместе с тем стыдно! — вспоминать, что Бунину, чистейшему художнику, приходилось оправдываться перед современниками, обвинявшими его в потворстве «низким побуждениям».

Другая рецензия — на роман А. Фадеева «Молодая гвардия»:

«История человечества, знающая немало примеров проявления героического духа, лишь теперь в лице советской молодежи узнала настоящие образцы массового героизма... Фадеев в своем романе воскресил лишь небольшой эпизод минувшей войны, но этот эпизод потрясает и дает новое представление о людях послеоктябрьской России».

«Анонс! В Парижском синема «Стар» сегодня и ежедневно советский фильм «Зоя Космодемьянская».

«После Указа Верховного Совета СССР от 14 июля 1946 г. — о восстановлении в советском гражданстве бывших подданных Российской Империи — многие тысячи русских эмигрантов — «апатридов», как их принято называть, — стали советскими гражданами и восстановили юридическую связь со своей Родиной...»

«Вышла новая книга А. П. Бурова и имеется в продаже в «Русском Доме» — «Три баллады. Песнь торжествующей славы спасителю России генералиссимусу И. В. Сталину».

«Ресторан Бывший Московский Эрмитаж приглашает уважаемых клиентов. Прием, как в старые времена. Реноме ресторана — первоклассная кухня. Для вас поет Володя Поляков со своим оркестром».

Жизнь продолжалась...

* * *

В октябре 1948 года он последний раз поднялся на сцену *. Все, кто пришел на встречу, знали, что Бунин давно и тяжело болеет. Каково же было их удивление, когда они увидели его бодрым, с живой и яркой речью, великолепными законченными жестами и красивым сильным голосом — это чудо всех потрясло. Бунин едко и остроумно рассказывал о представителях «отечественного

* Т. Д. Муравьева-Логинова в своих воспоминаниях «Живое прошлое» («Литературное наследство», указ. том) ошибочно называет последним его выступление в октябре 1947 года.

декаданса» (сваливая в одну кучу все «левые» течения в искусстве).

— Кто из нас не помнит мошенников и хулиганов, называвших себя футуристами? — гремел Бунин. — Зато сколько разговоров и печатных отзывов находили скандальные выходки Бурлюка, Крученых, Маяковского! При этом тот, кто позже по велению вождя стал «лучшим советским поэтом», всех превосходил грубостью и дерзостью. Что стоит его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная физиономия! Или его изысканные обращения к публике:

— Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот так, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости, все эти «левые» деятели от искусства добывали себе славу и деньги, которые они якобы презирали.

А как восторженно была принята вышедшая в Петербурге в четырнадцатом году книга главаря «левых» Маринетти — «Футуризм»! Я недавно специально отыскал ее в библиотеке и еще раз убедился: с каким садистским сладострастием эти самые «футуристы» разлагали культуру! Разлагали само общество, в котором, кстати, жили весьма недурно. Что из этого вышло, объяснять нужды нет...

Закончив с футуристами, Иван Алексеевич перешел к Толстому и Чехову. Он вспоминал о них с любовью, говорил о необходимости сохранять их традиции в русской литературе.

Книга «Воспоминания» была близка к завершению, и он словно знакомил собравшихся с ее еще не напечатанными страницами. Теперь мы можем сказать, что то высокомерие, с которым он отнесся к своему времени, порой справедливо, а порой неосновательно. Конечно, к искусству примазалось немало людей недобросовестных, бесталанных или откровенных шарлатанов. И когда Бунин разражается по их поводу гневными тирадами, спорить с ним не приходится. Но под огонь его критики порой попадали и художники талантливые, обладавшие ярким своеобразием, — Блок, Андрей Белый, Есенин...

Но все же Бунин торжествовал — и не без оснований. Многие из тех оценок, которые он дал, полностью оправдались. И поколения, явившиеся после него, могли согласиться с этими оценками почти без оговорок. Уже — в отличие от минувших времен — никто не сомневался, что

Пушкин выше Бальмонта и Северянина, а Толстой несравним с Арцыбашевым или Боборыкиным (а ведь немало раздавалось когда-то крикливых голосов, утверждавших обратное!).

...Он уходил со сцены, как герои уходят из жизни — торжественно, ощущая себя триумфатором, под гром восторженных приветствий — в зале все аплодировали ему стоя.

Они приветствовали его честный и мужественный дар. Дар художника, ставшего последним представителем эпохи, которая не случайно называется классической. Как никто другой, он напомнил о связи времен, о необходимости бережно относиться к прошлому России, ее традициям, о роковом пренебрежении ими.

ЭПИЛОГ

Свою последнюю дневниковую запись он сделал 2 мая 1953 года — почерк все еще твердый, но уже какой-то старчески заострившийся:

Это все таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!.. И я только тупо, умом стараюсь изумиться, устрашиться!

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. На смятой простыне лежал много раз читанный том «Воскресения».

Верная подруга Вера Николаевна повязала шею покойного шарфиком.

— Я знаю, — произнесла она, — ему это было бы приятно. Ведь шарфик подарила...

И она назвала женское имя.

* * *

Отпевание было торжественным — в русской церкви на улице Дарю, при небывало громадном стечении народа. Многие плакали, словно прощались с самым близким человеком. Все газеты — и русские, и французские — поместили обширные некрологи.

* * *

Похороны были много позже — на восходе солнца, в очень морозный день 30 января 1954 года (до этого прах находился во временном склепе). Русское кладбище под

Парижем Сент-Женевьев де Буа, словно поле, было заметено глубокими снегами — лишь кресты печально возносились к небу. После оттепели завернул резвый северный ветер. Он сковал колчи дорог, окаменил снег.

Солнце поднималось из-за дальнего леса, и снег все более розовел. Служба была простая и строгая, напоминающая фронтовое погребение, и звуки хорового пения быстро таяли в студеном воздухе.

Когда хор запел «молитву Господню» — «Отче наш», старый земляк Бунина — одноногий князь Голицын, опираясь на сильно сношенные костыли, опустился на единственное колено и, подняв к небу выцветшие слезящиеся глаза, стал подтягивать старческим надтреснутым голосом:

— Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Гроб был за сургучными печатями. Его стали опускать в яму, и он долго цеплялся за углы узкой могилы. Наконец тяжело ухнул вниз.

На лопате подали землю. Она смерзлась черными зернистыми комками. Вера Николаевна стянула с озябшей руки тонкую шелковую перчатку. До крови царапая ладонь и пальцы, отломила несколько крошек и первой кинула в яму.

На похоронах было одиннадцать человек.

Согласно завещанию покойного гроб был цинковый. Зачем ему это? Конечно, в последние годы жизни он не раз говорил, что у него кровь стынет от ужаса при мысли: вдруг к нему в гроб заползет змея!

Но нет, не так уж он был прост! Может быть, мысль иная, дальняя была у него?

* * *

Вера Николаевна прожила еще семь с половиной лет. И каждый день, отпущенный ей судьбой, она продолжала служить мужу — теперь памяти его ради. Она приводила в порядок архив, переписывалась с советскими литературоведами — Н. П. Смирновым, О. Н. Михайловым, А. К. Бабореко и другими, сообщая много важных сведений о своем муже. Писала мемуары.

Вера Николаевна отправила часть рукописного наследия мужа, книги с его пометами для будущих издателей в Москву. Теперь все это бережно хранится в Отделе ру-

кописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. (К сожалению, после смерти Веры Николаевны парижский архив Ивана Алексеевича попал в Шотландию, в Эдинбургский университет. Его туда передал или — вероятней — продал Леонид Зуров, наследовавший его от Веры Николаевны. На все предложения переместить архив в СССР Зуров ответил отказом.)

Подготовила Вера Николаевна к печати незавершенную книгу Ивана Алексеевича — «О Чехове». Она впервые была опубликована в 1954 году.

Эта воистину святая женщина, всю свою жизнь посвятившая мужу, скончалась 3 апреля 1961 года и похоронена рядом с Буниным.

* * *

В книгу «О Чехове» Бунин включил одно из писем Антона Павловича: «Холодно чертовски, а ведь бедные птицы уже летят в Россию! Их гонят тоска по родине и любовь к отечеству; если бы поэты знали, сколько миллионов птиц делаются жертвою тоски и любви к родным местам, сколько их мерзнет на пути, сколько мук претерпевают они в марте и в начале апреля, прибыв на родину, то давно бы воспели их... Войдите Вы в положение коростеля, который всю дорогу не летит, а идет пешком, или дикого гуся, отдающегося живьем в руки человека, чтобы только не замерзнуть... Тяжело жить на этом свете!»

О чем думал писатель, занося эти строки в книгу? Может, вспомнил дождливую ночь мая восемнадцатого года, когда навсегда покинул Москву? Или память разбудила воспоминания о пасмурном февральском дне, крутую улочку Стамбула и генерала со шрамом на лице, протянувшего визу на странствия по чужим городам...

Москва, 1978—1988

ПРИМЕЧАНИЯ

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (1878—1943), один из лидеров партии эсеров. Представлял ее правое крыло. В 1917 году член исполкома Петроградского Совета, председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр внутренних дел во Временном правительстве. Выслан за границу.

АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1894—1972), русский поэт и литературный критик. Родился в семье военного. Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета (1917). Первый сборник стихов «Облака» (1916). Акмеист. Эмигрировал в 1923 году. Сотрудничал во многих эмигрантских периодических изданиях. В 1920—1930-е гг. вел литературный отдел газеты «Последние новости». С начала второй мировой войны — доброволец французской армии. Один из ведущих литературных критиков в эмиграции. Печатал доброжелательные рецензии на книги советских писателей (А. Фадеева, С. Бубеннова и др.). Автор книг «На Западе» (1939), «Единство» (1967), «Одиночество и свобода» (1955) и др. Один из ближайших друзей И. А. Бунина.

АЛДАНОВ (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1889—1957), писатель. По профессии инженер-химик, автор ряда научных работ. В 1915 году дебютировал в литературе исследованием «Толстой и Роллан». С 1919 года проживал во Франции. За рубежом опубликовал многочисленные исторические романы, пользовавшиеся большим успехом и переведенные более чем на 25 языков. Писал о судьбе эмигрантской литературы, превозносил «высокий талант Бунина».

БАЛЬМО́НТ Константин Дмитриевич (1867—1942), русский поэт. Учился в Московском университете, но был исключен за участие в студенческом движении. Сочувственно встретил революцию 1905 года. Эмигрировал в 1921 году. Один из первых представителей символизма в русской поэзии. В России имел шумную славу, автор многочисленных сборников. За рубежом признания не получил.

БАХРА́Х Александр Васильевич (1902—1985), литератор. Родился в Киеве, учился в частной гимназии Мея в Петербурге. В эмиграции с 1920 года — сначала в Варшаве и Берлине, затем в Париже. Здесь проявил себя талантливым журналистом, автором ярких литературных портретов и увлекательных исторических очерков. Был близким другом М. Цветаевой *(см.),* посвятившей ему восемь стихотворений. Все годы второй мировой войны прожил в Грасе в доме И. А. Бунина, с которым до самого его конца поддерживал дружеские отношения, в какой-то степени исполняя секретарские обязанности. Автор мемуарных книг: «Бунин в халате» (1979) и «По памяти, по записям. Литературные портреты» (1980).

БЕРБЕРОВА Нина Николаевна (р. 1901), писательница, вторая жена В. Ф. Ходасевича *(см.).* В эмиграции с 1921 года. Ее роман «Последние и первые» (1930) был хорошо принят читателями. Дальнейшими работами, однако, успех развить не сумела. Опубликована ее переписка с З. Гиппиус *(см.)* и В. Ходасевичем. С 1950 года живет в США. Автор мемуарной книги «Курсив мой» (1972), в которой с налетом карикатурности изобразила некоторых эмигрантских писателей, в том числе И. А. Бунина. В годы второй мировой войны приняла участие в спасении его парижского архива.

«БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ», толстый журнал, два номера которого вышли в 1926 году в Брюсселе. Редактор — князь Д. А. Шаховской *(см.)*, впоследствии принявший монашество и ставший архиепископом Сан-Францисским.

БОБОРЫКИН Петр Дмитриевич (1836—1921), русский писатель, издатель, критик, публицист. Автор более ста книг, многие из которых пользовались большим успехом.

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна (1844—1934), одна из руководителей партии эсеров, сторонница политического террора. С 1919 года в эмиграции.

БУКОВЕЦКИЙ Евгений Иосифович (1866—1948), член «Товарищества южно-русских художников». Один из близких друзей И. А. Бунина.

БУНАКОВ-ФОНДАМИНСКИЙ Илья Исидорович (1880—1942), общественный деятель, публицист, один из редакторов «Современных записок». Погиб в фашистском концлагере.

ВЕРТИНСКИЙ Александр Николаевич (1889—1957), артист эстрады, певец, композитор. С 1915 года выступал как автор и исполнитель своих песен (первоначально в гриме и костюме Пьеро). В 1919 году эмигрировал. За рубежом выступал с концертами, пользовался успехом. Вернулся в СССР в 1943 году. Создал цикл патриотических песен. Снимался в кино.

ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849—1915), граф, русский государственный деятель. Занимал должности министра финансов, председателя Комитета министров, а в 1905—1906 гг. — председателя Совета министров. Был сторонником эволюции самодержавия в сторону буржуазной монархии. Автор «Воспоминаний», вышедших посмертно (1923—1924).

ВИШНЯК Марк Вениаминович (1883—1977), публицист, один из редакторов «Современных записок». С 1940 года — в Нью-Йорке, сотрудник журнала «Тайм-мэгэзин».

«ВОЛЯ РОССИИ», литературный журнал. Выходил в Праге с 1922 года под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, В. В. Сухомлина, а с 1924-го — и Е. А. Сталинского. Считался «левым», много внимания уделял политической и экономической жизни Советской России. Старался удерживаться на «объективных» позициях, отмечал успехи социалистического государства, отстаивал достижения советской литературы и искусства от огульных осуждений, не сумев, однако, порвать с антибольшевистскими выпадами. Характерно враждебное отношение к писателям старшего поколения — Мережковскому, Гиппиус, Шмелеву, Бунину. Журнал печатал и поддерживал молодых — В. Сосинского *(см.)*, В. Андреева, А. Эйснера и других. Журнал напечатал нашумевший критический разнос Эйснера — «Прозаические стихи» (о Бунине).

ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (1878—1928), барон, один из главных руководителей контрреволюции на юге России. Белоэмигрант. В 1924 году создал в Париже «Русский общевоинский союз».

ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, критик. Жена Д. С. Мережковского *(см.)*. Яркий представитель декадентства в русской литературе. Печатала критику под псевдонимом Антон Крайний, в которой была привержена личным симпатиям и антипатиям. Это дало повод обвинять ее «в кумовстве» (В. Ходасевич и др.). С начала века часто жила в Париже, где имела литературный салон. Симпатизировала эсерам, среди

которых выделяла Б. В. Савинкова *(см.)*. В 1903—1904 гг. вместе с Мережковским и литератором Д. В. Философовым (ее близким другом) издавала литературный журнал «Новый путь». Октябрьскую революцию встретила крайне враждебно. Эмигрировала в 1920 году, в статьях и стихах выступала с выпадами на Советскую Россию.

ГОНЧАРОВА Наталья Сергеевна (1871—1962), выдающийся русский художник, жена М. Ф. Ларионова *(см.)*. С 1915 года жила в Париже. Работала у балетного импресарио С. П. Дягилева. Бедствовала. Теперь ее картины находятся в крупнейших музеях мира.

ГОФМАН Модест Людвигович (1887—1959), русский историк литературы. Дебютировал поэтическим сборником «Кольцо. Тихие песни скорби» (1907). Занимался текстологией произведений А. С. Пушкина. В 1923 году выехал в научную командировку в Париж, но на родину не вернулся. Читал курс русской литературы в Сорбонне, издавал книги Пушкина и труды о нем.

ГРЕБЕНЩИКОВ Георгий Дмитриевич (1883—1964), писатель, выходец из Сибири, которой и посвятил свои многочисленные книги с увлекательным описанием жизни купцов, крестьян, золотоискателей. Находился в дружеских отношениях с А. М. Горьким. Долгие годы жил в США, где его творчество успеха не имело. Письма И. А. Бунина к нему находятся в Отделе рукописей ГБЛ.

ГУКАСОВ Абрам Осипович (1872—1969), богатый нефтепромышленник. В эмиграции издавал газету «Возрождение», выходившую в Париже в 1925—1940 гг. Бунин участвовал в ней лишь на первых порах, затем отошел, не приемля ее «правого» направления.

ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886—1921), русский поэт, объединивший и возглавивший представителей литературного направления «акмеизм». Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Автор поэтических сборников и критических трудов, содержащих немало верных и острых оценок современной ему литературы. Однако не оценил по достоинству поэзию И. А. Бунина. В 1914—1917 гг. находился в действующей армии. В 1921 году по подозрению в участии в контрреволюционном заговоре был расстрелян.

ДОН-АМИНАДО (Арноль-Аминад Петрович Шполянский, 1888—1957), поэт-фельетонист. Его стихи регулярно появлялись в «Последних новостях» и пользовались большим успехом. Выпустил несколько поэтических сборников и мемуарную книгу «Поезд на третьем пути» (Нью-Йорк, 1954). С И. А. Буниным, который его считал «одним из самых выдающихся русских юмористов», поддерживал дружеские отношения.

ИБАНЬЕС Бласко (1867—1928), испанский писатель. В 1923 году, после установления в Испании диктатуры военных, эмигрировал во Францию. Неоднократно выступал в поддержку молодого Советского государства.

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881—1972), писатель, сын горного инженера. В 1899 году был исключен из Московского высшего технического училища за участие в студенческих волнениях. Начал печататься в 1901 году. На дарование начинающего писателя обратили внимание А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Эмигрировал в 1922 году. Через два года поселился в Париже (при содействии И. А. Бунина). В 1939 году опубликовал книгу

воспоминаний «Москва», куда вошли страницы об И. А. Бунине и его старшем брате Юлии Алексеевиче. Религиозно-этические взгляды Зайцева отразились в его творчестве, весьма обширном.

ЗАЙЦЕВ Кирилл Иосифович (в монашестве архимандрит Константин, 1887—197?), литературный критик, богослов. Автор первой биографической книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество» (Берлин, 1934).

ЗЕЕЛЕР Владимир Феофилактович (1874—1954), журналист, министр «Южно-русского правительства» в Ростове-на-Дону в ноябре 1917 года (по утверждению «Последних новостей», № 375 за 1921 год). В послевоенные годы проводил антисоветскую линию в Союзе писателей и журналистов в Париже, в котором занимал должность ответственного секретаря (при председательстве Б. К. Зайцева). Письма И. А. Бунина Зеелеру хранятся в Отделе рукописей ГБЛ.

ЗЛАТОВРАТСКИЙ Николай Николаевич (1845—1911), писатель. Реалистически воспроизводил жизнь пореформенной деревни, автор многочисленных рассказов, повестей, романов. Как и И. А. Бунин, в 1909 году был избран почетным академиком.

ЗЛОБИН Владимир Ананьевич (1894—1967), поэт. С 1916-го по 1945 год — секретарь Мережковских, наследовал их архив. Автор статей о З. Н. Гиппиус.

ЗУРОВ Леонид Федорович (1902—1967), писатель. Автор книг «Древний путь» (1934), «Поле» (1938), «Марьянка» (1958) и других. Печатался в «Современных записках» и «Последних новостях», надо полагать, не без содействия И. А. Бунина, у которого постоянно проживал с ноября 1929 года.

ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894—1958), поэт-акмеист. В 1912 году издал первую книгу стихов — «Отплытие на о. Цитеру» (тираж 300 экземпляров). Эмигрировал в 1923 году. Автор мемуарной книги — «Петербургские зимы». Муж И. В. Одоевцевой *(см.)*.

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881—1970), буржуазный политический деятель, с 1917 года эсер. Занимался публицистикой. Член Государственной думы (трудовик), глава Временного правительства. С 1918 года в эмиграции, выступал как издатель. Настаивал на переезде И. А. Бунина в США.

КОНДАКОВ Никодим Павлович (1844—1925), академик, историк византийского и древнерусского искусства, археолог.

КРАСНОВ Петр Николаевич (1869—1947), генерал-лейтенант, контрреволюционер. С 1919 года в Германии, где вел антисоветскую деятельность. Большую известность среди эмигрантских читателей получил его многотомный труд «От двуглавого орла к красному знамени» (Берлин, 1921—1922). Этот роман в течение многих лет был одной из самых ходких на зарубежном рынке книг, переводился на иностранные языки. Автор попытался дать в романе панораму русской жизни на всем протяжении царствования Николая II. Краснов написал еще несколько романов, но они успеха не имели. В годы второй мировой войны стал пособником фашистов, за что по приговору Верховного суда СССР казнен в 1947 году.

КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна (1902—1976), поэт, прозаик. В эмиграции с начала 20-х гг. В ее прозаических книгах «Утро» (1930), «Пролог» (1933), сборнике стихов «Оливковый сад» (1937) заметно влияние И. А. Бунина, близким другом которого была и в доме которого жила с 1927-го по 1942-й (с перерывами).

КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА Елизавета Юрьевна (урожденная Пиленко, 1891—1945), поэт. Первая книга стихов — «Скифские черепки» (1912). В эмиграции с 1919 года. В 1931 году приняла монашеский сан и имя Матери Марии. Во время второй мировой войны участвовала в движении французского Сопротивления. Героически погибла в концлагере — согласно имеющимся сведениям пошла в газовую камеру вместо другой заключенной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени.

КУСИКОВ (Кусикян) Александр Борисович (1896—1970) — поэт-эпигон. Примыкал к футуристам, затем к имажинистам. С начала 20-х гг. в эмиграции.

ЛАДИНСКИЙ Антонин Петрович (1896—1961), советский писатель. С 1921 по 1955 год — в эмиграции. В 1946 году принял советское подданство. Автор исторических романов. Переводчик.

ЛАРИОНОВ Михаил Федорович (1881—1946), художник-новатор. Выехал из России в 1914 году. Работал у С. П. Дягилева. Муж Н. Гончаровой.

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич (1861—1925), князь, политический деятель, контрреволюционер. Глава Временного правительства с марта по июль 1917 года. Эмигрант.

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1870—1957), политический деятель. Кадет, член Государственной думы, в 1917 году посол России во Франции. Один из организаторов убийства Г. Е. Распутина. Эмигрант.

МАТЬ МАРИЯ. См.: Кузьмина-Караваева Е. Ю.

МАХНО Нестор Иванович (1889—1934), один из главарей мелкобуржуазной контрреволюции на Украине. Из крестьян. За участие в террористической деятельности и «экспроприациях» в 1909 году приговорен к 10 годам каторги. В апреле 1918 года создал вооруженный анархистский отряд. Последовательно вел борьбу с австро-германскими оккупантами, гетманскими властями, белогвардейцами, петлюровцами, а также сражался против Красной Армии. В августе 1921 года бежал в Румынию, затем перебрался в Париж, где политической деятельностью не занимался. Работал плотником на кинофабрике в Жуанвиле.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866—1941), писатель, философ, литературовед. Сын дворцового чиновника. Окончил историко-филологическое отделение Петербургского университета. В 1888 году дебютировал сборником «Стихотворения». Один из основоположников отечественного декаданса. Самое значительное сочинение в прозе — трилогия «Христос и Антихрист» (1896—1905). Будущая революция виделась автору в образе «грядущего Хама», обывательщины, серости. Автор исторических пьес и романов, имеющих несомненные художественные достоинства. Эмигрировал в 1920 году вместе со своей женой З. Н. Гиппиус. Жил преимущественно в Париже. Занимал враждебную позицию по отношению к Советской России.

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859—1943), контрреволюционный политический деятель. Из семьи профессора-архитектора. В 1883 году окончил Московский университет. С 1907 года председатель партии кадетов, редактор ее центрального органа газеты «Речь». Депутат 3-й и 4-й государственных дум. С 15 мая 1917 года — министр иностранных дел Временного правительства. С 1920 года во Франции. Редактировал крупнейшую эмигрантскую газету «Последние новости» (1920—1940). Не приемля Со-

ветскую власть, тем не менее уже с начала 20-х гг. признавал ее достижения. В годы второй мировой войны написал нашумевшую статью «Правда о большевизме», в которой призывал всех русских эмигрантов занять патриотическую позицию по отношению к СССР.

НАБОКОВ Владимир Владимирович (1899—1977), русско-американский писатель. Публиковался также под псевдонимами В. Сирин, Василий Шишков. Сын В. Д. Набокова *(см.).* Окончил Тенишевское училище. В 1916 году в Петрограде напечатал сборник «Стихи» (тираж 600 экземпляров). В 1919-м эмигрировал. Закончил Тринити-колледж в Кембридже (1922). Известность получил в 1926 году после выхода романа «Машенька». Затем последовали «Защита Лужина» (1929—1930), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935—1936), «Лолита» (1955) и другие, принесшие их автору мировую славу. В мемуарной книге «Другие берега» (1954) есть страницы, посвященные И. А. Бунину (первое издание на английском языке в 1951-м). До 1940 года жил во Франции, затем переехал в США, где стал писать на английском языке. Высоко ценил поэзию И. А. Бунина.

НАБОКОВ Владимир Дмитриевич (1870—1922), деятель кадетской партии, публицист, издатель. Эмигрант. Отец В. В. Набокова.

НАЖИВИН Иван Федорович (1874—1940), писатель. Испытал влияние религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. Убежденный монархист. Октябрьскую революцию встретил враждебно. В эмиграции с 1920 года. В романах «Распутин» (1923) и «Собачья республика» обвинял бездарное правление Николая II и официальное православие в том, что в России произошла социалистическая революция.

НИЛУС Петр Александрович (1869—1943), художник, писатель. Друг И. А. Бунина. С 1919 года эмигрант. Жил в Париже в одном доме с Иваном Алексеевичем, который писал: «Наследие он оставил большое... Картины его находятся во многих и многих русских и европейских музеях и частных собраниях... Был он и талантливым беллетристом».

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», антисоветская эмигрантская газета, выходящая в Нью-Йорке с 1917 года.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ», литературный журнал. Выходит в США с 1942 года. Основан М. О. Цетлиным *(см.)* и М. А. Алдановым при поддержке М. С. Цетлин *(см.).* В 1940-е гг. в нем публиковался И. А. Бунин. В 1972—1974 гг. печатались выдержки «Из дневников и записей И. Бунина», подготовленных доцентом Эдинбургского университета М. Грин, к которой перешел бунинский архив от Л. Зурова. Текстологический и комментаторский уровень публикаций крайне низок. Немногим лучше публикация дневников и в трехтомном труде М. Грин «Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы...», выходившие в ФРГ в 1977—1982 гг. На просьбы редакции «Литературного наследства» предоставить для квалифицированной публикации дневники И. А. Бунина и В. Н. Буниной М. Грин ответила отказом. В декабре 1987 года усилиями сотрудников Советского фонда культуры удалось вернуть на Родину несколько книг И. А. Бунина с его пометами, а также некоторые мемориальные предметы.

ОВСЯННИКО-КУЛИКОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1853—1920), русский литературовед, лингвист, историк культуры. Почетный академик по разряду изящной словесности с 1907 года.

ОДОЕВЦЕВА Ирина Владимировна (псевд.; настоящее имя — Ириадна Густавовна Гейнике, р. 1901), поэт, прозаик, мемуарист. Жена Г. В. Ива́нова. Ее стихам свойственно смешение мистицизма с реальными событиями (например, в первой книге «Двор чудес», 1922). Романы Одоевцевой написаны живо, но мир ее героев несколько условный, с весьма размытой моралью («Зеркало», «Оставь надежду навсегда» и др.). Гораздо больший интерес вызывает ее автобиографическая проза. Оставила интересные воспоминания об И. А. Бунине. В апреле 1987 года вернулась на родину.

ОСОРГИН (Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), писатель. Окончил юридический факультет Московского университета (1902). Литературную деятельность начал в 1895-м. В 1905 году был арестован за участие в московском восстании. В 1906—1916 гг. жил в эмиграции. После Октябрьской революции возглавил Московский союз писателей, организовывал Книжную лавку писателей. Эмигрировал в 1922 году. Автор многочисленных романов и повестей: «Там, где был счастлив» (Париж, 1928), «Чудо на озере» (Париж, 1931), «Вольный каменщик» — о масонстве во Франции (Париж, 1937), «Происшествия зеленого мира» (София, 1938), «Повесть о некой девице...» (Таллин, 1938) и др.

ПЕШКОВА Екатерина Павловна (1878—1965), первая жена А. М. Горького.

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919), философ, писатель. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, преподавал в Елецкой (после того, как И. А. Бунин покинул ее) и других провинциальных гимназиях. Развил своеобразное умонастроение, условно сопоставимое с экзистенциальной ветвью «философии жизни». Автор книг: «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913—1915) и др.

РОЩИН (Федоров) Николай Яковлевич (1896—1956), писатель. Участник французского Сопротивления. В 1946 году вернулся на родину из Франции, где проживал с начала 20-х гг. Много лет (с перерывами) жил в доме И. А. Бунина. Его воспоминания о вилле «Бельведер» опубликованы в «Литературном наследстве» (М., «Наука», 1972, т. 84, кн. II).

РУДНЕВ Вадим Викторович (1878—1940), журналист, издатель, общественный деятель. Городской голова Москвы в 1917 году. Эмигрант. Член редколлегии журнала «Современные записки».

САВИНКОВ Борис Викторович (1879—1925), один из лидеров партии эсеров, активный контрреволюционер. Писал под псевдонимом Ропшин. В повести «Конь вороной» (1923) показал бесперспективность белого движения. Арестован 16 августа 1924 года после нелегального перехода советской границы.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ», русский «толстый» журнал, выходивший в Париже (1920—1940). Наиболее значительное из всех эмигрантских периодических изданий. И. А. Бунин принимал в нем активное участие.

СОСИНСКИЙ Владимир (Бронислав) Брониславович (1900—1987), писатель. Родился в Луганске. В Париже с 1920 года. Типографский рабочий в издательстве «Современные записки». Участник французского Сопротивления. Был арестован немцами, находился в концлагере. С 1947 по 1960-й — сотрудник Отдела стенографии ООН. В 1960-м вернулся на родину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года награжден медалью «За боевые заслуги». Автор повестей: «Махно» (Париж,

1927), «Герои Олерона» (совместно с В. Андреевым; Минск, 1965). Зять В. М. Чернова *(см.)*.

СТЕПУН Федор Августович (1884—1965), философ, публицист. В эмиграции с 1922 года (был выслан из Советской России), жил в Берлине. Брат Марги Степун. Выдвинулся в 1926 году, опубликовав серию статей под общим названием «Мысли о России». Был фактическим редактором беллетристического отдела «Современных записок». Автор романа «Николай Переслегин», написанного на автобиографическом материале и перегруженного философскими рассуждениями (Париж, 1927).

СТРУВЕ Петр Бернгардович (1870—1944), буржуазный экономист и философ, главный представитель «легального марксизма». По характеристике В. И. Ленина, «начал с оппортунизма, с «критики Маркса», а докатился в несколько лет до контрреволюционного буржуазного национал-либерализма». Проповедовал мальтузианство, извращал философское учение К. Маркса. С 1905 года — лидер правого крыла кадетов. Белоэмигрант. Жил в Париже. Редактировал ряд эмигрантских изданий.

ТРУАЙЯ Анри (псевдоним; настоящее имя — Лев Тарасов, р. 1911), французский писатель. Член Французской академии с 1959 года. Родился в Москве, увезен родителями из России в 1918-м. Лиценциат права. Автор беллетризованных биографий русских писателей: «Достоевский» (1940), «Пушкин» (1946), «Странная судьба Лермонтова» (1952), «Толстой» (1965), «Гоголь» (1971) и др. Лауреат Гонкуровской премии.

ТЭФФИ Надежда Александровна (урожденная Лохвицкая, 1872—1952), писатель-сатирик. Родилась в дворянской профессорской семье. Начала печататься в 1901-м. На революцию 1905—1907 гг. откликнулась серией остросатирических стихов и фельетонов. Выпустила несколько сборников рассказов, принесших ей большой успех. С 1920-го в Париже. Ее фельетоны регулярно печатались в «Последних новостях». В 1920 году «Правда» перепечатала некоторые из них. Дружила с И. А. Буниным.

ФЕДОРОВ Александр Митрофанович (1868—1949), драматург, беллетрист. Эмигрант. Один из друзей И. А. Бунина.

ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович (1872—1940), литературный критик, публицист. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1895). В 1901-м сблизился с З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским, с которыми поддерживал тесные отношения. Совместные труды: «Царь и революция» (1907) и драма «Маков цвет» (1908), отразившие отход части русской интеллигенции от идей революции. С 1920-го обосновался в Варшаве, выступал с антисоветской публицистикой.

ФОНДАМИНСКИЙ И. И., см. БУНАКОВ-ФОНДАМИНСКИЙ И. И.

ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, критик. Родился в семье художника. Первые книги стихов: «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914). Они отмечены влиянием символистов. Большой успех имели поэтические сборники «Путем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1922). Высокую оценку поэзии Ходасевича дал А. М. Горький. В 1922-м выехал за границу. В эмиграции выступал как критик и мемуарист, автор художественной биографии «Державин» (Париж, 1931) — одной из лучших о великом поэте. Муж Н. Берберовой.

ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892—1941), поэт. Дочь профессора И. В. Цветаева, основателя Московского музея изобра-

зительных искусств. Уже первый сборник («Вечерний альбом», 1910) заявил о рождении крупного таланта. Весной 1922 года уехала в Прагу к мужу С. Я. Эфрону. В конце 1925-го перебралась в Париж, где испытывала крайнюю нужду. Ее отношения с эмигрантскими «верхами» были напряженными. Летом 1939-го вернулась на родину. Трагически скончалась в 1941 году.

ЦЕТЛИН Мария Самойловна (в девичестве — Тумаркина, 1882—1976). Помогала материально И. А. Бунину. В годы второй мировой войны предлагала ему перебраться в США. В 1947-м стала участницей травли писателя, приведшей к нервному потрясению и резкому ухудшению его здоровья.

ЦЕТЛИН Михаил Осипович (1882—1945), поэт, критик. Писал подражательные стихи под псевдонимом Амори. Издавал альманах «Окно». С началом второй мировой войны переехал вместе с женой М. С. Цетлин в США. Был одним из издателей «Нового журнала» (США).

ЧАЙКОВСКИЙ Николай Васильевич (1850—1926), контрреволюционный политический деятель. Из дворян. Участник народнического движения начала 1870-х гг. После февральской революции — член ЦК партии Народных социалистов. Октябрьскую революцию встретил враждебно. С марта 1920 года член «Южнорусского правительства». В том же году эмигрировал во Францию.

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873—1952), контрреволюционный политический деятель, один из организаторов и руководителей партии эсеров. Министр земледелия во Временном правительстве. Участник контрреволюционных мятежей. В 1920-м нелегально выехал за границу. В годы второй мировой войны участвовал во французском Сопротивлении. Позже жил в США. Автор мемуаров.

ШАХОВСКАЯ Зинаида Алексеевна (в замужестве — Малевская-Малевич, р. 1906), поэт, прозаик, автор мемуаров. Родилась в Москве. В феврале 1920 года, по ее выражению, «эвакуировалась» из Новороссийска в Константинополь. Принимала участие во французском Сопротивлении. Под именем Жак Круазе опубликовала на французском языке многочисленные романы, имевшие успех у французских читателей. Редактор антисоветской газеты «Русская мысль». Автор мемуарной книги «Отражения» (Париж, 1975), где издала интересные, но несколько субъективные, воспоминания об И. А. Бунине, с которым была хорошо знакома. Сестра Д. А. Шаховского *(см.).*

ШАХОВСКОЙ Дмитрий Алексеевич (Иоанн, епископ Сан-Францисский, р. 1902). Поэт, издатель. Брат З. А. Шаховской.

ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (1873—1950), писатель. Родился в Москве, в патриархальной купеческой семье, воспитывался в атмосфере религиозности и почитания старины. Все это отразилось на мировоззрении будущего писателя, равно как и влияние рабочего и торгового люда, стекавшегося в дом отца — подрядчика в Замоскворечье, способствовало тому, что Шмелев стал большим мастером русского литературного языка. В 1911 году напечатал одно из лучших своих произведений — повесть «Человек из ресторана». После Октябрьской революции эмигрировал. Жил во Франции. Создавал здесь произведения, полные ненависти к революции («Солнце мертвых», 1923; «Каменный век», 1924 и др.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Использованы фотографии и автографы из собраний автора

ИБ № 6254

Лавров Валентин Викторович

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

Иван Бунин в эмиграции (1920—1953 гг.), роман-хроника

Заведующий редакцией С. Лыкошин
Редактор Е. Бондарева
Младший редактор М. Печенева
Художник Д. Утенков
Художественный редактор А. Степанова
Технический редактор Т. Кулагина
Корректоры Е. Самолетова, Г. Замилова,
Л. Четыркина

Подписано в печать с матриц 27.03.89. А01186. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. (№ 1). Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16+2,52 вкл. Усл. кр.-отт. 24,78. Учетно-изд. л. 24,4. Доп. тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 80 к. Зак. 1138.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00069-2

1 р. 80 к.



Разве можем мы забыть родину?
Может человек забыть родину?
Она — в душе. Я очень русский человек.
Это с годами не пропадает.

Ив. Бунин


ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ